АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА — 1953

ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕДАКТОРЫ
В. И. АВДИЕВ и Н. П. ШАСТИНА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Русское востоковедение прошло длительный путь развития, в ходе которого были созданы серьезные научные традиции. Лучшие представители дореволюционного востоковедения в нашей стране глубоко и разносторонне занимались изучением истории, этнографии, языков и литератур народов Востока, собрали большой фактический материал и создали много ценных научных трудов. Между тем история русского востоковедения еще не написана. Опубликование сборника «Очерки по истории русского востоковедения» является одним из первых шагов в создании коллективных работ по истории этой области отечественной науки.

Советское востоковедение изучает экономику, историю, культуры народов Востока, руководствуясь теорией марксизма-ленинизма. Основываясь на принципах ленинско-сталинской теории по национальному вопросу, советское востоковедение уделяет большое внимание изучению национально-освободительной борьбы восточных народов как в прошлом, так и в настоящем. Одной из важнейших задач советского востоковедения является задача научного обобщения исторического опыта тех народов Востока, которые освободились от гнета империалистов и строят ныне новую жизнь.

Развитие советского востоковедения играет большую роль в деле дальнейшего укрепления дружбы между народами Советского Союза и народами стран Востока. Своей методологией, подходом к предмету изучения, политическим содержанием советское востоковедение принципиально отличается от всякой буржуазной науки о Востоке, следовательно и от русского дореволюционного востоковедения.

Однако советское востоковедение не отказывается от научного наследия, оставшегося от прошлого, а использует лучшее из этого наследия, критически пересматривая и по-новому осмысливая большой фактический материал, накопленный учеными в дореволюционное время.

Русское востоковедение, возникнув независимо от западноевропейского, отличалось от него более положительным, более прогрессивным характером, что обусловливалось, прежде всего, влиянием передовой, революционно-демократической мысли.

Для многих русских востоковедов было характерным сочувственное отношение к народам Востока, глубокое уважение к их древней и богатой культуре. В некоторых важных областях изучения Востока русские исследователи шли впереди современных им западноевропейских ученых. Создание истории русского востоковедения должно помочь более полному и глубокому использованию советской наукой лучшего из наследства, оставленного нам отечественной наукой прошлого.

Сборник «Очерки по истории русского востоковедения» состоит из семи статей, в основном, историографического и источниковедческого характера.

Статья покойного академика И. Ю. Крачковского «Востоковедение в письмах П. Я. Петрова В. Г. Белинскому» посвящена талантливому русскому востоковеду XIX века, другу молодости великого критика. Используя в качестве источника переписку Петрова с Белинским, автор в этой статье показал формирование П. Я. Петрова в качестве ученого в его студенческие годы. Другая статья академика И. Ю. Крачковского «Один из первых исследователей восточных элементов в «Слове о полку Игореве»» содержит интересные данные, характеризующие А. Я. Италинского, русского дипломата и ученого-востоковеда XVIII—XIX вв.

Статьи Г. Д. Тягай «Вклад русских путешественников в изучение истории Кореи», Е. И. Гневушевой «Путешествие П. И. Пашино по Персии и Индии» и Б. М. Данцига «Из истории русских путешествий и изучения Ближнего Востока в допетровской Руси» носят источниковедческий характер. Г. Д. Тягай в своей статье показывает, какую большую ценность имеют для изучения новой истории корейского народа описания Кореи, составленные русскими путешественниками, побывавшими в этой стране в конце XIX в.

Эти русские источники приобретают особенное значение в связи с тем, что данных о социально-экономическом строе Кореи того времени в западноевропейской литературе не имеется, а сведения, встречающиеся в японской литературе, не являются достоверными, вследствие грубой фальсификации, проводившейся японскими империалистическими историками.

Статья Е. И. Гневушевой посвящена характеристике тех сведений, которые можно заимствовать из описания путешествий П. И. Пашино по Персии и Индии, своеобразного источника для изучения истории народов этих стран второй половины XIX в.

Литературное наследие П. И. Пашино, путешественника-востоковеда, близкого к демократическим слоям русского общества, до сих пор еще совершенно не изучено. Статья Б. М. Данцига представляет сводку разнообразных сведений о странах и народах ближнего Востока, заключающихся в многочисленных русских источниках. Приведенные автором материалы показывают, что в допетровской Руси довольно основательно знали многие страны Ближнего Востока, что ясно доказывает самостоятельность развития географических знаний в России.

Статьи члена-корреспондента АН СССР А. Ю. Якубовского «Из истории изучения монголов периода XI—XIII вв.» и В. А. Ромодина «Из истории изучения афганцев и Афганистана в России» носят, в основном, историографический характер.

Статья безвременно умершего советского историка и археолога, члена-корреспондента АН СССР А. Ю. Якубовского — одна из последних работ покойного ученого, оставившего значительный след в истории советского востоковедения, в особенности в области изучения прошлого народов Средней Азии.

В публикуемой в этом сборнике статье А. Ю. Якубовский с присущей ему смелостью и глубиной ставит многие проблемы, касающиеся формирования и развития феодальных отношений не только у монголов, но и у других народов Востока, сохранявших в течение длительного времени кочевой быт, пережитки и остатки патриархально-родовых отношений. Автор показывает достижения русской и советской монголистики в области изучения социально-экономических отношений у монголов и дает основательную критику ошибочных взглядов буржуазных ученых, в частности, теоретических построений французского буржуазного историка Рене Груссэ.

В статье В. А. Ромодина характеризуются исследования русских востоковедов XIX в., посвященные изучению истории афганцев и других народов, находящихся ныне в пределах Афганистана, а также даются краткие сведения о русских источниках XVIII—XIX вв. по истории Афганистана. Характеристика работ русских исследователей показывает, как много они сделали для изучения Афганистана.

Изданием сборника «Очерки по истории русского востоковедения» мы начинаем публикацию исследований и материалов для создания истории этой области русской науки. Коллектив Института востоковедения АН СССР ожидает критических замечаний, которые помогут дальнейшему изучению истории русского востоковедения, помогут написанию и опубликованию работ и материалов, характеризующих эту историю.

Академик И. Ю. КРАЧКОВСКИЙ

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ В ПИСЬМАХ П. Я. ПЕТРОВА В. Г. БЕЛИНСКОМУ[1]

Среди многочисленных крупных фигур нашего востоковедного прошлого Павел Яковлевич Петров (1814—1875) занимает особое место. Один из первых русских индианистов, востоковед с широким кругозором и редкой подготовкой, человек с поэтическим даром, друг молодости Белинского, он до сих пор не дождался монографии, подобной той, какая выпала на долю его петербургских товарищей П. С. Савельева и В. В. Григорьева. Между тем, литература о нем количественно очень велика, хотя и разбросана; сохранилось много отзывов его современников — товарищей и учеников, уцелела в Московском университете даже его личная библиотека.

Объясняется это, в известной мере, малочисленностью собственных печатных работ и отсутствием его научной школы.

Тем не менее, даже в арабистике, которая не являлась его прямой специальностью, он оставил значительный след. Ему по праву нашлось место и в биографическом словаре русских арабистов[2] и в общем очерке истории русской арабистики.

Недавний юбилей Белинского опять заставил вспомнить о П. Я. Петрове благодаря двум открытиям, которые оказались связанными с его именем. Они расцвечивают его характеристику новыми красочными деталями. О дружбе Белинского с Петровым было известно уже давно[3]. Едва поступив в университет,

[1] Статья написана И. Ю. Крачковским незадолго до его кончины специально для этого издания.

[2] От редакции: Рукопись биографического словаря русских арабистов, составленного Г. Гульбиным, хранится в «Арабском кабинете им. акад. И. Ю. Крачковского» при Институте востоковедения АН СССР.

[3] В последнее время основные данные об этом привел М. Поляков (Белинский в Москве 1829—1839. «Московский рабочий», М., 1948, стр. 12—15). О роли Петрова и Белинского в кружке Станкевича см. также: Н. Л. Бродский. М. Ю. Лермонтов. Биография, т. I. М., 1945, стр. 269—271.

на первом курсе Белинский писал своим приятелям в Чембар 20 декабря 1829 г.[1]: «Я подружился с П. Я. Петровым. Мы часто бываем вместе; судим о литературе, науках и других благородных предметах и всегда расстаемся с новыми идеями и новыми мыслями... Вот дружба, которою я могу по справедливости хвалиться... Что за человек! Какие познания! Он превосходно знает по-французски; может читать германских и итальянских писателей и отчасти говорить на их языках. Знает несколько по-английски[2], хорошо по-арабски и персидски. Пишет прекрасные стихи. В занятиях языками и науками неутомим, как Тредьяковский. Он еще хорошо знает по-латыни и порядочно по-гречески[3]. Жажда к познанию языков в нем удивительна: хочет учиться еще по-санскритски и турецки. Особенно любит восточные языки». Интересно при этом отзыве вспомнить, что Петрову в то время было только 15 лет, но он уже второй год учился в университете.

Глубину его литературных интересов и знаний в это время подтвердило открытие, сделанное пензенским литературоведом А. В. Храбровицким в дни юбилея. Выяснилось, что Белинский совместно с Петровым и еще одним студентом подготовили перевод романа итальянского революционера Уго Фосколо «Избранные письма Якова Ортиса», который был напечатан анонимно отдельной книжкой в 1831 г. и, таким образом, явился первым печатным произведением нашего будущего критика[4]. О степени участия в работе каждого из сотрудников судить трудно, однако показательно, что в упомянутом письме 1829 г. Белинский говорит о Петрове: «может читать германских и итальянских писателей и отчасти говорить на их языках». Из других источников известно, что Петров занимался у лектора итальянского языка в университете — Рубини;. возможно, что Петрову принадлежала основная роль в переводе.

Благодаря юбилею Белинского стал известен впервые очень важный источник, ярко освещающий отношения двух друзей

---

[1] В. Г. Белинский. Письма. Редакция и примечания Е. А. Ляцкого, т. I. СПб., 1914, стр. 9.

[2] Впоследствии, будучи профессором Казанского университета, Петров в течение трех лет (1849—1852) состоял лектором английского языка. См. Н. П. Загоскин. Биографический словарь профессоров и преподавателей Казанского университета (1804—1904), ч. I. Казань, 1904, стр. 251.

[3] Хотя, как мы увидим в дальнейшем, в 1834 г. Петров говорит о своем незнании греческого языка.

[4] См. «Литературная газета» от 9.VI 1948; журн. «Огонек», 1948, № 31, стр. 24.

в несколько более поздний период — с 1834 г., когда Петров уже как «член профессорского института» продолжал свое востоковедное учение в Петербурге под руководством известного Френа. Это — письма Петрова Белинскому, частично хранящиеся в Государственной ордена Ленина библиотеке им. В. И. Ленина в Москве и изданные в 1948 г. под редакцией проф. Н. Л. Бродского[1].

Всего сохранилось одиннадцать писем, причем девять относятся к первому периоду пребывания Петрова в Петербурге в 1834—1835 гг., одно помечено 27 января 1838 г. и одно написано уже из Москвы 12 декабря 1841 г., перед отъездом Петрова профессором в Казань. (В это время Белинский жил в Петербурге, а Петров — после двухлетнего пребывания за границей — в Москве). Нет никаких оснований предполагать, что на этом переписка и кончилась или что она после 1835 г. шла с такими перерывами. Наоборот, и тон писем и ряд отдельных имеющихся в них намеков определенно говорят, что переписка, начатая в 1834 г., сохранилась далеко не полностью. При печальной судьбе архива Белинского, после его смерти распылившегося по разным рукам и дошедшего до нас с большими потерями[2], в этом нет ничего удивительного.

Тем более для нас ценны первые впечатления Петрова в новой востоковедной среде, о которой он систематически сообщает своему другу с такими подробностями, что и Белинского можно было бы счесть за востоковеда. Мы знаем, что Петров был зачислен в состав профессорских стипендиатов по инициативе Френа и последний все время оставался как бы его руководителем. Роль эта выступает очень отчетливо, и фигура рисуется в тех благородных тонах, к которым нас приучили и другие известные отзывы русских современников Френа. Уже в первом письме от 9 мая 1834 г. появляется его характеристика (стр. 223): «Ну, вот тебе мои похождения; слушай. Я держал и выдержал экзамен в арабском и персидском у Френа и Шармуа[3], в санскритском у академика Шмидта[4]. Теперь я принят и

---

[1] «В. Г. Белинский и его корреспонденты». Под ред. проф. Н. Л. Бродского. М., 1948, стр. 223—251. Государственная ордена Ленина Библиотека СССР им. В. И. Ленина. Отдел рукописей. Отдельные выдержки из писем приведены в упомянутой работе М. Полякова «Белинский в Москве».

[2] См. замечание Н. Л. Бродского в работе: «В. Г. Белинский и его корреспонденты», стр. 4.

[3] Ф. Ф. Шармуа (1793—1869) — профессор персидского языка в университете и Учебном отделении Института восточных языков Министерства иностранных дел, адъюнкт Академии Наук.

[4] Академик Я. И. Шмидт (1779—1847) — известный монголист.

нахожусь под особенным попечением Френа. Представь себе старика[1] с серебряными волосами, правильной физиономией, голубыми глазами, прибавь к этому ласковость и простоту в обхождении, и ты будешь иметь портрет его... Френ и Аделунг[2] доставили мне множество книг и всеми силами одобряют меня. Признаюсь здешними учеными я не могу довольно нахвалиться».

Аналогичный отзыв повторяется через месяц, 4 июня (стр. 225): «Я совершенно доволен своей службой — Френ и Шармуа люди истинно неоцененные». Еще через месяц, во время вакаций в университете и Институте восточных языков Министерства иностранных дел, где Петров слушал лекции[3], продолжая усиленные занятия санскритом, он сообщает 12 июля (стр. 230): «Френ на даче и не будет до сентября».

От него, очевидно, зависело то, что мы теперь называем учебным планом: вот почему 22 августа Петров пишет (стр. 237): «Вместо турецкого хочу просить Френа позволить мне заниматься греческим, в котором, как тебе известно, мы еще ни бельмеса. Это будет и приятнее и приличнее званию, к которому я себя определяю (Вам-де, В. Г., известно, что мы будем некогда профессорами — прошу пониже кланяться...). Ну, а впрочем, еще долга песня.— Лет 5—6 пробьешься над каракулями». Мысль о греческом языке в это время, очевидно, сильно его занимает: еще до этого, 12 августа он восклицает (стр. 233): «Чорт возьми, надобно учиться по-гречески — непременно скоро примусь». В дальнейшем все же увидим, что турецкий, по тем или иным соображениям, не отменяется.

Вообще, удивительная «жажда к познанию языков», о которой за пять лет до этого писал Белинский, продолжает владеть Петровым и в Петербурге: в первом же письме от 9 мая он пишет (стр. 224): «Ну, скажу тебе еще новость: я учусь — впрочем только раз в неделю за недостатком времени, по-чухонски...».

Во время вакаций он занимается славянским: «при всех моих недосугах», пишет он 22 сентября (стр. 239) и, вспоминая исследования Белинского «касательно русской грамматики», укоряет его за то, что он «из-за пустого журнала бросил

[1] Х. Д. Френу (1782—1851) в это время было 52 года.

[2] Ф. П. Аделунг (1768—1843) — директор Учебного отделения Института восточных языков Министерства иностранных дел, лингвист и историк.

[3] Вероятно, Петрову обязана появлением в «Молве» (1835, № 10, стр. 153—156) анонимная заметка «Институт восточных языков в С.-Петербурге», упоминающая про занятия там его петербургских товарищей Григорьева и Савельева.

отечественный язык. Сие заметить и впредь не делать». Он внимательно следит за работами своего московского учителя А. В. Болдырева о спряжении русских глаголов, которые «надобно непременно прочесть» (стр. 227), и приветствует в дружески шутливых тонах выход грамматики Белинского значительно позже — в 1838 г. (стр. 245).

Вопросы общей грамматики влекут его и в сторону китайского. В ответе Белинскому, который, повидимому, писал о переводе известной книжки Сильвестра де Саси «Принцип общей грамматики», очень популярной в те времена в московских университетских кругах[1], он, между прочим, замечал в письме 12 июля 1834 г. (стр. 228): «Не хочу тебе ничего писать об этом: боюсь наврать, хотя и сделал некоторые исследования; дай всему созреть, а пуще всего дай мне поучиться всем грамматикам мира, а преимущественно китайской, которая поставит втупик любого автора какой-нибудь Grammaire générale. Там нет ни склонений, ни спряжений, ни наречий, ни предлогов, ни даже азбуки». Френ, с которым он систематически делится своими планами, относится к широким намерениям Петрова сдержанно. Последний пишет Белинскому 6 октября 1834 г. (стр. 241): «По-китайски мне Френ учиться не советует, говоря, что я потеряю над ним много времени. Он прав, но меня сильно пробирает охота и я думаю начать его с отцом Иакинфом»[2].

В противоположность таким широким планам, Френ направляет его внимание на более специальные темы. В письме от 22 сентября Петров сообщает (стр. 239—240): «Френ задал мне работу, впрочем, довольно пустяшную. Я должен в продолжение моего курса отмечать все восточные слова, находимые мною в русском языке». Петров довольно подробно рассказывает Белинскому, как он думает «сам предпринять труд... и при помощи теперешних моих познаний в арабском, персидском, санскритском и турецком исполнить хоть в половину свое дело». Впоследствии его мысли нашли отражение в статье, опубликованной Академией Наук[3].

---

[1] Известный впоследствии литературовед Ф. И. Буслаев (1818—1897) пишет в своих воспоминаниях, что в 1837 г., по предложению профессора Давыдова, он перевел эту книгу на русский язык, с дополнениями.

[2] Имеется в виду известный китаист архимандрит Иакинф Бичурин (1777—1853).

[3] «Список некоторых великорусских слов, сродных или сходных с восточными». «Изв. Академии Наук по Отделению русского языка», т. I, СПб., 1852, прибавл. тетр. I, столб. 81—92. Упоминание о ней отсутствует в посвященной Петрову статье К. Г. Залемана, см. «Русский биографический словарь» (Павел-Петр Илейка), СПб., 1902, стр. 694—696.

Уже в первые годы пребывания в Петербурге он мечтает о дальнейшей стадии научной подготовки по санскриту — поездке за границу. В первом письме от 9 мая он пишет (стр. 223): «Я не боюсь теперь достигнуть вернее цели своей и быть отправленным в Лондон — если успех увенчает мои старания». Эти его планы тоже обсуждались с Френом, окончательно убедившимся в талантах московского питомца.

6 октября Петров обстоятельно сообщает Белинскому (стр. 241): «Френ, узнавши об моих успехах в семитических языках и в санскритском, обещал мне постараться об отправлении моем в Париж. Ты удивляешься, почему не в Лондон? На это есть многие причины. Во-первых, трудность пользоваться рукописями ост-индской библиотеки, на которую жестоко жалуется Ленц[1]; во-вторых, недостаток профессоров и вообще людей, знающих санскритский язык в Англии,— с некоторых пор им и вовсе перестали заниматься. Французы же гораздо ревностнее теперь трудятся на этом поприще, да и Библиотека королевская гораздо доступнее для учащихся, нежели в Англии. Всего бы лучше и приятнее для меня было отправиться в Париж через Берлин, в котором я прожил бы с полгода для посещений лекций профессора Боппа, известного знатока своего дела, который приготовил бы меня к чтению рукописей королевской Библиотеки».

Как мы знаем, мечтам этим через четыре года суждено было воплотиться в действительность. Петров в 1838—1840 гг. побывал не только в Париже, но и в Лондоне, а в Берлине занимался и у Боппа (1791—1867). Бывший тогда в зените своей известности основатель сравнительной грамматики индоевропейских языков при первой же встрече признал преимущество в знаниях санскрита за начинающим русским ученым.

Наряду с Френом, вторым крупным талантом, с которым Петров сразу должен был войти в общение, прежде всего, на почве арабистики, естественно оказался О. И. Сенковский, имя которого, как барона Брамбеуса, в эти годы гремело по всей России; журналистика постепенно отвлекала его от науки. Показательно, что, отдавая всю дань уважения его ученым знаниям, как и другие слушатели этого замечательного ориенталиста, Петров ни в какой степени не мог сравнить его с Фре-

---

[1] Р. Х. Ленц (1808—1836), адъюнкт Академии Наук, первый профессор-санскритист в России, в 1833—1835 гг. находился в заграничной командировке. См. «Русский биографический словарь» (Лабзина — Лященко). СПб., 1914, стр. 190—191.

ном по моральному облику[1]. Упоминание о знакомстве с ним уже в первом письме идет вслед за Френом, но в достаточно сухой форме (стр. 223): «Был и у Брамбеуса. Бог его знает, как об нем судить, впрочем, он оказал мне важную услугу, дав мне на дом арабский словарь — так что я теперь спокойно могу заниматься у себя на квартире». В следующем письме, 4 июня (стр. 225), он пишет, что Сенковского начнет «слушать не прежде сентября», очевидно в связи с каникулами в университете, где он состоял тогда профессором по кафедре арабского и турецкого языков. Действительно, 22 сентября он сообщает обстоятельно, в повышенном настроении (стр. 238—239): «В среду был в первый раз на лекции у Сенковского — ну, что ни говори,— а я скажу, что любить этого человека невозможно. но также нельзя и не уважать его за его обширные сведения. Я воображал себе обыкновенного профессора, хорошо знающего свое дело, и собирался уже зевать в кулак, слушая его лекцию, и что же? Сухой предмет языкознания умел он облечь такою привлекательностью, что я невольно пожалел о краткости его лекции, продолжавшейся два часа. С каким искусством заставляет он нас вникнуть в дух языка, объясняемого из духа говорящего им народа,— как удовлетворительно объясняет, по-видимому, совершенно не связанные между собою значения арабских форм, выводя их из первоначальных понятий кочевой жизни! — Да, ума необыкновенного у Сенковского отнять нельзя — и как не пожалеть после этого об его нравственности, которая погасила в нем его удивительные дарования. Проживши два года в Египте и Сирии, он приобрел прекрасный выговор, и я по прошествии года надеюсь, с его помощью, очень успеть в арабском языке, который до сих пор казался мне неприступным. Признаюсь, теперь я верю, что ящерицы

---

[1] О т р е д а к ц и и: О. И. Сенковский (1800—1858) занимал в течение 25 лет кафедру арабской словесности в С.-Петербургском университете. В совершенстве владел арабским языком, знание которого вынес из путешествия по Сирии и Египту. Несмотря на обширные познания в области ориенталистики и преподавательский опыт, не создал ни капитальных трудов, ни школы. Много занимался журналистикой, сотрудничая в различных изданиях, в том числе в газете «Северная Пчела», публиковавшейся реакционером Булгариным. С 1834 г. редактировал «Библиотеку для чтения».

Сурово оценил литературную деятельность Сенковского Н. Г. Чернышевский: «Грустным, но поучительным примером может служить для русских писателей история литературной деятельности барона Брамбеуса (один из псевдонимов Сенковского): иметь столько дарований — и растратить их совершенно понапрасну без всякой пользы для литературы...». (Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й. Избранные философские сочинения, т. I. Госполитиздат, 1950, стр. 458).

прятались, когда он произносил гортанные буквы арабские (это он сам рассказывал нам)[1]; до сих пор я не имел об этом никакого понятия». Приблизительно через полгода, 24 февраля 1835 г., Петров еще раз подтверждает, что своими успехами в арабском обязан Сенковскому (стр. 243), но этим упоминания о нем исчерпываются.

В противоположность санскриту, арабский язык давался Петрову, повидимому, с большим трудом, хотя он приехал в Петербург, вероятно, с основательным знанием его как главного, наряду с персидским, предмета преподавания его московского учителя Болдырева. В июне он занимается арабским, как и персидским, по три раза в неделю (стр. 225), вероятно, в Институте Министерства иностранных дел, где тогда преподавал француз Деманж, товарищ Шармуа по занятиям у Сильвестра де Саси: в университете наступил уже перерыв. Впечатления, очевидно, были не слишком утешительные и при сообщении об этом Петров прибавляет: «Только признаюсь, брат, что̀ за дьявольский язык арабский — боже упаси!». Все же успехами в нем он был доволен и, в ожидании занятий с Сенковским, самостоятельно читает Коран (стр. 225).

Через два месяца, 22 августа, Петров писал уже более оптимистично (стр. 237): «Занимаюсь также арабским, который проясняется в моем понятии». Однако для полной удовлетворенности, как мы видели, приходится ждать Сенковского, и в следующем сезоне подводится некоторый итог (24 февраля 1835 г., стр. 243): «Из арабского (которому никогда не имел надежды выучиться) понимаю «Тысячу одну ночь», а главное дело, что проник довольно хорошо дух языка, следовательно, стою на хорошем пути. Этим я обязан Сенковскому. Следующие три месяца посвящаю ему преимущественно, и тогда отдам тебе более подробный отчет в том, что́ знаю». Нам известно, что впоследствии, не считая себя специалистом в арабском языке и литературе, Петров дал несколько работ, которые превосходили уровень того времени.

Среди языков, которыми занимался Петров до переезда в Петербург, повидимому, наиболее успешно двигался персидский. Экзаменовал его при поступлении Шармуа, талантливый представитель французской школы Сильвестра де Саси, в противоположность своему товарищу Деманжу. Вероятно, у него

---

[1] Об этом Сенковский упоминает в своих автобиографических «Воспоминаниях о Сирии», в рассказе «Затмение солнца». См. О. И. Сенковский (барон Брамбеус). Собрание сочинений, т. I, СПб., 1858, стр. 192. Впервые этот рассказ был напечатан в «Библиотеке для чтения», 1834, т. V, стр. 27—41.

он занимается с самого начала,—как пишет Петров, в первых числах июня, три раза в неделю (стр. 225). Тогда же он сообщает (стр. 226) о своем намерении «недели через две» прислать «повесть, или, лучше, басню персидскую: «Два голубя» (те же, которые у Крылова), это — перл персидской поэзии. Прочти ее». Наряду с представителем европейской учености, он имеет возможность познакомиться теперь со знатоком восточной традиции в лице Мирзы Джафара (Топчибашева), преподававшего в университете с 1819 по 1849 г.; он был поэтом и подлинным знатоком персидской мистики. «Мы переводим теперь,— пишет Петров все в том же письме (стр. 227),— одну рукопись, при взгляде на которую ты, верно, схватил бы в зубы палец удивления — до того она хитро написана. Это сочинение называется «Anwar Soheili», т. е. «Звезды созвездья Канопы», и признаюсь, я, переводя, более и более удивляюсь ее сочинителю. Когда же Мирза Джафар[1] объяснил мне мистический смысл некоторых од Хафиза, то я положил себе непременно перевести лучшие из них на русский стихами, что и исполню. Либо я обвосточился совершенно — либо они в самом деле чудо поэзии самой высокой, потому что по большей части восхваляют любовь к богу под разными аллегориями». Одна из упомянутых од — газелей Хафиза посылается в стихотворном переводе 22 августа (стр. 237—238): «Вот тебе недавно переведенная мною газель Хафиза. Дело идет о любви к богу, но таким образом, что стихи как будто бы относятся к предмету земному. Прочти ее — она даст тебе понятие о мистической поэзии язычества[2]. Большая часть газелей написана в этом духе. Они имеют сходство с книгою Песнь Песней Соломона, которой выражения тоже почти всегда двусмысленны. Не знаешь, про что говорит поэт, про земную или про небесную красоту... Перевод близок,— но двусмысленность так хорошо сохранена, как в персидском». О ней он напоминает и в следующем письме, 22 сентября (стр. 239): «Как тебе нравится газель? О сем написать». Газель была опубликована в 1835 г., в журнале «Молва», выходившем как приложение к «Телескопу», и впоследствии перепечатана В. А. Эберманом в «Востоке»[3]. В последней

---

[1] В издании опечатка: Джафара.

[2] «Молва», 1835, № 24—26, стр. 387—389 (под инициалами *П. П.*). Сообщения о другом переводе Петрова в «Молве», зарегистрированном, как и этот, в библиографии С. Б. Карнеева (см. «Библиография Востока», вып. 10, № 34, 1936, стр. 102), основано на недоразумении. В № 31—34, стр. 116, помещен упомянутый далее перевод из «Книги советов» Н. Коноплева.

[3] «Восток», 1923, кн. 3, стр. 113—114.

статье, между прочим, выяснено, что стихи Петрова[1] в «Молве» «являются первой попыткой ввести в русскую литературу арабо-персидскую форму газели, характерным признаком которой является чередование строк с одной проходящей через стихотворение рифмой с нерифмованными строками в порядке забавагада и т. д.»[2].

6 октября того же 1834 г. Петров пишет уже о собственных подражаниях (стр. 243): «Я пустился писать газели вроде Хафиза и даже дал себе персидское имя — Ашик, т. е. влюбленный, которое по правилам этого рода стихотворений должно всегда быть упоминаемо в последнем двустишии. Прислал бы тебе два или три такого рода писания, да ей богу лень переписывать. До другого раза».

Свои успехи в персидском он ставит на первое место среди трех языков мусульманского Востока; еще 22 сентября он пишет (стр. 239): «по-персидски я уже порядочно объясняюсь и начинаю понимать без помощи словаря». Во втором полугодии пребывания в Петербурге другу сообщается 24 февраля как бы отчет (стр. 243): «Теперь, верно, ты хочешь знать, что я делаю? Все то же, что и прежде — тружусь — с каждым днем все более и более и, разумеется, не без успехов. Тебе, как старинному приятелю моему, не краснея, могу сказать, до чего я достиг в предметах своих занятий. Слушай: по-персидски говорю, пишу, однако ж часто ошибаюсь, понимаю,— нельзя сказать, чтоб все,— но по крайней мере буду понимать к вакации». К сожалению, в своей дальнейшей деятельности Петров к персидской литературе обращался мало, и следы его работы отразились только в переводах и преподавании. Учениками его в персидском были, между прочим, Ф. Е. Корш (1843—1915) и В. Ф. Миллер (1846—1913).

С наименьшим успехом шли у Петрова занятия, повидимому, турецким языком, к которому, судя по письму Белинского, до 1829 г. в Москве он не приступал. Уже в июне 1834 г. он занимался им ежедневно, вероятно в институте, так как в университете начались вакации (стр. 225, 229). Даже во время летнего перерыва Петров отказывается от поездки в Москву, «потому что много потеряю времени, которое намерен употребить на изучение турецкого», пишет он 16 июля (стр. 231). Мы уже видели, что одно время он хочет просить о замене турецкого — греческим (22 августа, стр. 237); однако это не осуществилось, и через месяц он сообщает (стр. 239): «К турецкому только что

[1] Инициалы не были раскрыты ни В. А. Эберманом, ни С. Б. Корнеевым.

[2] «Белинский и его корреспонденты», стр. 113.

приступил», имея в виду, вероятно, занятия у Сенковского или возобновление их в институте. Настроения меняются: 6 октября он констатирует, что занятия по-турецки продолжает теперь с успехом (стр. 241), но в конце февраля следующего года разражается целой филиппикой (стр. 243—244): «С турецким лажу худо. Это проклятый язык: слов знаю гибель,— да и как не знать, когда они все персидские или арабские (я говорю про константинопольский книжный язык), а понимаю очень мало. Представь себе длинную, тысячеверстную дорогу, изрытую ухабами, и ты будешь иметь понятие о турецком исполинском периоде, пред которым греческие, латинские, даже немецкие периоды — ничтожные карлики.— Ну, да чорт с ним — авось через год буду знать». О том, что впоследствии не только турецкий, но и тюркские языки народов России остались не чужды Петрову, говорят, между прочим, те материалы, которые он сообщил для известной антологии Н. В. Берга «Песни разных народов»[1].

Уже при переезде в Петербург Петров был знаком и с некоторыми другими восточными языками. В примечании к одному из писем Белинскому по поводу форм русских глаголов, наряду с арабскими, он приводит один пример из древнееврейского (12 июля 1834 г., стр. 228); весьма вероятно, что сведения о нем он получил от своего главного наставника Болдырева. Как мы знаем, последний начал свою карьеру с перевода грамматики древнееврейского языка, а в первые годы преподавания в университете иногда вел систематические занятия по нему.

По-санскритски в 1829 г. Петров только хотел учиться, как выясняется из письма Белинского, однако в 1834 г. при зачислении в профессорский институт некоторыми знаниями обладал,— так как его экзаменовал известный монголист академик Я. И. Шмидт. Испытание было, повидимому, элементарным, и он сам пишет (стр. 223): «В санскритском меня экзаменовали не много — а именно, в чтении». Санскрит с этих пор стал в центре его занятий на всю жизнь. Кто был его первым учителем в Петербурге, определить трудно, так как официального преподавания этого языка тогда еще не существовало, и он приватным образом, как пишет 4 июня (стр. 225), «для санскритского нашел себе учителя, одного немца, учившегося в Германии. Недавно он показывал мне рукопись всю пропахнувшую мосхусом — суди сам, как этот запах оживил мое восточное сердце». Через

---

[1] Ук. соч., М., 1854, стр. 229. Упоминаются татарская и башкирская песни.

некоторое время Петров даже поселяется со своим учителем на одной квартире, сообщая об этом 22 сентября (стр. 240): «Теперь буду стоять вместе с тем самым немцем, который учит меня по-санскритски. Мы друг другу полезны.— Я ему как переводчик (он не знает ни слова по-русски) и учитель персидского языка, а он мне как знаток санскритского, латинского и греческого». О талантах своего учителя Петров тем не менее не слишком высокого мнения и тут же добавляет: «Да, кстати об этом немце. Он доктор философии Геттингенского университета, но это не мешает ему быть тружеником в полном смысле слова. Он превосходен, когда дело идет о передавании своих познаний другому, но кажется, что от него, кроме хрестоматии и сравнительных изучений рукописей, ничего не дождешься». Петров быстро начинает догонять своего учителя и уже 12 июля пишет (стр. 229): «Ты знаешь, что у нас теперь вакации. Я занимался до сих пор начиная с 25 июня[1] исключительно санскритским языком и вижу теперь, что выучиться ему для русского — вздор. Немец, который меня учит,— дивится; ему он давался с большим трудом, да и к тому же видно, что он в нем не слишком горазд, и поэтому я больше возлагаю надежду на себя, да на рукописи Академии».

Об этих рукописях он усиленно мечтает с самого начала в обычном стиле того времени в несколько приподнятом тоне (4 июня, стр. 227): «Здесь в Азиатском музее находится 80 санскритских рукописей, до которых мы со временем доберемся. Все они пахнут мосхусом, как благоуханные кудри восточных похитительниц сердца».

Эти мечты скоро сбылись: уже в 1836 г. Петровым была опубликована статья: «Прибавление к каталогу санскритских рукописей, находящихся в Азиатском музее и С.-Петербургской Академии Наук»[2].

Успехи в санскрите окрыляют его все время. Посылая Белинскому свой первый опыт стихотворного перевода из Махабхараты, вскоре напечатанный им в «Телескопе», он пишет 12 августа (стр. 231): «Вот тебе, Виська, обещанная I-ая песнь Налы. Прочти ее, а я между тем приготовлю другую. Только боже тебя сохрани печатать или показывать кому-либо, кроме моих домашних. Пока не буду знать хорошо по-санскритски, до тех пор строки не напечатаю... Ну, друг, о чем мне сперва потолковать с тобой? Ну да хоть о санскритском. Чудный язык! Дивлюсь и его строению, и обширной литературе, и лег-

---

[1] В издании — июля, но этому противоречит дата письма. — *И. К.*

[2] См. «Русский биографический словарь». СПб., 1896—1918 (Павел-Петр Илейка), стр. 695.

кости, и вместе трудности его изучения. В шесть недель я достиг до того, что нахожу иногда целые стихи для меня понятные». Через десять дней, 22 августа, он опять добавляет (стр. 237): «В санскритском очень — очень успел... Вчера начал перелагать на российские стихи вторую книгу Налы — не знаю, скоро ли кончу, теперь много дела, может быть случится заняться ею не больше, как с час в неделю. Всего перевели мы из оной вышереченной поэмы 9 песен.— Это знатно». По временам бывают, конечно, и некоторые разочарования. Через месяц, 22 сентября, Петров горюет (стр. 239): «Санскритский шел до сих пор хорошо, но Урвазия, драма, изданная Ленцем[1], опять сбила меня с толку. Тебе известно, что по законам индусской драматургии всякое действующее лицо говорит свойственным его касте наречием, и вот камень преткновения, на который мне пришлось споткнуться. В Урвазии все женщины и крестьяне говорят по-пракритски — наречие, которое Шези[2] называет прелестным (испорченный язык); оно звуками напоминает итальянский, но, к несчастью, представляет большие трудности в изучении, тем более, что не имеет своей особой грамматики и объясняется только с помощью санскритского. Я читаю Урвазию с большим трудом,— но при этом одушевляюсь надеждой скоро после нее взяться за «chef d'oeuvre» индусского театра — знаменитую Сакунталу. Налу теперь жди, когда бог велит — и подумать не могу за него приняться».

Петров возлагает надежды, что «на следующий год приедет сюда из Англии Ленц, обогащенный сведениями в санскритском, и тогда смирися, Индия!» (стр. 241). Если бы сохранились дальнейшие письма Петрова, мы, вероятно, с такой же подробностью, знали бы о его занятиях с Ленцем, как о первых шагах в 1834—1835 г., но едва ли эти занятия были длительными. Ленц, действительно, вернулся в Петербург летом 1835 г., но уже 25 августа 1836 г. умер в возрасте 28 лет[3]. За все время переписки с Белинским львиную долю востоковедных сообщений Петрова занимают санскрит и вопросы, связанные с индианистикой. Освещение специалистом отдельных затрагиваемых деталей могло бы представить немалый интерес для истории научного развития нашего первого санскритиста, равно как для всего раннего периода нашей индианистики.

---

[1] Имеются в виду два издания Р. Х. Ленца: «Urwasia fabula Calidasi. Textum sanscriticum edidit...» Berolini, 1833. «Apparatus criticus ad Urwasiam». Berolini, 1834.

[2] В издании опечатка — Шеза (в указателе отсутствует). Имеется в виду французский ориенталист A. L. de Chézy (1773—1832).

[3] «Русский биографический словарь». (Лабзина — Лященко), стр. 190.

В первые годы своего пребывания в Петербурге Петров, несомненно, оставался «москвичом по душе», как его характеризовал в одном из писем Станкевич[1]. Все обращения Петрова к Белинскому полны вопросами и сведениями о московских друзьях. Сравнительно с ними петербургская среда, в которую он вошел, даже востоковедная, отражается гораздо хуже, если не считать названных его учителей. Интерес представляет одно анонимное упоминание, которое, однако, расшифровывается без труда. 22 сентября 1834 г. Петров, между прочим, пишет (стр. 240): «Здесь есть один молодой человек, очень замечательный. Восемнадцати лет он уже знает хорошо по-персидски, чему доказательством служит его перевод «Истории Монголов», за который он получил золотые часы, и очень недурно понимает арабский и турецкий, при знании почти всех европейских языков. Это краса здешнего университета». В характеристике нетрудно узнать ученика Сенковского — В. В. Григорьева (1816—1881), впоследствии первого профессора по кафедре истории Востока, а одно время и декана факультета восточных языков. Тогда он только что кончил курс университета и как раз в 1834 г. напечатал перевод большого отдела о монголах гератского историка Хондемира (XV—XVI вв.)[2]. Именно из материалов В. В. Григорьева и его друга П. С. Савельева мы достаточно хорошо знаем, какое впечатление производил Петров на своих петербургских студенческих товарищей по учению и широкими познаниями и всей научно настроенной углубленностью, выделявшей его даже из среды лиц, избравших аналогичный путь.

В письмах Белинскому уже в эту пору, когда Петрову было всего двадцать лет, отражаются моменты духовных кризисов, которые иногда накладывали отпечаток и на его отзывы о науке. 4 июня 1834 г. он пишет (стр. 226—227): «Представь себе, что несмотря на то, что я занимаюсь в буквальном смысле с утра до вечера,— есть почти всякий день минуты, в которые я не знаю, что с собою делать — свет день от дня становится для меня противнее». Единственный друг, с которым он разделяет свою «задумчивость», это — море, в котором «больше души, нежели в любом жителе Петербурга. К счастью, оно от меня недалеко и я там по вечерам забываю и мир и людей, и

[1] «В. Г. Белинский и его корреспонденты», стр. 250, прим. 5 к письму десятому.

[2] «История Монголов от древнейших времен до Тамерлана». Перевод с персидского. СПб., 1834, стр. 161. Обстоятельная биография В. В. Григорьева составлена его учеником Н. И. Веселовским: «Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам 1816—1881 гг.». СПб., 1887.

даже — науки... Извини, брат, я сделался мизантропом и мечтателем». Даже то письмо от 12 августа, которое сопровождает перевод из Махабхараты, заканчивается сентенциями (стр. 234): «Что такое жить? — Изменяться. А что такое изменяться?— Стремиться к цели. А где цель?... Скучно жить! Голова моя сегодня настоящий предмирный хаос». И через полгода, 24 февраля 1835 г. он пишет (стр. 243) про свое «внутреннее борение, которому я, как и всякий человек, и даже в большей степени, нежели другие, подвержен. Наконец буря утихла — я спокоен и кажется надолго — не смею сказать навсегда».

Пессимистические настроения, однако, и после этого не утихают. В связи с ними, в последнем сохранившемся письме из Петербурга уже в январе 1838 г. он высказывает в очень резкой форме свои взгляды на значение для него научной работы (стр. 246): «Об занятиях толковать нечего — с ослиным терпением можно и воду истолочь в порошок — да только много ли от этого проку? На науку смотрят или как на средство нажиться, или как на средство похвастать перед другими — есть также множество ученых, которые от души верят всяким глупостям, которые они рассказывают или пишут. Эти просто глупы, да и слава богу.— Я смотрю на науку как на ремесло, которому судьба научила меня для того, чтобы снискивать нужное пропитание». Едва ли при таких взглядах Петров отказался бы от очень выгодной «службы» в Константинополе, которую ему предлагали в самом начале пребывания в Петербурге, заявив (стр. 224): «Деньги меня не льстят... я посвящаю себя санскритскому». По всей вероятности, в 1838 г. сказывалось только временное настроение, а не длительная внутренняя уверенность. Психологическая правда звучала скорее тогда, когда он говорил 6 октября 1834 г. (стр. 241—242): «Где бы ни учиться, лишь бы учиться — вот цель моя. Учиться — есть теперь необходимая потребность моего существования. Обстоятельства мне благоприятствуют... Да, брат, человек может быть счастлив, отринув пустые мирские блага,— довольствуясь малым в физических потребностях и ненасытною душою стремясь обнять мир духовный.— Глубок этот океан, но потонуть в нем — божественно,— достойно человека. Даже сухое изучение языков доставляет божественное удовольствие, когда будешь смотреть на него не так, как на механический предмет, но как на живое познание человеческого слова во всех его видах».

Трудно сказать, какие настроения возобладали бы в натуре Петрова, если бы личные условия и вся современная ему действительность в последующие годы складывались иначе, чем

это было возможно в николаевскую эпоху 40—50-х годов. Немалую роль в превращении этого «русского Меццофанти» в «совершенного мизантропа», который, по словам В. В. Григорьева, «ни с кем не знался, никому не доверял», сыграли и свойства его характера, как отмечали иногда очень расположенные к нему друзья молодости[1]. Судить обо всем этом нам почти невозможно и приходится только сожалеть, что дошло так мало писем Петрова к Белинскому; вероятно, и в несохранившихся письмах можно было бы найти не меньше данных для характеристики его научного развития и состояния нашего востоковедения в те годы. Выход в свет книги «Белинский и его корреспонденты» показывает, что надежда на дальнейшие находки в этой области еще не потеряна.

---

[1] Показательны в этом смысле, например, те «примечания редакции», которыми в отделе о Петрове упомянутый уже В. В. Григорьев снабдил книгу своего ученика Н. И. Веселовского «Сведения об официальном преподавании восточных языков в России». СПб., 1879, стр. 140, прим. 445 и стр. 141, прим. 448.

Академик И. Ю. КРАЧКОВСКИЙ

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВОСТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»[1]

Почти тридцать пять лет прошло с тех пор, как в «Русском Библиофиле» среди других документов было опубликовано письмо А. И. Тургенева В. А. Жуковскому[2], которое сыграло особую роль в истории изучения «Слова». Тургенев писал его из Москвы 28 марта 1837 г. в надежде, что Жуковский, который был занят разбором литературного наследия Пушкина, поможет ему напасть на след некоторых интересовавших его книг. В письме имелся, между прочим, следующий абзац: «Может быть найдется у Вас и «Песнь о полку Игореву», 4°, в бумажке, с отметками карандашом Италинского. Я ссудил ею Пушкина для его издания этой песни. Пожалоста поищите. Пропадет, и никто не узнает, что рука единственного русского археолога объясняла певца древнейшего; да и объяснения — по восточным языкам — важны.

Я просил о сем кн. Одоевского и Краевского и повторю мою просьбу...».

Через десять лет М. А. Цявловский комментировал это письмо, оставшееся в публикации несколько немым в отдельных частях[3]. Разъясняя значение приведенного абзаца,

[1] Статья написана И. Ю. Крачковским незадолго до его кончины специально для этого издания. Он сопроводил эту статью нижеследующим примечанием: «Настоящая заметка представляет извлечение из большой статьи об А. Я. Италинском, подготовляемой мною в связи с историей наших восточных рукописных фондов. В ходе работы мне часто приходилось обращаться за содействием к нашим пушкинистам, искусствоведам, библиографам и архивистам; только их помощь позволяла мне разъяснять самые разнообразные, встававшие передо мною вопросы. Моя благодарность им, как и всегда, может быть отражена словами только в слабой степени».

[2] «Из старых бумаг (с подлинников)». «Русский Библиофил», 1916, № 4, стр. 34—35. (Подпись на стр. 38: «Сообщ. М. Гершензон»).

[3] «Письмо А. И. Тургенева к В. А. Жуковскому». «Московский пушкинист». Статьи и материалы, под ред. М. Цявловского. М., 1927, стр. 27—32.

он писал: «Весьма ценимый современниками, как знаток искусства и археолог, Италинский, не печатавший своих трудов, для нас величина неизвестная, как неизвестна и судьба книги, о которой пишет Тургенев. В библиотеке Пушкина, когда она поступила в Пушкинский Дом, первого издания (гр. А. И. Мусина-Пушкина 1800 г.) «Слова», о котором говорит Тургенев, не оказалось»[1].

С той поры сведения об этом письме систематически привлекались, когда заходила речь об интересе Пушкина к «Слову»[2]. Т. Г. Зенгер в 1935 г. высказала предположение, что «Тургенев, общавшийся с Пушкиным в декабре 1836 г., вероятно, тогда и передал поэту этот недошедший до нас документ»[3]. Он затерян, повидимому, безнадежно. Таков, по крайней мере, итог, подведенный М. А. Цявловским через десять лет после его комментария к письму[4]: «Не сохранилась еще одна любопытная книжка, которой «ссудил» Пушкина А. И. Тургенев. Это было издание «Слова» с отметками А. Я. Италинского, дипломата, бывшего в 1817—1827 гг. послом в Риме и занимавшегося археологией. Эрудицию Италинского очень высоко ценил Тургенев, называвший его «единственным русским археологом». Отметки эти, по словам Тургенева, заключали «объяснения по восточным языкам» и были «важны». Сороковые годы в этом направлении никаких открытий не принесли, и последний вывод М. А. Цявловского без изменений пришлось повторить в его статье, опубликованной посмертно Т. Г. Зенгер-Цявловской в 1949 г.[5]: нужно примириться с тем, что судьба книги, как говорит высокий авторитет наших крупнейших пушкинистов, «неизвестна».

Но едва ли следует примириться с тем, что сам А. Я. Италинский (1743—1827) — «для нас величина неизвестная». Действительно, в его биографии не мало загадочных моментов, а его фигура объединила настолько разнообразные сферы деятельности и сведения в настолько разнородных областях, что иногда пред этим приходится становиться втупик. Но Россия

---

[1] «Московский пушкинист». Статьи и материалы, под ред. М. Цявловского. М., 1927, стр. 32.

[2] См., например, Я. И. Ясинский. Работа Пушкина над лексикой «Слова о полку Игореве»; Пушкин. «Временник Пушкинской комиссии», т. VI, М.—Л., 1941, стр. 357.

[3] «Рукою Пушкина». Несобранные и неопубликованные тексты. М.—Л., «Academia», 1935, стр. 147.

[4] «Пушкин и «Слово о полку Игореве»». «Новый Мир», 1938, № 5, стр. 267.

[5] М. А. Цявловский. Пушкин и «Слово о полку Игореве». «Вестник АН СССР», 1949, № 5, стр. 66.

XVIII—XIX вв. выдвинула много таких богато одаренных фигур, которые с достоинством и честью представляли ее на Западе. Попытка подойти ближе к выяснению отдельных, мало известных моментов, может быть, позволит высказать некоторые предположения о том, какого характера могли быть его «объяснения», которые Тургенев счел настолько важными, что препроводил их Пушкину.

Загадки встречают нас почти с первых известий о ранних годах жизни А. Я. Италинского. Выходец из провинциальной среды украинского духовенства, он сперва двинулся по торной дороге для лиц такого происхождения — учился в Киевской Духовной академии, но едва ли кончил ее, ибо уже в 1761 г., восемнадцати лет, по словам историка русской медицины, «вступил учеником в Московский генеральный госпиталь»[1]. Он учится в Англии, но степень доктора медицины получает в 1774 г., в университете в Лейдене, в Голландии. Заглавный лист его диссертации, где он величает себя «Russo-Transsulanus», еще раз напоминает нам о его родном селе Засулье «Лубенского полку».

Но и на медицине он не останавливается: меньше чем через семь лет, в 1781 г., этот киевский бурсак и лейденский доктор оказывается на дипломатическом посту секретаря русского посольства в Неаполе. Дипломатии он остается верен до конца дней своих, в течение сорока шести лет, «специализируясь», если можно так выразиться, только на двух странах — Турции и особенно Италии.

В последние годы жизни Италинского под его началом служил поэт К. Н. Батюшков, который оставил сердечную характеристику Италинского в одном из писем президенту Академии художеств А. Н. Оленину, в феврале 1819 г.: «Старец почтенный и добрый, уважаемый всеми. Он знает Италию, как «Отче наш»[2]. Сложившаяся к этому времени слава Италинского, как знатока искусства и археологии, позволила Академии художеств поручать его попечению своих питомцев, посылаемых на долгие сроки в Италию. Повидимому, все они сохраняли о нем благодарное воспоминание. Особенно его заботливость отразилась в письмах из Италии пейзажиста С. Щедрина[3]. Его товарищ скульптор С. Гальберг вылепил бюст Италинского, который до сих пор считается одним из лучших

---

[1] Л. Ф. Змеев. Русские врачи-писатели. Вып. I, 1863, стр. 130.
[2] К. Н. Батюшков. Сочинения, т. III, СПб., 1886, стр. 541.
[3] Сильвестр Щедрин. Письма из Италии. М.—Л., «Academia», 1932. Указатель, стр. 399.

произведений скульптора и находится в Русском музее, в Ленинграде[1].

Очевидно, не только его высокий чиновный сан, но и авторитет в области науки и искусства позволили ему занять видное место в высших научных учреждениях России: он был избран почетным членом Академии Наук в 1819 г. (12 мая, в один день с М. М. Сперанским), почетным членом Российской Академии в 1821 г. и почетным членом Академии Художеств в 1822 г.

В последние годы Италинского вспомнили историки нашей дипломатии: в одной книге по истории Турции ему уделено значительное место[2]. К сожалению, общая характеристика сводится главным образом к констатированию «неумеренной и довольно смешной претенциозности»[3], основанием для чего отчасти служит отзыв небезызвестного А. Чарторыского. Однако отношение последнего к русским за вторую половину его жизни достаточно хорошо известно, и едва ли его ирония может противостоять мнениям Тургенева или Батюшкова. Деятельность Италинского при Ватикане в достаточно трудных иногда условиях, естественно, могла не нравиться Чарторыскому, но в русских специальных трудах дипломатические способности Италинского неоднократно получали высокую оценку[4].

Русские востоковеды никогда не забывали Италинского, главным образом благодаря его замечательной коллекции восточных, особенно арабских рукописей, которая по его завещанию перешла в Учебное отделение Института восточных языков Министерства иностранных дел и в настоящее время находится в Институте востоковедения. Она приобрела себе известность в ученом мире еще при жизни собирателя. Главный фонд ее составился во время пребывания Италинского послом в Турции (1801—1806, 1812—1816), когда, по словам современников, «прибытие нового русского посла вдохнуло новую жизнь в общество Перы»[5], а «благородное состязание образованных европейцев (в приобретении рукописей) шло на пользу восточным литературам»[6]. На этой почве у него завязалась дружба

---

[1] Е. Мроз. Самуил Иванович Гальберг. 1787—1839. М.—Л., «Искусство», 1948, стр. 9.

[2] А. Ф. Миллер. Мустафа Паша Байрактар. Изд. АН СССР, М.—Л., 1947. Указатель, стр. 447.

[3] Там же, стр. 13.

[4] См., например, Д. А. Толстой. Римский католицизм в России. СПб., 1877, т. II, стр. 174—175.

[5] J. von Hammer-Purgstall. Erinnerungen aus meinem Leben. Wien, 1940, стр. 139.

[6] Там же, стр. 146.

с молодым тогда австрийским дипломатом-ориенталистом Хаммером[1]. А позже, когда Италинский был уже опять в Риме, Хаммер подготовил статью с общей характеристикой собрания Италинского. Она появилась уже через год после смерти владельца[2]. Очень показательно, что, собираясь посвятить серию очерков основным собраниям восточных рукописей в Италии, Хаммер вслед за Ватиканским перешел непосредственно к собранию Италинского, так как, по его словам, оно по своему значению превосходит не только собрание Барберини, но и Ватиканское. Статья Хаммера, как и большинство работ этого ориенталиста, очень поверхностна и мало показательна, но его суждение об исключительной важности коллекции было подтверждено образцовыми каталогами Розена[3], которые ввели в обиход науки много выдающихся по своему значению «перлов», и до сих пор служащих непревзойденным украшением наших собраний.

Италинский составлял свою коллекцию с большим знанием предмета и умел в нужных случаях ею пользоваться. Как неоднократно подчеркивается в его биографиях, он не принадлежал к лицам, склонным выступать в печати, и кроме его докторской диссертации, естественно узкоспециальной, и большой работы по этрусским вазам, в четырех томах, опубликованной в Неаполе, в 1791—1804 гг., известно лишь несколько мелких статей востоковедного содержания, помещенных в международном органе, одним из основателей которого явился Хаммер. Первой из них является издание надгробной надписи 569/1174 некоей Маймуны,— надписи, сохранившейся в музее Лавалетты на Мальте[4]. Италинский не побоялся подойти к этому очень сложному памятнику эпиграфики, который завершается поэтическим текстом, и дал его первую расшифровку, точно установившую имя и дату. Надпись стала в науке одним из наиболее популярных памятников этой категории, вызвавшим громадную литературу, конечно значительно продвинувшую и дешифровку и общую его оценку[5]. К сожалению, в последнем своде о ней забыт приоритет Италинского[6], равно как

---

[1] Там же, стр. 133.

[2] G u i s e p p e de H a m m e r. Lettere sui manoscritti orientali e particolarmente arabiche si trovano nelle diverse biblioteche d'Italia. Lettera IV. Biblioteca Italiana, anno tredicesimo, т. 49, 1828, стр. 15—22.

[3] Collections scientifiques de l'Institut des langues orientales, т. I. St.-P., 1877; т. III, St.-P., 1886.

[4] Mines de l'Orient, т. I, 1809, стр. 393—397.

[5] См. «Советское востоковедение», т. VI, 1949, стр. 277.

[6] Répertoire chronologique d'épigraphie arabe, т. IX, Le Caire, 1937, стр. 73—74, № 3306.

не выделена важная роль в изучении его другого нашего ученого Френа (1818), хотя обе работы были опубликованы на «доступных» западным ученым языках — итальянском и латинском.

В других своих статьях, помещенных в том же издании, Италинский касается самых разнообразных сюжетов, обнаруживая широту своего научного кругозора. Он разбирает замечания алеппского митрополита Германа Адама[1] по поводу подделок арабских рукописей аббатом Велла, причем поддерживает замечания ссылкой на одну из рукописей своего собрания[2]. На основе другой рукописи он указывает на неудовлетворительность списка, использованного Френом в его первой арабистической работе (1804), посвященной описанию Египта у одного арабского географа[3]. Он же впервые обращает внимание на грамоту халифа Омара христианам[4], которая со временем приобретает большую популярность, вплоть до окончательного установления ее подложности уже в XX в. в капитальной работе Н. А. Медникова[5].

Темы и характер статей показывают, что Италинский основательно знал арабский язык. Из других источников нам известно, что он занимался не им одним. Еще в 1797 г. он пишет князю Воронцову[6] о своих занятиях арабским, еврейским, сирийским, халдейским, персидским, армянским, а в другом письме просит прислать лексикон санскритского языка[7], едва начинавшего тогда входить в моду. Эти даты позволяют думать, что Хаммер едва ли прав, когда предполагает, что лишь приезд в Константинополь дал Италинскому толчок к изучению арабского языка и он не побоялся приняться за него в возрасте 60 лет[8]. К 1815 г. его хорошо знают в кругах специалистов: Ф. Аделунг упоминает его среди русских ученых, известных востоковедными штудиями, и добавляет, что теперь он занят «сравнением восточных языков»[9].

---

[1] О нем см. мою статью в «Восточном сборнике» Гос. публичн. библиотеки, т. I, 1926, стр. 5—12.

[2] Mines de l'Orient, т. I, 1809, стр. 236—247.

[3] Там же, стр. 218.

[4] Ук. соч., т. V, 1816, стр. 67—69.

[5] Н. А. Медников. Палестина от ее завоевания арабами до крестовых походов. Исследование, т. I. СПб., 1903, стр. 529—613.

[6] Архив князя Воронцова. Книга XX. М., 1881, стр. 278. Ср. А. Ф. Миллер. Ук. соч., стр. 13.

[7] Архив князя Воронцова. Книга XX, стр. 133.

[8] Hammer-Purgstall. Ук. соч., стр. 133.

[9] Fr. Adelung. Catharinens der Grossen Verdienste um die vergleichende Sprachenkunde. St.-P., 1815, стр. 203.

Научности этих сравнений мы не должны, конечно, преувеличивать: это был «до-гумбольдовский» период в языкознании, когда основные вопросы сравнения решались примитивно, как и в известном сравнительном словаре всех языков мира, изданном при Екатерине. Италинский в этой области был таким же дилетантом, как и большинство его современников. Когда в том же письме к Воронцову мы читаем, что изучение древних восточных языков привело его к открытию, будто «весь наш язык не иное что есть, как смесь из упомянутых языков состоящая» и что «славяне и россияне населяли в глубокой древности Месопотамию»[1], то теперь это может вызвать только улыбку, но аналогичные мысли никого не удивляли в течение всего XVIII в. Похожие примеры и в общих суждениях и в детальных этимологиях нетрудно было бы найти в трудах наших историков и филологов того же времени; Италинский отражал лишь обычную среду еще не оформившейся научно лингвистики.

По аналогии можно предполагать, что его «объяснения» о восточных элементах «Слова» теперь едва ли представили бы какой-либо интерес, кроме исторического. Показательно, что среди языков, которые он изучал, Италинский не называет турецкого. Научной тюркологии в то время еще не существовало, а между тем история изучения «Слова» обнаружила, что только с ее развитием анализ восточных элементов мог стать на твердую почву. В его время еще не был открыт знаменитый «Codex Comanicus»—половецкий или кыпчацкий словарь, который осветил в этой области широкие перспективы. Должно было пройти больше ста лет со времени открытия «Слова», чтобы трудами наших ориенталистов-тюркологов, главным образом Ф. Е. Корша и П. М. Мелиоранского, а в новое время В. А. Гордлевского и С. Е. Малова, этот вопрос мог быть поставлен во весь рост.

К русским исследователям постепенно стали присоединяться и западные: на наших глазах польский тюрколог Зайончковский своими работами занял солидное место среди ученых, работающих над восточными элементами «Слова». Во времена Италинского для серьезного анализа этих вопросов еще не было средств, но нельзя забывать, что он был все же одним из первых, а может быть и первым русским ученым, который оценил важность задачи.

Письмо Тургенева позволяет нам предположить, что замечания Италинского по своему «оформлению» носили такой же

---

[1] Архив князя Воронцова. Книга XX, стр. 278. Ср. А. Ф. Миллер. Ук. соч., стр. 13.

характер, как и большинство его работ, не появившихся в печати. Современники, близко знавшие Италинского в последние годы жизни, говорят, что библиотека его была громадна и заключала до тридцати тысяч томов; большинство книг было испещрено его рукописными заметками, отражавшими не только внимательное чтение, но часто и систематическое изучение затронутых в них вопросов[1]. Очевидно, такого типа и был экземпляр «Слова», переданный Пушкину. Каким образом он попал к Тургеневу, об этом можно только гадать. Как видно из письма, он хорошо знал Италинского и лично; в связи с каким-либо разговором тот мог передать книгу непосредственно. Она могла быть приобретена и на аукционе, распылившем библиотеку Италинского после его смерти[2].

Как бы то ни было, это письмо сохранило любопытную черточку для характеристики широких интересов «старца почтенного и доброго, уважаемого всеми». Италинский имеет право на упоминание в богатой истории изучения «Слова о полку Игореве», а еще больше должны его помнить востоковеды, многие поколения которых в научных изысканиях питались и будут питаться собранными им сокровищами восточных рукописей. Достойна памяти и вся оригинальная фигура этого украинского семинариста, доктора медицины Лейденского университета, дипломата в Италии и Турции, «единственного русского археолога» своего времени, арабиста с широкими интересами, качеством своей коллекции затмившего вековые собрания Рима.

---

[1] См., в особенности, анонимный некролог (за подписью — *М.*) в «Morgenblatt für gebildete Stände», № 168, 14 июля 1827, стр. 671: «Seine Bücher enthalten beinahe alle Randglossen von vielfachem Werthe, besonders für Verwandschaft der Sprachen, welche er als die lebende und innere Geschichte jedes Volksstamms ansah».

[2] Некоторая часть ее (всего 667 томов) попала в нашу Публичную библиотеку им. Салтыкова-Щедрина в 1829 г.

Член-корр. АН СССР А. Ю. ЯКУБОВСКИЙ

*Посвящается академику
Борису Дмитриевичу Грекову.*

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ МОНГОЛОВ ПЕРИОДА XI—XIII вв.

Монгольское нашествие начала XIII в. произвело столь сильное впечатление на сознание современников и их ближайших потомков, что изучение монголов началось почти одновременно с самим завоеванием. Попав в неожиданную катастрофу, народы Азии и Восточной Европы оставили на многих языках — арабском, таджикском, персидском, русском, армянском, грузинском, латинском, польском, китайском, венгерском, немецком и других — подробные записи и рассказы о монгольских походах, о способах ведения ими войны, об устройстве монгольского войска, о жестокостях и массовом уничтожении людей, их жилищ, целых селений и даже городов, о гибели каналов, садов, пашен, ремесленных мастерских, о порядках монгольского управления после завоевания, о нравах и быте монголов и т. д.

Характерно, что все писавшие на эти темы современники и их ближайшие потомки из покоренных народов, за исключением только авторов, находящихся на службе у монголов, не только описывали события, как они видели сами или как им о них рассказывали их отцы и деды, но и оценивали эти события, причем оценивали правильно, как величайшее бедствие, какое выпадало на долю народов, подвергшихся иноземному нашествию.

Если подойти к историографии монголов XII—XIII вв. без боязни, что работа может разрастись в большой и самостоятельный труд, то нельзя отделить изучение источника от изучения исторического сочинения, написанного с целями научного познания много времени спустя, т. е. источниковедение от историографии. В этом случае историю изучения монголов

следовало бы начать с того же XIII в., когда произошло самое монгольское завоевание Азии, а затем и Восточной Европы. Однако источниковедческая часть отняла бы такое количество места, что собственно историографическая могла бы в ней легко потонуть. Указанное соображение и заставляет нас перенести историю изучения монголов с XIII в. на XVIII в. и начать ее с характеристики взглядов Дегиня (1721—1800). Свою классическую работу он выпустил в 1756 г.[1] Дегинь был учеником синолога Фурмана[2], прожил большую часть жизни в предреволюционное время, был свидетелем великих событий Французской революции 1789 г. и умер при Наполеоне.

Для историков XVIII в. характерно было отсутствие историзма. Не избежал этого Дегинь, крупнейший из историков своего времени, специалист по истории кочевых народов Азии, работавший непосредственно по китайским источникам. Дегинь плохо представлял себе, как и все его современники, самое развитие общественных отношений. Для него народы делились лишь на «культурные» — оседлые и «некультурные» — кочевые. Историческое развитие он представлял себе лишь как смену политических событий во времени и пространстве. Можно удивляться, как он при характерном для XVIII в. антиисторизме сумел поставить ряд вопросов, которые открыли собой по существу начало научного изучения в Европе кочевых обществ глубинной Азии. Дегинь предпосылает истории монголов историю гуннов и тюрков, которые и занимают первые тома его монументального для своего времени труда.

Весьма интересны строки, посвященные им вопросу о том, что̀ принесли с собой монголы, выйдя на мировую арену. «Народ, который вызвал этот большой переворот, и который образовал затем империю, самую обширную из всех, какие мы знаем, не был вовсе ни цивилизованным народом, ни стремящимся распространить мудрость своих законов; это был варварский народ, который отправлялся в самые отдаленные страны только за тем, чтобы захватить все богатства, обратить народы в рабство, вернуть их к варварскому состоянию и сделать свое имя устрашающим»[3]. В XVIII в. широкие круги интеллигенции знали, конечно, о том, что народы Азии и Восточной Европы в XIII в. пережили монгольское нашествие как величайшее бедствие.

---

[1] De Guignes — «Histoire générale des Huns, des Turcs, des Mongols et des autres Tartares occidentaux etc...». Paris, 1756—1758.

[2] Энциклопедический лексикон (Плюшара), т. XVI, 1839, стр. 57.

[3] Дегинь. Ук. соч., т. III, стр. 2.

Взгляд на монголов XIII в. как на завоевателей, причинивших громадные разрушения в покоренных ими странах, был принят буржуазной наукой, когда наука эта была на подъеме. Как мы увидим ниже, пересмотр этого взгляда начался по всему фронту буржуазной исторической науки лишь в конце XIX и начале XX вв., в период нарождающегося империализма и упадка исторической мысли буржуазных ученых.

Дегинь, как выше указывалось, хорошо знал китайский язык, арабский язык (с 1757 г. был профессором сирийского языка в Париже), что открывало ему непосредственный доступ к огромному количеству материалов-первоисточников. Остальные источники были ему доступны лишь в переводах.

Его «Всеобщая история гуннов, тюрков, монголов и других западных татар» была, по сути дела, первой в науке историей кочевых народов Восточной Азии. Основные события из жизни кочевников были охвачены им с большой полнотой на протяжении всего времени от эпохи гуннов и до Тимуридов. Поэтому, хотя труд Дегиня давно устарел, он будет всегда представлять большой интерес для истории науки. Основные взгляды Дегиня не раз привлекали внимание русского востоковедения. Для нашей цели наиболее интересными представляются суждения проф. К. А. Иностранцева и следующего за ним А. Н. Бернштама.

К. Иностранцев в своей книге «Хунну и Гунны»[1] пишет: «основой классификации народов Средней Азии[2] этот ученый (Дегинь. — *А. Я.*) берет не принадлежность народа к известной этнографической группе, а политическое разделение. Поэтому Дегинь и не делает существенного различия между тюрками и монголами... Все обитатели этой части Азии называются у него вообще татарами и разделяются на восточных и западных». Несколько ниже К. Иностранцев говорит, что некоторые ученые приписывают Дегиню создание теории монгольского происхождения гуннов и тюрков. Отвергая этот взгляд на Дегиня, К. Иностранцев говорит: «по прочтении его сочинения мы сделаем тот вывод, что в отношении нашего вопроса он высказал следующие два положения: 1) Хунну было кочевое государство, из которого впоследствии возникло государство тюрков, а затем монголов и 2) Гунны Аттилы — потомки части населения хуннского государства, ушедшей на Запад».

К. Иностранцев считает, что ни у Дегиня, ни у его современников не было еще научных представлений ни в области

---

[1] К. А. Иностранцев. Хунну и Гунны. СПб., 1900, стр. 6.

[2] Термин «Средняя Азия» К. Иностранцев понимал шире, чем мы.

этнографии, ни в области языкознания, так как не было тогда и самых этих дисциплин. Воззрения Дегиня сводились в сущности к тому, что многие, близкие по внутреннему своему строю (не изменяющемуся во времени) племена входили то в одно, то в другое политическое соединение, получавшее свое название от того или иного племенного имени. Такую концепцию происхождения кочевых народов у Дегиня К. Иностранцев назвал «политической классификацией».

А. Н. Бернштам в своей книжке «Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок в VI—VIII вв.» целиком и полностью присоединился к точке зрения К. Иностранцева в определении характера взглядов Дегиня.

Выше уже говорилось, что Дегиню чужды были взгляды расизма. Вместе с тем он, конечно, не имел и представлений об «этносе» в нашем смысле слова, как об исторической категории; ведь представление это родилось, да и могло родиться, лишь в русле марксистской мысли. Как выразитель еще антиисторического этапа в исторической мысли (в его время не было еще концепции сменяемости форм общественной жизни), Дегинь основу общества кочевников видел в неизменном кочевом коллективе — племени. Отсюда и полный застой в обществе от Хунну и до монголов включительно. Несмотря на эти крупнейшие недочеты, то, что сделал Дегинь, было для середины XVIII в. выдающимся вкладом в науку, прогрессивным и полезным для будущих ученых-востоковедов. Заслуги Дегиня приходится признать еще и потому, что он уже в середине XVIII в. познакомил читателей, более или менее правильно, с главными событиями, которые происходили со времени борьбы за сложение монгольского государства и до Тимуридов.

Дегинь долго не имел продолжателей так успешно начатого им изучения кочевников Восточной Азии, в частности монголов. Прошло около семидесяти лет, прежде чем появилась, наконец, в 1824 г. примечательная работа д'Оссона «История Монголов», первый том которой был посвящен образованию монгольского государства под властью Чингис-хана[1].

Первые десятилетия XIX в. во Франции и России, как известно, характеризуются обостренной классовой борьбой на фронте идеологии: во Франции шла борьба против реставрации и феодально-дворянской реакции, в России — против царского самодержавия и крепостного права.

---

[1] D'Ohsson. Histoire des Mongols. Paris. 1824; II изд. в 4 т. 1834—1835.

На почве этой борьбы и там и здесь выросла молодая тогда буржуазная историческая наука.

Вспомним французских буржуазных историков — Огюстена Тьерри и Франсуа Гизо. В работах первого периода научного творчества этих ученых, т. е. до перехода Гизо на позиции реакции после Июльской революции 1830 г., буржуазная историческая мысль достигла того уровня, выше которого она больше не подымалась. К этим для своего времени передовым историкам принадлежал и иранист д'Оссон, армянин по происхождению. В России в это время выделялся силой научного таланта и качеством трудов по истории монголов китаист Иакинф Бичурин.

Д'Оссон — это целый этап в истории изучения монголов и монгольской власти в Средней и Передней Азии. Только Катрмер (Quatrmère) мог соперничать с ним во Франции качеством своих работ по вопросам истории монголов. По охвату же материала Катрмер, во всяком случае, не сумел превзойти д'Оссона. Можно без какого-либо преувеличения сказать, что в буржуазной историографии Западной Европы после д'Оссона не было ни одной равной ему фигуры в области истории монголов как по обширности привлеченных им ближневосточных источников, так и по передовому характеру его идей. В. В. Бартольд в 1925 г. дал ему даже преувеличенную оценку: «Среди трудов синологов нет ни одного, который бы мог выдержать хотя бы отдаленное сравнение с трудом д'Оссона»[1].

Прошло свыше 125 лет со времени первого издания его «Истории Монголов», а книга д'Оссона не потеряла научного значения. Чем же это обусловлено? Прежде всего тем, что д'Оссон сумел встать на правильные позиции в смысле оценки монгольских завоеваний и монгольского периода в истории Азии и Восточной Европы. В своем «Введении» к I тому «Истории Монголов» он рисует в ярких красках гибельные, разрушительные результаты завоевательных походов войск Чингис-хана в первой половине XIII в. «В XIII в. большая часть Азии и восточные области Европы,— пишет д'Оссон,— были завоеваны и опустошены народами Татарии. В эту эпоху кочевые народы и племена, до того враждебные между собой, будучи объединены под одними и теми же знаменами, распространились подобно бушующему потоку по странам, которые сулили им богатую добычу, и покрыли их кровью и развалинами. Человек, который подчинил себе эти жестокие и неистовые орды, [вначале] был только

[1] Рецензия В. В. Бартольда на книгу Б. Я. Владимирцова «Чингис-хан». Изд. З. И. Гржебина, Берлин — Петербург — Москва, 1922, 176 стр. (Журн. «Восток», кн. пятая, 1925, стр. 252).

главой нескольких жалких племен, блуждавших в высоких горах, где берут свое начало реки Онон, Керулен и Тола, на юго-восток от озера Байкала. В кровавой борьбе, начатой вследствие честолюбия многих монгольских племенных вождей, князей, упомянутый выше вождь по имени Темучин, испытав превратности судьбы, достиг того, что разгромил своих соперников. Когда он привел к повиновению бо́льшую часть монгольских племен, он успешно подчинил другие народности Татарии и объявил себя императором, каганом с титулом Чингисхана».

«Не желая присягать в качестве вассала государю Северного Китая, в отношении которого кочевые племена татарские были данниками, он [Чингис-хан] нагрянул на эту империю во главе многочисленной конницы и довел свои опустошения до берегов Желтой реки. Захватив огромную добычу, он покинул Китай только для того, чтобы начать другие завоевания. Центральная Азия была подчинена его законам; он разрушил Трансоксиану, Хоросан и Персию. С одной стороны, его армии продолжали завоевание Китая, с другой — ограбили берега Синда и берега Евфрата, проникли через Грузию в северные районы Черного моря, заполнили Крым, полонили часть России и атаковали болгар на берегах Верхней Волги»[1].

Что̀ можно возразить против этих справедливых и ярких слов историка д'Оссона, писавшего свои работы на французском языке. И незачем было Н. Н. Козьмину в предисловии к своему переводу I тома «Истории Монголов» д'Оссона[2] писать: «После д'Оссона историки, если можно так выразиться, вульгаризировали отрицательное отношение к монголам и Чингизидам». Н. Козьмин не прав; вольно или невольно, но в оценке монгольского периода истории Азии он попал в русло реакционных концепций, которые по этому вопросу стали слагаться лишь с конца XIX в., в эпоху империализма.

Характерно, что во второй половине XVIII в., так же как и в первой половине XIX в., когда буржуа́зия была еще на подъеме, а буржуазная наука являлась прогрессивной силой, и взгляды на Чингис-хана, монгольские завоевания и монгольскую империю были правильны и вполне соответствовали тем впечатлениям, которые оставили нам современники этих великих бедствий, выпавших на долю человечества в первой поло-

---

[1] D'Ohsson. Ук. соч., стр. I—II.

[2] К. д'Оссон. История Монголов, т. I. Чингис-хан. Перевод и предисловие проф. Н. Козьмина. Иркутск, 1937, стр. XXVII—XXVIII

вине XIII в.,—д'Оссон был одним из наиболее ярких выразителей этой прогрессивной буржуазной исторической науки начала XIX в.

Однако не только в этой правильной концепции монгольского периода истории Азии сила д'Оссона как ученого историка. Этого было бы еще мало. Д'Оссон был первоклассный специалист, прекрасный знаток источников на персидском, турецком и арабском языках, которые играют такую огромную роль для истории монголов XII—XIV вв. Источники эти д'Оссон использует с большой полнотой, приводит надежный фактический материал, вследствие чего его история является подлинно монументальным трудом.

До тех пор пока использованные д'Оссоном персидские источники не переведены полностью на европейские языки, «История Монголов» д'Оссона будет необходимой книгой для всех, кто не владеет восточными языками. Д'Оссон был большим мастером исторической композиции и стиля и работал над материалом тщательно и добросовестно, что делает его труд весьма ценным. Однако д'Оссон не имел возможности в свое время привлечь монгольские источники, особенно «Сокровенное сказание», которое, когда писалась его «История Монголов», не было еще переведено ни на один европейский язык.

По сути дела, д'Оссон был первый из историков, кто привлек ценнейшие материалы I тома Рашид-ад-дина для изучения уровня общественного и культурного развития монголов в XII в. и решения вопроса об образовании монгольского государства под властью Чингис-хана. Уже в этом была большая заслуга д'Оссона. Если же принять во внимание, что автор сумел разобраться в весьма богатом, но сложном комплексе сведений Рашид-ад-дина о монголах, сумел выделить действительно наиболее существенное и критически надежное, то нельзя не удивляться его работоспособности, наблюдательности и критическому чутью.

Д'Оссон был, конечно, человек своего времени, не имел еще представления о закономерностях развития человеческого общества, так же как не знал учения о классовых противоречиях как движущей силе истории, а потому мы и не вправе требовать от него раскрытия подлинных причин образования монгольского государства, вскрытия его классового характера, а также научной, в марксистском смысле слова, квалификации уровня общественного развития монголов на грани XII—XIII вв. Для д'Оссона государство Чингис-хана родилось в борьбе между отдельными племенными предводителями, которые стремились расширить территории своих пастбищ, а также

увеличить количество подвластных людей за счет других таких же, как они, кочевых владетелей.

Что происходило в это время с рядовым кочевником-монголом, как шла борьба за подчинение последнего власти выделяющейся монгольской знати, какую роль играли здесь нукеры, да и как протекал вообще процесс все увеличивающегося классового расслоения кочевого общества, переживающего последний этап разложения первобытно-общинного строя,— все эти вопросы, естественно, не вставали, да и не могли, по уровню до-марксовских представлений о движущих силах истории, встать даже перед таким крупным исследователем-историком, каким был д'Оссон. Естественно, главы его первого тома, посвященные сложению монгольского государства Чингис-хана, касаются чисто внешних событий, затрагивают вопросы только политические, без рассмотрения вопросов социальных. Главы первого тома, посвященные завоеванию Средней Азии, Ирана и Закавказья, до появления капитального труда В. В. Бартольда «Туркестан в эпоху монгольского нашествия», вышедшего в 1898—1900 гг., т. е. в течение семидесяти пяти лет, были лучшей работой по этому вопросу. И сейчас они поражают читателя не только яркостью изложения, обилием фактов, но и множеством тонких замечаний по разнообразным частным вопросам.

Главное значение д'Оссона все же связано не с его первым томом, поскольку эта работа превзойдена трудами В. В. Бартольда и Б. Я. Владимирцова. Бо̀льшую значимость в настоящее время сохранили второй и четвертый тома д'Оссона, однако не потому, что при выходе в свет они были сделаны лучше первого тома, а потому, что до сих пор нужда в них окончательно не вытеснена трудами, которые бы превзошли труд д'Оссона.

Правда, по целому ряду частных вопросов д'Оссон отстал, поскольку вопросы эти решены уже глубже и полнее, к тому же на уровне современной науки. Однако в целом надобность в нем еще не прошла. Во всяком случае, д'Оссон оставил в своей области большое наследие и целый ряд нерешенных вопросов, которые могут быть, как мы видели выше, сведены в целом к проблеме социальной истории монголов и к выяснению причин успехов монгольских завоеваний в XIII в. Должно было пройти, по крайней мере, семьдесят лет, прежде чем появились ответы на эти вопросы, в частности в работах В. В. Бартольда, Б. Я. Владимирцова и других советских ученых.

Д'Оссон являлся современником выдающихся русских востоковедов—Х. Френа, Иакинфа Бичурина и П. Савельева.

Х. Френ не занимался специально вопросами монголистики, не писал на темы по истории Монголии и был, прежде всего, арабистом и нумизматом, создателем восточной нумизматики в России и ее непревзойденным представителем. Особенно замечательны его работы, посвященные золотоордынской нумизматике. Монеты золотоордынских ханов представляли для него интерес не только с точки зрения наиболее надежного материала для датировки, т. е. для установления точной хронологии политических событий и культурных фактов (датировка археологических комплексов), но и для изучения роли денег в экономической жизни Золотой Орды.

Х. Френ был в курсе всей востоковедческой литературы своего времени и как крупнейший историк Золотой Орды имел твердые взгляды на роль монгольского завоевания в истории России. Свои взгляды он четко сформулировал в записке, которой сопроводил свое предложение Академии Наук в 1832 г. написать на конкурс труд по истории Золотой Орды. Вот что Френ писал по этому вопросу: «Владычество Монгольской династии, известной у нас под именем Золотой Орды, у Магометан — под названием Улуса Джучи или Чингизова Ханства Дешт-Кипчакского, а у самих монголов под наименованием Тогмака, бывшей некогда, в течение почти двух с половиной веков, ужасом и бичом России, державшей ее в узах безусловного порабощения и располагавшей своенравно венцом и жизнью князей ее, владычество сие долженствовало иметь более или менее влияния на судьбу, устройство, постановления, образование, нравы, язык нашего отчества»[1].

Для серьезных ученых первой половины XIX в. не было колебаний в оценке событий монгольского времени.

Взгляды Х. Френа были тогда господствующими в исторической науке. Этих же взглядов придерживается д'Оссон и даже реакционный Н. М. Карамзин. Вот как этот русский историк описывает состояние Руси после походов Батыя: «казалось, что огненная река промчалась от ее восточных пределов до западных; что язва, землетрясение и все ужасы естественные вместе опустошили их от берегов Оки, до Сана»[2].

Х. Френ оказал огромное влияние не только на своих учеников, но и на все последующее поколение русских востоковедов. Сказалось его влияние и на исследованиях вопросов истории монголов. Х. Френ вооружал молодое поколение русских

[1] В. Г. Тизенгаузен. Собрание материалов, относящихся к истории Золотой Орды, т. I, СПб., 1884, стр. 555, т. II, Л., 1941.

[2] Н. М. Карамзин. История государства Российского. СПб., 1892, т. IV, стр. 10.

ученых замечательной для своего времени техникой и методикой работы над первоисточниками: рукописями и нумизматическими материалами. Редко кто из ученых пользовался таким признанием и такой благодарностью, как он. «Имя Френа,— пишет П. Савельев,— одно из самых безукоризненных в истории науки. Ученейший арабист, основатель и князь восточной нумизматики, Френ оказал великие услуги и русской истории. Сорок четыре года прожив в России, он сроднился с Россией, и жил только для своей науки и приложения ее к России»[1].

Большую роль в изучении истории монголов сыграл Иакинф Бичурин, крупнейший синолог первой половины XIX в. Иеромонах по своему официальному положению, против воли оставленный в монашеском сане, но чуждый религиозному мышлению, он был одним из передовых людей своего времени и прогрессивных ученых первой половины XIX в.[2]

Выше уже говорилось, что И. Бичурин был современником д'Оссона и равной ему по силе таланта и обширности знаний фигурой. В то время как д'Оссон работал на ближневосточных источниках, преимущественно персидских, И. Бичурин исследовал источники китайские, которые он знал, по отзыву специалистов в то время, как никто другой. Вот что писал о нем один из крупнейших ориенталистов первой половины XIX в., его современник О. Сенковский: «Ни один быть может из нынешних ориенталистов не вынес на свет из хаоса восточной литературы столько новых фактов, столько любопытных и важных сведений об истории Восточной Азии, как наш неутомимый синолог отец Иакинф».

Академик В. П. Васильев, продолжая начатую И. Бичуриным работу по изучению Монголии, писал о нем: «Заслуги покойного нашего синолога так обширны, что мы почитаем с своей стороны дерзостью разбирать недостатки, которые неизбежны во всяком издании о предметах, в которых не только публика, но даже и ученый свет принимает еще так мало участия»[3].

С именем И. Бичурина мы должны, прежде всего, связать вопрос об этногенезе монголов, который с такой полнотой не

---

[1] П. Савельев. О жизни и ученых трудах Френа. СПб., 1855, стр. 54.

[2] Иакинф Бичурин— в миру Никита Яковлевич Бичурин (Иакинф). См. о нем: А. Н. Бернштам. Н. Я. Бичурин (Иакинф) и его труд «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена». Статья помещена в книге под тем же заглавием. Изд. АН СССР, 1950, стр. V.

[3] В. П. Васильев. История и древности восточной части Средней Азии от X до XIII века. ТВО, т. IV, стр. 1.

ставил никто до него. В своей заметке «Общий взгляд на Монголию в связи с прочими среднеазиатскими странами» И. Бичурин писал[1]: «история древних среднеазиатских народов, хотя не говорит определительно, сколь давно существуют они, и откуда ведут свое происхождение, но некоторое сходство у монголов в обыкновениях и грамматических формах языка с тунгузами и тюрками обнаруживает, что помянутые три народа произошли от одного корня, но разделение их на три ветви, т. е. на три племени, без сомнения, случилось во времена отдаленные от нас; потому что почти за двадцать пять столетий до р. х. Монголы и Тунгусы в китайской истории представляют как два самобытные народа».

Из вышеприведенных слов ясно, что И. Бичурин устанавливает: 1) самое близкое сходство у трех народов — монголов, тюрок и тунгузов; 2) что они происходят от одного корня; 3) что раздельно эти три народа существуют очень давно, по крайней мере две с половиной тысячи лет до н. э.

Ни второй, ни третий пункты нас в настоящее время удовлетворить не могут. Ценность рассуждений И. Бичурина лежит только в постановке вопроса об этногенезе монголов, но не в его решении. Оно страдает полным отсутствием историзма, так как И. Бичурин допускает, что монгольский народ мог существовать в неизменном виде в качестве кочевого скотоводческого народа в течение нескольких тысячелетий.

В этой же работе несколько ниже И. Бичурин пишет: «Происхождение монгольского народа и дома Монгол, от которого сей народ получил народное название, суть две вещи совершенно отличные между собой... Начало монгольского народа уходит за двадцать пять веков до р. х.[2]; дом Монгол, напротив, возник в начале IX в., усилился в начале XII в., основал монгольскую империю в начале XIII столетия после р. х.»[3].

В чем же видит И. Бичурин вышеупомянутый «корень» трех народов? На этот вопрос он дает ответ в своей рецензии на книжку В. В. Григорьева «История Монголов»[4]. «Грамматическое сходство монгольского языка с турецким,— пишет он,— и тождество с ним в некоторых коренных словах ясно

---

[1] Иакинф Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. СПб., 1851, стр. 477.

[2] Те же мысли высказывает И. Бичурин и в своей книге «Записки о Монголии». «Более нежели за двадцать пять веков до н. э. скитался уже народ сей с своими стадами, по пустыням, сопредельным Северному Китаю». «Записки о Монголии», т. II, ч. 3, СПб., 1828, стр. 1.

[3] Там же, стр. 483.

[4] И. Бичурин. Рецензия на книжку В. В. Григорьева «История Монголов». «Финский Вестник», т. II, 1841, стр. 697 и сл.

показывают, что монголы первоначально составляли турецкое племя, отделившееся от прочих во времена отдаленнейшие от нас, а от сей давности времен произошло превращение монголов в другой народ, ныне отличный от турок языком, нравами, обычаями и частью даже обликом»[1].

Под словом «турецкий» и «турки» И. Бичурин понимает, конечно, не турок-османов, а тюрков Центральной и Средней Азии. Итак, И. Бичурин «корень» видит в «тюрках», следовательно и теория происхождения монголов у него является тюркской. Со времен Дегиня, т. е. со второй половины XVIII в., эти взгляды были широко распространены в европейской науке.

Существует, однако, иное толкование взглядов И. Бичурина по вопросу об этногенезе хунну, тюрок и монголов. В энциклопедическом словаре Плюшара, современном И. Бичурину, под словом «Дегинь» можно прочесть, что теория Дегиня о тождестве хунну и гуннов Аттилы «нынче оставлена всеми ориенталистами, которые положительно убедились, особенно из прекрасных трудов отца Иакинфа Бичурина, что Хюн-ну были чистые монголы и не оставляли Монголии».

Значительно большее значение для монголоведения имеет его труд «История первых четырех ханов из дома Чингисова», изданный в 1829 г. Труд этот до сих пор не потерял научной ценности, так как заключает в себе богатые материалы из китайской летописи Ган-Му, переведенные, по признанию синологов, почти безукоризненно. Выйдя на пять лет позже первого издания I тома д'Оссона, который не получил тогда еще широкого распространения, книга И. Бичурина оказалась прекрасной ему параллелью, так как затрагивала ту же тему (образование Монгольской империи Чингис-хана), что и упомянутая книга д'Оссона. И. Бичурин работал по китайским источникам, преимущественно Ган-Му и Юань-ши. Характерно, что последнее сочинение, хотя и было составлено в период Юаньской династии, на китайском языке, однако в основе его лежали монгольские материалы, в том числе и «Сокровенное сказание». Известно, что д'Оссон в своей политической биографии Чингис-хана не использовал этих источников, вследствие чего читатель, имея две для своего времени замечательные книги,— д'Оссона и И. Бичурина, мог получить полную картину по вопросу о сложении монгольского государства и завоеваниях Чингис-хана, причем внимание д'Оссона при изложении событий, связанных с завоеваниями, главным образом было направ-

[1] И. Бичурин. Рецензия на книжку В. В. Григорьева «История Монголов». «Финский Вестник», т. II, 1841, стр. 699.

лено на запад — Среднюю Азию, Иран, а внимание И. Бичурина — целиком на Китай.

Пока Ган-Му не будет издан[1] в русском переводе того же И. Бичурина, мы не перестанем обращаться к его книге, хотя в ней, так же как и у д'Оссона, отсутствует анализ социального строя монголов.

Деятельность И. Бичурина выходила за пределы его прямой специальности — китаистики и монголоведения. Как и многие представители русской интеллигенции, взрощенной патриотизмом Отечественной войны 1812 г., он сочетал в себе глубокое чувство национальной гордости с передовыми идеями своего времени. В споре, который возник по вопросу о значении русской науки и ее отношении к науке западноевропейских стран, а также о том, целесообразно ли русским ученым писать свои работы на русском языке, он занял твердую патриотическую позицию, о чем мы еще скажем ниже, когда коснемся этого спора, захватившего и русских востоковедов.

Быть может, наиболее яркую и самобытную фигуру среди историков-востоковедов своего времени (30—70-е годы XIX в.) представляет В. В. Григорьев. Владея многими восточными языками, в том числе и монгольским, В. В. Григорьев оставил после себя немало работ по истории тех областей Востока, которые ближе всего касались в прошлом нашего отечества, а именно: Золотой Орды, Средней Азии и сопредельных с ней стран и областей.

В. В. Григорьев был искренне предан русской науке и гордился ее достижениями; в этом отношении он следовал не за своим непосредственным учителем О. Сенковским, а за Иакинфом Бичуриным, работы которого по истории монголов и Средней Азии он высоко расценивал.

Еще студентом Петербургского университета он выпустил в 1834 г. небольшую книгу под заглавием «История Монголов от древнейших времен до Тамерлана». Книжка эта представляет перевод части всеобщей истории Хондемира «Хуласат ал-Ахбар», посвященной истории монголов.

Свой перевод с персидского В. В. Григорьев сопроводил комментарием филологического и исторического характера, из которого ясно, что переводчик был в курсе важнейшей литературы на русском и европейских языках по истории Чингисхана и его завоеваний. Из комментария ясно, однако, что В. В. Григорьев более всего ценил работы двух своих

---

[1] Рукописи этого перевода И. Бичурина хранятся в архиве Института востоковедения АН СССР.

современников: Иакинфа Бичурина и д'Оссона. В предисловии к переводу В. В. Григорьев, прежде всего, отмечает «всеобщее внимание, обращаемое ныне на историю Монголов»[1]. Книжка В. В. Григорьева получила должный отклик у русской научной общественности, что выразилось в появлении обстоятельной рецензии, написанной Иакинфом Бичуриным и помещенной в «Финском Вестнике» за 1841 г.[2] Об этой рецензии и ее значении уже говорилось выше.

Свою небольшую книжку В. В. Григорьев опубликовал, как выше было сказано, в 1834 г. Позволю себе напомнить, что это тот самый год, когда В. Белинский опубликовал свои знаменитые «Литературные мечтания». Вот как в этом волнующем всегда произведении великий русский критик писал о литературе своих дней: «...Третие десятилетие XIX века было ознаменовано влиянием Пушкина... Можно сказать утвердительно, что только в прошлое десятилетие проявилась в нашей литературе жизнь, и какая жизнь! тревожная, кипучая, деятельная! Жизнь есть действование, действование есть борьба, а тогда боролись и дрались не на живот, а на смерть»[3].

Что же отражала тогда литература и за что боролись ее прогрессивные представители во главе с гениальным А. С. Пушкиным?

Противоречия между нарождающимися силами русского капитализма и отживающими феодальными производственными отношениями — бесчеловечным крепостным правом отчетливо стали сказываться уже в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. против Наполеона, которую победоносно закончил русский народ, обострила эти противоречия внутри России. Расслоение внутри русского общества усиливалось. Литература и наука были втянуты в политику, как никогда до того.

Силы реакции и прогресса сосредоточили все свое внимание на основном вопросе: за или против коренных перемен в русской политической жизни (борьба с самодержавием и освобождение крестьян). Отечественная война 1812 г. усилила чувство национальной гордости, дала русскому патриотизму направление демократическое и прогрессивное. Все вопросы культурной жизни каждый решал с точки зрения той позиции,

---

[1] История Монголов от древнейших времен до Тамерлана. СПб., 1834, стр. VII.

[2] И. Бичурин. Рецензия. История Монголов от древнейших времен до Тамерлана. Перевод с персидского В. Григорьева. СПб., 1834. «Финский Вестник», 1841, т. II, стр. 697—723.

[3] В. Г. Белинский. Литературные мечтания. Собрание сочинений в 3 томах. 1949, т. I, стр. 55—56.

которую он занимал в основном вопросе—о необходимости коренных перемен в политической и общественной жизни. Борьба в общественной жизни не могла не оказывать громадного влияния на развитие научной мысли. В научных кругах этот основной вопрос выражался, в частности, в отношении к русской науке и в оценке ее достижений.

Господствующая верхушка царской России, привыкшая преклоняться перед всем иностранным, привыкшая думать, что все культурные достижения идут с Запада, сочетала в себе крепостнические взгляды с внешним лоском цивилизации Запада. Ее мало интересовали успехи русской культуры, она, в первую очередь, была озабочена подавлением русской прогрессивной общественной мысли. Ее реакционное отношение к передовой науке и литературе, ее пренебрежение к русской культуре находило сочувственный отзвук в стенах Академии Наук, в среде университетских профессоров, отражалось оно, наконец, и в научных печатных работах. Передовая часть русских ученых того времени вела в этом вопросе горячую борьбу с реакционными взглядами. Проникла эта борьба и в среду востоковедов, в том числе и тех, кто занимался вопросами монголоведения, хотя востоковедение в те годы не было в целом передовым участком русской науки.

Позволю себе в самых кратких чертах остановиться на споре по вопросу о монгольской надписи времен Мункэ-хана, разгоревшемся между монголоведом—немецким академиком Шмидтом, с одной стороны, и молодым востоковедом В. В. Григорьевым и Иакинфом Бичуриным, с другой.

В 1841 г. возвратившийся из Пекина русский самоучка-востоковед Аввакум, хорошо изучивший китайский, монгольский, маньчжурский и тибетский языки, перевел надпись и указал, что квадратные буквы, которыми она написана, и есть «те самые, которые изобретены Пагба-Ламой»[1]. В. В. Григорьев, знавший также монгольский язык, снабдил перевод о. Аввакума примечаниями и издал. Академик Шмидт, оценивавший передовую русскую науку с реакционных позиций, подверг надпись вторичному исследованию и резко высказался против примечаний В. В. Григорьева и вообще о работе русских ученых. В. В. Григорьев не оставил без ответа незаслуженные нападки и в статье, помещенной в декабрьском номере «Отечественных записок» за 1846 г., показал не только несправедливость замечаний, но и грубые ошибки самого рецензента. На

[1] И. Бичурин. Замечания по поводу спора о монгольской надписи времен Монкэ-хана. «Финский Вестник», 1847, № 5.

спор горячо откликнулся И. Бичурин в «Финском Вестнике», заметив, что «большая часть ученых промахов происходит от довольно общего в настоящее время расположения судить утвердительно о вещах, о которых не имеем основательных сведений»[1]. И. Бичурин ополчается против высокомерия иностранца, который, не имея нужных знаний, незаслуженно «отчитал» русских ученых. «Привычка руководствоваться чужими готовыми мнениями,— писал Бичурин,— неумение смотреть на вещи своими глазами, неохота справляться с источниками, особенно изданными на отечественном языке: своему-то как-то не верится; то ли дело сослаться на какой-то авторитет, на какого-нибудь иноземного писателя, хотя тот также не имел понятия о деле»[2]. То, что разыгралось в споре по вопросу о «монгольской надписи», было лишь частным случаем борьбы, которая развернулась вокруг пренебрежительного отношения к достижениям русской культуры и преувеличенного преклонения перед западными авторитетами.

В среде русских ориенталистов были фигуры, деятельность и пренебрежительное отношение которых к отечественной культуре задевали патриотические чувства русских востоковедов. Вспомним одного из учителей В. В. Григорьева — эрудированного, талантливого, но безидейного О. Сенковского, который в истории русской общественной мысли, где он был очень деятелен, оставил после себя далеко не прогрессивный след.

Не слишком доверяя растущим силам отечественной науки, в которой он сам в качестве блестящего арабиста мог бы сыграть огромную роль, О. Сенковский даже не признавал русский язык за язык, на котором можно было писать научные труды. Он выдвигал, в частности, такие доводы, будто писать по-русски — значит оставаться никому неизвестным, так как язык этот еще не получил права гражданства в науке Запада.

О. Сенковский хорошо знал силы русских востоковедов, знал и ценил, как выше указывалось, Иакинфа Бичурина и очень жалел, что тот свои работы писал по-русски[3].

Хотя Сенковский после переезда своего из Вильно в Петербург прожил в нем до конца своей жизни и хотя вошел в русскую литературную среду как один из активнейших ее членов, он не сроднился с Россией, не усвоил глубоко ее культурного

---

[1] И. Бичурин. Замечания по поводу спора о монгольской надписи времен Мöнкэ-хана.

[2] Там же, стр. 3.

[3] О. И. Сенковский. Собрание сочинений. Калмыки, ойраты, уйгуры. По поводу сочинения о. Иакинфа «Историческое обозрение ойратов, или калмыков». СПб., 1858—1859, т. 6, стр. 27.

достояния. Характерно в этом отношении высказывание о Сенковском Н. Г. Чернышевского, который знал арабский язык, высоко ценил знания и ум О. Сенковского и считал его «одним из лучших ориенталистов в Европе»[1]. «До самого того времени, как О. Сенковский (барон Брамбеус.— *А. Я.*) сделался русским писателем,— пишет Н. Г. Чернышевский,— он не знал ни русской литературы, ни русской публики, будучи очень хорошо знаком с богатыми иностранными литературами»[2].

Безидейность и космополитизм[3] О. Сенковского и привели его, по сути дела, к краху, которым закончилась его литературная деятельность. Не случайно Н. Г. Чернышевский с чувством горечи сказал о нем: «Иметь столько дарований — и расстратить их совершенно понапрасну, без всякой пользы для литературы...»[4].

В 30—50-х годах XIX в. лучшие представители молодой буржуазной науки не могли не испытать влияния прогрессивной общественной мысли — влияния А. С. Пушкина, В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова. В русском востоковедении влияние это сказалось на выборе тем и на отношении к народам Востока. Более всего привлекали к себе внимание исследователей, особенно историков, темы, так или иначе связанные с русской историей. Посмотрим на преобладающую тематику историков-востоковедов первой половины XIX в. Х. Френ занимается преимущественно золотоордынской нумизматикой, В. В. Григорьев — историей, археологией и нумизматикой Золотой Орды и монголов, Терещенко в 40-х годах проводил свои известные раскопки Сарая на Ахтубе (Сарая Берке), П. Савельев занимался археологией и нумизматикой не только времени Золотой Орды, но и VIII—X вв.; тогда же начинались и работы (исследования и переводы) И. Березина, также преимущественно связанные с историей Золотой Орды и монголов. Интерес к родной истории, захвативший востоковедов, был, несомненно, отголоском того подъема идейной и политической борьбы, который переживало русское общество в годы, следующие за победоносным окончанием Отечественной войны 1812 г. Проблемы, связанные с выяснением исторической роли русского народа, глубоко захватили гениального Пушкина; характерно, что никто из профессионалов-

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Очерки гоголевского периода русской литературы. Полн. собр. соч., т. III, 1947, стр. 45.

[2] Там же, стр. 51.

[3] Слова В. Боцяновского. «Энциклопедический словарь» Брокгауза, под словом «О. Сенковский».

[4] Н. Г. Чернышевский. Ук. соч., стр. 44.

историков не дал такого верного и вместе созвучного нам взгляда на роль, которую сыграл русский народ в ликвидации монгольского ига, как великий русский поэт. В 1834 г. А. С. Пушкин написал заметку, касающуюся «литературы русской». Заметка эта не была издана при жизни поэта. В ней он дал гениальное определение роли русского народа и России в деле борьбы с татаро-монголами. «Долго Россия,— пишет А. С. Пушкин,— оставалась чуждой Европе... России определено было высокое предназначение: ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего Востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией...»[1].

А. С. Пушкин имел в виду спасение Западной Европы от возможного ига монголов и реального порабощения ее Наполеоном. К сожалению, эти глубокие высказывания А. С. Пушкина долгое время оставались неопубликованными и не оказали влияния на историков и на их оценку последствий покорения Руси для дальнейших монгольских завоеваний.

В самом деле, почему монголы не пошли, после учиненных ими погромов в России, дальше на Запад? Потому, во-первых, что были ослаблены сопротивлением Руси, и потому, во-вторых (а это главное), что монголы боялись иметь в тылу у себя порабощенную страну, население которой использовало бы любую возможность для освобождения от насильственного ига.

А. С. Пушкин в этом вопросе почти на сто лет предвосхитил взгляды современной науки. Дворянские и буржуазные историки Западной Европы были всегда невежественны в отношении истории России и русского народа и, кроме того, сознательно извращали и принижали ту роль, которую русский народ дважды сыграл в спасении западноевропейских народов.

Вернемся, однако, к рассмотрению работ русских востоковедов. Один из лучших востоковедов своего времени В. В. Григорьев был создателем первой кафедры истории Востока в Петербургском университете (до него этой кафедры не было ни в одном университете мира). Он добивался этой кафедры в течение 25 лет, но ему удалось создать ее только в 1863 г., в Петербургском университете.

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Госуд. изд. худож. лит-ры, М., 1949, стр. 1380.

В. В. Григорьев был фигурой сложной и противоречивой. Увлеченный тематикой, связанной с историей Золотой Орды, а затем и Средней Азии, он перестал работать над собственно историей монголов, хотя они так же, как и кочевники Средней Азии, всегда его интересовали. В. В. Григорьеву принадлежат многочисленные работы по истории и нумизматике средневекового Востока, многие из которых, особенно его монографии «Кабулистан и Кафиристан» и «О скифском народе саках», не потеряли своего научного значения и в наши дни.

Горячий поборник русской науки и ее авторитета, энергичный борец за международный характер русского языка, без знания которого невозможно двигать науку вперед, В. В. Григорьев вместе с тем по своим общественно-политическим взглядам был правее даже многих славянофилов, т. е. придерживался реакционных взглядов. С его именем связаны такие факты, как просмотр и изъятие из библиотек и книжных магазинов Риги в 1849 г. 2035 книг, запрещенных цензурой, что было сделано по поручению Министерства внутренних дел. В течение нескольких лет, начиная с 1874 г., он исполнял должность начальника Управления по делам печати.

В. В. Григорьев более всего сочувствовал правым славянофилам и был близок к И. С. Аксакову и издаваемому им «Дню», в котором и сотрудничал. Однако не вся его деятельность на административном поприще была реакционна. Известно, что с 1851 по 1862 г. он служил в качестве крупного администратора в Оренбургском крае, а с 1854 г. стоял во главе специального учреждения — Пограничной комиссии, т. е. был главою управления казахами, которые в те годы в России носили имя киргизов. Подробный фактический материал об этой его деятельности приведен в книге Н. И. Веселовского[1]. В специальных «Приложениях» к этой книге опубликован ряд документов — официальных записок и замечаний В. В. Григорьева по разным вопросам управления киргизами (казахами). Было бы глубокой несправедливостью дать этой административной деятельности В. В. Григорьева также отрицательную оценку. Как глава управления казахами он был исключением среди высших царских чиновников. В течение ряда лет В. В. Григорьев вел энергичную борьбу со взяточничеством, бездушным отношением к казахам со стороны оренбургских чиновников и особенно с генерал-губернатором Безаком, который требовал от В. В. Григорьева поддержки казахской аристократии,

---

[1] Н. И. Веселовский. Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам. Приложения. СПб., 1887.

безжалостной эксплуатации рядовой массы кочевников, поддержки мусульманского духовенства в казахской степи и т. д.

В обстановке того времени нельзя не признать эту сторону деятельности В. В. Григорьева положительной. И не случайно он при генерал-губернаторе Безаке должен был оставить свою высокую административную деятельность, так как встретился не только с непреодолимыми препятствиями, но и с решительной дискредитацией его личности со стороны Безака и его старших чиновников.

Как ученому-востоковеду, В. В. Григорьеву не чужды были и вопросы обобщающего и, в известной мере, теоретического характера. Уже на склоне лет им была написана статья «Об отношениях между кочевыми народами и оседлыми государствами»[1]. Для своего времени В. В. Григорьев был, несомненно, лучшим знатоком истории среднеазиатских кочевников, в силу чего упомянутая выше статья не может не вызвать к себе интереса. Весьма характерны первые слова этой статьи: «Одинаковые условия производят одинаковые явления»[2].

В статье этой автор в сущности ставит только один вопрос: что толкает кочевников на завоевания оседлых народов?

Рассуждения В. В. Григорьева представляют большой интерес, хотя только некоторые его мысли по частным вопросам могут быть признаны правильными. Как бы в продолжение вышеприведенного положения В. В. Григорьев пишет: «Изучая историю кочевых народов в их столкновениях с оседлыми и историю оседлых государств в их борьбе с кочевниками, встречаем постоянно, у тех и у других, в Азии-ли, в Европе-ли, в Африке-ли, одни и те же стремления, одну и ту же политику, одни и те же приемы для достижения их относительных целей»[3].

Автор ставит перед собой вопрос — какую роль в деле нападения кочевников на оседлые области играет добыча? Вот его рассуждения: «Понятно, что достаточным стимулом к временным вторжениям кочевников в соседние оседлые страны могла служить жажда добычи, желание приобрести силою то, что не в состоянии они были добыть меною на свои произведения. Но одно дело временный набег, другое — экспроприация»[4].

Продолжая свою мысль, В. В. Григорьев утверждает, что «одной алчностью к грабежу» нельзя объяснить массовые втор-

---

[1] В. В. Григорьев. Об отношении между кочевыми народами и оседлыми государствами. ЖМНП, 1875, № 3, стр. 1—27.

[2] Там же, стр. 1.

[3] Там же.

[4] Там же, стр. 9.

жения кочевников в оседлые страны. На это должны быть, по его мнению, более важные причины.

Какие же это причины? В. В. Григорьев создает целую теорию, которую можно назвать «теорией толчков». «Вторжения кочевых,— по его словам,—в области оседлых не были или, по крайней мере, не всегда были произвольны, а происходили вследствие толчков, которые вторгшиеся получали сами, сзади или с боков, от других соседних и почему-либо сильных кочевников»[1]. Характерно, что «гонимые и преследуемые сами тотчас же обращаются в победителей и преследователей. Оба факта эти, один как следствие другого, являются постоянно в истории кочевых народов Средней Азии»[2].

Но если «одной алчностью к грабежу» нельзя объяснить нападения кочевников, так в чем же подлинная причина нападения? По словам В. В. Григорьева, «во всех приведенных примерах нет ни одного случая, где бы кочевники выселились с родины своей добровольно, и произвольно кидались на земли оседлых. Их, согнанных или удалившихся с собственных земель, приводила к этому необходимость овладеть какой-либо другой территорией, на которой бы могли они существовать»[3].

Автор не разъясняет, что это за «необходимость», которая заставляет кочевников бросать прежние свои пастбища и искать новые места. Само собой ясно, что здесь имеются в виду какие-то недороды трав или же нападение соседей кочевников. Кстати, согласно В. В. Григорьеву, в силу специфических условий кочевого скотоводческого хозяйства, кочевники, которые, скажем, от недорода трав решили вытеснить соседей из их степей, тайно хранят про себя план нападения на них. Когда, таким образом, им удастся собрать в одном месте нужное им конное войско, они неожиданным ударом набрасываются на соседей, а те, в силу особенностей кочевания, находятся в рассеянном состоянии. Это обстоятельство всегда ставит нападающую сторону в более выгодное положение. Таким образом, одни нападают, другие бегут, а дальше вся степь вступает в движение, согласно выдвинутой В. В. Григорьевым «теории толчков».

Можно ли принять теорию В. В. Григорьева? Конечно, нельзя. Автор объясняет набеги и грабительские войны кочевников, совершенно игнорируя внутренние противоречия в самом кочевом обществе. В степи, до образования в ней государства, т. е., когда племена еще находятся на стадии разложения первобытно-общинного строя, становятся постоянными

[1] В. В. Григорьев. Ук. соч., стр. 11.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 12.

столкновения между племенами из-за пастбищ, но на этой почве не происходит еще массовых нападений кочевников на оседлые страны. Массовые нашествия кочевников происходят только тогда, когда складываются объединения племен, первые примитивные государства, т. е., когда внутри племен произошло уже классовое расслоение и выделился класс кочевой знати на базе частной собственности на скот и рабов. Нельзя, конечно, отрицать, что недород в степи может в какой-то мере сыграть роль в качестве дополнительного стимула, при объяснении причин, побуждающих кочевников к завоевательным походам, однако основной причиной массового выступления кочевников все же является стремление кочевой знати к грабительским набегам.

В. В. Григорьев не может обосновать фактами свою «теорию толчков», а между тем, если встать на его точку зрения, согласно которой кочевники нападают на оседлые страны по непреодолимой необходимости, то мы должны будем оправдать все грабительские и завоевательные нашествия кочевников, в том числе и походы Чингис-хана, Бату, Хулагу и Хубилая.

Дело изучения монгол и монгольской империи в плане использования китайских и монгольских (в китайских переводах) источников продолжил крупнейший русский китаист середины и второй половины XIX в. В. П. Васильев. Его работа «История и древности восточной части Средней Азии от X до XIII века»[1] до настоящего времени не потеряла своей научной ценности. Как и другие его современники, В. П. Васильев не склонен идеализировать монгольскую эпоху и рассматривает ее как упадок культурной жизни оседлых народов, подвергшихся завоеваниям Чингис-хана и его потомков. По его словам, «история постоянно и во всех краях видит в монголах бич народов: разрушительны были их набеги на Персию, на Россию; такими же они являются и в Китае. История говорит, что в провинциях Хэ-бэй, Хэ-вэй и Шаньдун, на пространстве нескольких тысяч ли, все жители были побиты»[2]. Свою задачу, как исследователь монгол времени Чингис-хана, В. П. Васильев (строго учитывая уровень современных ему знаний и, прежде всего, научное наследие И. Бичурина) видел в изучении Монголии, Маньчжурии и Северного Китая в X—XII столетиях. «Между историей народов Средней Азии и эпохой Чингис-хана,— пишет В. П. Васильев,— находился пропуск на пространстве трех столетий, так что, читая историю древних народов, мы находимся в неизвестности, что с ними

[1] ТВО, т. IV, 1859, стр. 1—235.

[2] В. П. Васильев. Ук. соч., стр. 151.

сделалось впоследствии, и от того самое выступление на историческое поприще монголов представляется в каком-то полумраке»[1]. На эти X—XII века и приходились, по его мнению, события, связанные сначала с историей киданей (кара-китаи) и Киданьской династии, а затем с историей образования Цзиньской династии в Северном Китае, которая к 1122 г. захватила у киданей «все пять киданьских столиц», в том числе и главную из них — Пекин[2]. Монголия в эти X—XIII века не была изолирована от своих соседей, в том числе и от северного Китая, где в X—XI вв. хозяевами были кидане, а в XII — начале XIII в.— Цзиньская (золотая) династия.

В. П. Васильев показал в своей работе, какие факты из истории Киданьской и Цзиньской династий можно извлечь для изучения монголов в это темное, до-чингисово время. На некоторых из этих фактов и следует сейчас остановиться.

По словам В. П. Васильева, «западные авторы» толкуют много о различии турок от монголов. Китайские источники ясно указывают на маньчжурское происхождение татар. Но из этого еще далеко до вывода, чтобы во времена Чингис-хана и после него на всем почти пространстве нынешней Монголии говорили различными этими языками, потому что происхождение рода или поколения относится только к происхождению управляющей им фамилии[3]. Несколько ниже автор приходит к выводу: «...одним словом, мы полагаем, что огромные пространства Средней Азии издревле говорили языками, близкими к нынешним, т. е. на востоке — маньчжурским, в центре — монгольским и на западе — турецким...»[4]. Свои рассуждения о языках, на которых говорили в Монголии, В. П. Васильев кончает следующими словами: «Как бы то ни было, мы имеем все причины думать, что язык монгольский существовал уже с давнего времени, только не назывался этим именем»[5].

Другой факт, который В. П. Васильев старается выделить как заслуживающий особого внимания, это форма взаимоотношений и объединений у монгольских племен в XII — начале XIII в. «Перед выступлением в свет Чингис-хана, или, лучше, до принятия им императорского титула, мы находим,— пишет В. П. Васильев,— что все земли, вне пределов Цзиньской и Сяньской династий, были разделены между различными поколениями, управляемыми старшинами и в постоянной вражде

---

[1] См. В. П. Васильев. Ук. соч., стр. 2.
[2] Там же, стр. 57.
[3] Там же, стр. 128.
[4] Там же, стр. 129.
[5] Там же, стр. 131.

между собой. Но между ними видны взаимные сеймы, власть над которыми переходила из рук в руки»[1].

Под «сеймом» В. П. Васильев подразумевает объединение близких по родственным связям племен. Таковы, например, сейм кереитов, или сейм найманов. По мнению В. П. Васильева, некоторые из этих сеймов, возглавляемые как кереиты Ван-ханом, подчиняли себе в какой-то мере другие, более слабые племена или их объединения. Так, например, «Эсукей (отец Чингис-хана.— *А. Я.*), кочевавший на берегах Онона, находился под зависимостью Ван-хана»[2].

Интересным местом в работе В. П. Васильева, не потерявшим значения и в наши дни, является его точка зрения на происхождение самого слова «монголы». Д'Оссон, который, как известно, свой I том «Истории Монголов» писал на основе, главным образом, материалов Рашид-ад-дина, в надежности и достоверности которых трудно сомневаться, стоит на том, что монголы представляли собой одно из населявших Монголию племен—точнее, даже небольшое объединение племен.

В. П. Васильев, на основе китайских источников, решительно отвергает взгляд Рашид-ад-дина и следующих за ним в этом вопросе авторов. «По Юаньской истории,— пишет В. П. Васильев,— можем заключить, что Чингис-хан принадлежал к племени или поколению монголов, которое уже существовало до него; но все удостоверяет нас согласиться с китайским писателем Мэн-хуном[3], современником Чингис-хана, который утвердительно говорит, что это имя сначала было неизвестно его подданным и выдумано только во времена принятия им императорского титула, и что во всем этом принимали участие киданьские перебежчики, которые внушили этому завоевателю китайские понятия о названиях царства, о годах правления и т. п. По этим понятиям, когда кто принимает императорский титул, то он назначает наименование своей династии. Темучин принимает титул Чингис-хана... и дает своей державе имя Монголов»[4]. Таким образом, название «монгол», «монголы» не есть имя народа, но первоначально представляет официальный термин, который лишь постепенно превращается в наименование народа[5].

---

[1] В. П. Васильев. Ук. соч., стр. 131.

[2] Там же.

[3] Теперь доказано, что автором приписываемого Мэн-хуну сочинения был Чжао-хун. См. Pelliot. «T'oung Pao», 1928—1929, стр. 163 и сл. и Pelliot. «T'oung Pao», 1930, стр. 13 и сл.

[4] В. П. Васильев. Ук. соч., стр. 134.

[5] Там же, стр. 135.

В конце своей работы В. П. Васильев вновь возвращается к вопросу о происхождении термина «монголы». По его мнению, если улус, к которому и принадлежал Темучин, и имел общее наименование, то отнюдь не «монголы», а «татары». В. П. Васильев не отрицает, что «название «монгол» или созвучие с этим существовало действительно с давнего времени, если даже оно и занесено было к некоторым из обитателей нынешней Монголии прежде Чингис-хана, то не было до него общим национальным именем нынешнего монгольского племени»[1].

С именем В. П. Васильева связан перевод с китайского «Записки о монголо-татарах» Мэн-хуна. Записка эта составлена в первой половине XIII в. современником Чингис-хана, однако, как сказано выше, согласно исследованию Пеллио, не Мэн-хуном, а Чжао-хуном. Эта небольшая записка содержит немало ценнейших сведений о скотоводческом хозяйстве, об уровне общественного строя монголов, о нравах и обычаях, о должностях, чиновниках, чинах, военном управлении и т. д. Перевод В. П. Васильева, по мнению специалистов, хотя уже устарел и нуждается в замене новым, сыграл в историографии монголов большую роль, так как до самого последнего времени им пользовались особенно при описании хозяйства и общественных отношений у монголов времени Чингис-хана.

В. В. Бартольд свою статью «И. Н. Березин как историк»[2], прочитанную 7 мая 1919 г. на заседании Восточного отделения археологического общества, в связи со столетием со дня рождения И. Н. Березина, закончил словами: «Заслуги того поколения ориенталистов, к которому принадлежал Березин, определяются не столько выполнением, сколько постановкой научных задач, и в этом отношении ученый, понявший, что «на русских ориенталистах лежит обязанность разъяснения» монгольского периода русской истории, и не только словом, но и делом доказавший сознание этой обязанности, издатель «Библиотеки восточных историков» и труда Рашид-ад-дина, имеет полное право на благодарность потомства»[3].

В. В. Бартольд в оценке деятельности И. Н. Березина, как, впрочем, и всего поколения ориенталистов, современников последнего, был излишне строг. Заслуги П. С. Савельева, В. В. Григорьева, И. Н. Березина определяются не только

---

[1] В. П. Васильев. Ук. соч., стр. 159.

[2] В. В. Бартольд. И. Н. Березин как историк. ЗКВ, т. II, стр. 51—72.

[3] Там же, стр. 72.

постановкой вопросов, но и осуществлением, пусть не всегда полным, задач, которые они перед собою ставили.

И. Н. Березин, как востоковед, вышел из казанской школы, был учеником Ф. И. Эрдмана, немца, который не оставил после себя ценного научного наследия, и азербайджанца, ираниста А. К. Казембека, который был своеобразной и интересной фигурой. Ученость А. К. Казембека носила ярко выраженные черты мусульманского образования, однако в среде русских востоковедов его деятельность все больше приобретала характер научных исследований, стоявших на уровне требований первой половины XIX в. Всесторонняя характеристика и, быть может, несколько слишком строгая оценка научной деятельности И. Н. Березина дана в указанной выше работе В. В. Бартольда. Поэтому здесь можно сосредоточить свое внимание лишь на вкладе, который внесен был И. Н. Березиным в дело изучения истории монголов периода XI—XIII вв. Но даже при такой весьма ограниченной задаче следует напомнить, что И. Н. Березин был человеком большой культуры и образованности и не только в одном востоковедном плане. Владея арабским, персидским и тюркским языками, начитанный в первоисточниках на двух последних языках, лично посетивший в 1842—1844 гг. ряд стран Ближнего Востока, И. Н. Березин был ученым с широким кругозором. В 50-х годах он побывал в Западной Европе, ознакомился с научной жизнью Берлина, Парижа и других городов. И. Н. Березин принадлежал к той части русских ученых середины и второй половины XIX в., на которых сказались либеральные идеи буржуазной интеллигенции, стоявшей, впрочем, в стороне от русских революционных демократов и даже в наиболее ответственные моменты проявлявшей к ним явно враждебное отношение.

Весьма интересна для характеристики общественных взглядов И. Н. Березина его статья «Нынешние центры науки в Европе», опубликованная в двух номерах «Библиотеки для чтения» за 1865 г.[1] Статья эта написана по поводу издания «Извлечения из отчетов лиц, отправленных Министерством народного просвещения за границу, для приготовления к профессорскому званию».

И. Н. Березин хорошо знал недовольство русской студенческой молодежи постановкой высшего образования в России. По словам И. Н. Березина, студенты недовольны преподаванием некоторых профессоров и «стали утверждать, что их, живых людей,

[1] И. Н. Березин. Нынешние центры науки в Европе. «Библиотека для чтения», 1865, № 3 и 4.

отталкивают от современности и заморили на схоластике»[1]. Несколько ниже он пишет: «Юношество заявляет, что в университетском преподавании много схоластики»[2].

«Какие бы ни напрягал университет усилия для того, чтобы дать перевес отвлеченным наукам, сдается нам, он только понапрасну растратит драгоценные силы: за стенами университета жизнь слагается в практическом направлении, в котором «наука для науки» составляет исключение»[3]. И еще ниже: «по-нашему,— пишет И. Н. Березин,— университет остается, как и прежде, посредником между обществом и наукою: он только более прежнего отвечает на современные запросы»[4]. Зная хорошо запросы русской жизни, И. Н. Березин отвергает путь, которым развивалась немецкая наука. По его словам, «немецкий профессор читает науку для науки и поэтому мало заботится о том действии, которое его лекции производят на аудиторию»[5]. Однако И. Н. Березин, типичный либерально-буржуазный профессор, свои рассуждения о том, какой должна быть русская наука в университете, заключает следующими словами: «Разница в нашем взгляде с требованием юного лагеря заключается в том, что, по нашему разумению, развитие это не должно уклоняться от научного круга в сферу идей чисто социальных. Прежде чем решать общественные вопросы, следует основательно изучить агенты, действующие в природе и в жизни»[6]. Эти слова И. Н. Березина целиком увязываются с его политическим мировоззрением. Известно, что И. Н. Березин был создателем и редактором «Русского энциклопедического словаря», который пользовался широкой популярностью в России в 70—90-е годы прошлого века, пока не был сменен энциклопедическим словарем Брокгауза. И. Н. Березин в конце своей жизни отдал словарю своему (16 больших томов) много времени, в силу чего стал отходить даже от любимой научной работы. Про него говорили, что он был очень активным редактором, не пропускающим без своей визы и исправлений ни одной ответственной заметки. Нас заинтересовал вопрос, как относился И. Н. Березин к французской буржуазной революции 1789 г. В обстоятельной статье «Франция», помещенной в «Словаре», читатель найдет весьма сочувственное отношение к идеям

---

[1] И. Н. Березин. Нынешние центры науки в Европе. «Библиотека для чтения», 1865, № 3, стр. 134.
[2] Там же, стр. 136.
[3] Там же.
[4] Там же, стр. 137.
[5] Там же, стр. 138.
[6] Там же, стр. 142.

и делу французской революции. Нельзя сомневаться, что И. Н. Березин как редактор очень внимательно отнесся к оценке событий в этой статье. Между прочим, в упомянутой выше работе «Нынешние центры науки в Европе», он, полемизируя с немецким историком Ранке по вопросу об огромной роли реформации в истории Европы, заявляет: «мы не должны, однако, забывать и французской революции, имевшей также большое влияние на общественный строй»[1].

Однако социалистическим идеалам И. Н. Березин был совершенно чужд и относился к ним явно враждебно, что можно проследить по тому же «Русскому Энциклопедическому словарю». Достаточно прочесть небольшие заметки под словами «Коммунизм», «К. Маркс» и «Социализм», чтобы убедиться в этом. Таким образом, И. Н. Березин был типичным представителем русской буржуазной науки середины и второй половины XIX в. с присущей ей ограниченностью. Можно ли назвать И. Н. Березина историком в полном смысле этого слова? Следует согласиться с В. В. Бартольдом, который говорит, что некоторые работы И. Н. Березина, как, например, «Первое нашествие монголов на Россию» и «Нашествие Батыя на Россию», являются по существу работами не историческими, а филологическими, так как представляют перевод соответствующих текстов Рашид-ад-дина[2]. Перевод и исторические комментарии он часто предпочитал историческим построениям и обобщениям. Характерно, что даже его докторская диссертация «Очерк внутреннего устройства улуса Джучиева»[3] написана в плане любимого им приема — исторического и филологического комментария. На этом очерке мне еще придется остановиться, так как И. Н. Березин высказывал в нем не раз свои суждения о монголах периода Чингис-хана и его преемников.

Основным и крупным вкладом И. Н. Березина, до сих пор не утерявшим своей научной значимости, являются его переводы I тома Рашид-ад-дина (и комментарии к нему), посвященные темам: 1) О турецких и монгольских племенах[4], 2) Истории Чингис-хана до восшествия его на престол[5], 3) Истории Чингис-хана от восшествия его на престол до кончины[6].

---

[1] И. Н. Березин. Ук. соч., стр. 59.

[2] См. В. В. Бартольд. И. Н. Березин как историк. ЗКВ, т. II, стр. 63—64. (Первая из указанных статей И. Н. Березина опубликована в ЖМНП, ч. 79, 1853; вторая в ЖМНП, ч. 86, 1855).

[3] ТВО, т. VIII, 1864 (текст опубликован в ТВО).

[4] ТВО, т. V, 1858. Русский перевод.

[5] ТВО, т. XIII, 1868. Текст и русский перевод.

[6] ТВО, т. XV, 1888. Текст и русский перевод.

И. Н. Березин в предисловии к переводу «О турецких и монгольских племенах» говорит, что он, прежде чем приступить к этому большому научному делу, предпринял «предварительные издания, относящиеся к истории Монголов», а именно: «Библиотека Восточных историков» (Шейбаниада, татарский перевод Истории Рашид-ад-дина и начало Истории Абул-Гази), Ханские ярлыки, и помещенные в журнале Министерства народного просвещения статьи: «Первое нашествие Монголов на Россию», и «Нашествие Батыя на Россию»[1].

Сколько бы ни имел недостатков основной труд И. Н. Березина, в отношении чтения текста, перевода и комментариев он все же сохраняет свое значение по настоящее время. Можно с уверенностью сказать, что нет ни одной серьезной работы конца XIX и первой половины XX в. по истории монгольской империи и монгольских завоеваний, в которой так или иначе не был бы использован березинский текст, перевод и комментарии I тома Рашид-ад-дина. Даже если взять последнюю серьезную работу зарубежной буржуазной историографии «Империю монголов» Рене Груссе, изданную в Париже в 1941 г., то можно сразу заметить, что материалы I тома Рашид-ад-дина автором целиком использованы по И. Н. Березину. И. Н. Березин прекрасно отдавал себе отчет в том, насколько трудна и огромна работа, за которую он взялся, тем более, что в переводе Рашид-ад-дина у него был в лице Катрмера предшественник, с которым трудно было соперничать. И. Н. Березин это прекрасно понимал. «Наученный опытом предшественников и примером г. Катрмера, я поставил на первом месте в своем понимании Рашид-Эддиновых рассказов восточно-азиатский элемент, придав ему еще более значения, нежели сколько допускал то в своих примечаниях г. Катрмер»[2].

Комментарии Катрмера к переводу хулагуидской части Рашид-ад-дина сделаны, как известно, замечательно[3]. Они до сих пор остаются незамененными другими примечаниями, которые бы были полнее в смысле привлечения новых материалов из источников. Примечания И. Н. Березина в этом отношении сделаны более поверхностно. Да он и не ставил перед собой задачи дать исчерпывающий комментарий, так как он считал необходимым опубликовать текст и русский перевод, чтобы дать в руки историков, и не только историков-востоковедов, необходимый материал для научной работы по истории

[1] ТВО, т. XV, 1888. Текст и русский перевод.
[2] ТВО, т. V, стр. X.
[3] M. Quatremère. Histoire des Mongols de la Perse écrite en persan... Paris, 1836.

монголов. Что же касается комментариев, то они, по его мнению, должны были носить чисто разъяснительный характер при чтении текста.

Вторую часть истории I тома Рашид-ад-дина под заглавием «История Чингис-хана до восшествия его на престол» И. Н. Березин выпустил через десять лет, в 1868 г.[1] В эту книгу вошел персидский текст и русский перевод. В предисловии к русскому переводу И. Н. Березин сообщает: «при печатании этого перевода я мог воспользоваться, наконец, «Старинным монгольским сказанием о Чингис-хане», существование которого мне известно ранее и которое появилось в четвертом томе Российской духовной миссии в Пекине, в переводе с китайского, архимандрита Палладия, с примечаниями русского переводчика»[2]. И. Н. Березин сразу же оценил значение «Сокровенного сказания», которое, по его мнению, превосходит обилием своих материалов не только Алтан-Топчи и Сананг-Сэцэна, но и китайские известия о Чингис-хане. Оценил И. Н. Березин «Сокровенное сказание» и для работы над выяснением источников Рашид-ад-дина. «С появлением этого сочинения, которое я называю,— пишет И. Н. Березин,— монголо-китайской летописью, мне представилась возможность проверить рассказ Рашид-Эддина о Чингис-хане»[3]. К сожалению, И. Н. Березин смог как следует ознакомиться с «Сокровенным сказанием» лишь при печатании «Истории Чингис-хана до восшествия его на престол», в силу чего данные нового источника и не вошли в его примечания.

В связи с упоминанием «Сокровенного сказания» и впечатлением, произведенным этим историческим источником на И. Н. Березина, следует остановиться несколько на роли, которую сыграл Палладий Кафаров своим переводом в деле изучения истории монголов времени Чингис-хана. Архимандрит Палладий Кафаров, продолжая традиции Иакинфа Бичурина, дал образец научной работы, ценность которой сохраняется и в наши дни. Перевод «Сокровенного сказания» (или, как сказано, у П. Кафарова, «Старинное монгольское сказание о Чингис-хане»)[4] сделан не с монгольского оригинала, который был ему неизвестен, а с китайского перевода: «Юань-чао-ми-ши», т. е. «Секретной истории династии Юань».

---

[1] ТВО, т. XIII.
[2] И. Н. Березин. Ук. соч. Русский перевод, стр. 1.
[3] Там же, стр. 1.
[4] Труды членов Российской духовной миссии в Пекине, т. IV, СПб., 1866, стр. 261 и сл.

По отзыву специалистов, перевод П. Кафарова сделан замечательно и не потерял своего значения и после выхода в свет перевода акад. С. А. Козина, хотя последний выполнен непосредственно с монгольского оригинала. Как увидим ниже, перевод П. Кафарова сыграл в развитии монголоведения, а также историографии монголов исключительную роль. В течение 80 лет он питал и питает наших историков первоклассным фактическим, собственно монгольским материалом, который наряду со сведениями Рашид-ад-дина и китайскими источниками [Ган-му, Мэн-хун (Чжао-хун) и другие], дает полную возможность всесторонне осветить обстановку образования монгольской империи. Однако заслуги П. Кафарова этим не ограничиваются. В том же 1868 году он опубликовал свой перевод и примечания к «Описанию путешествия даосского монаха Чан-Чуня на Запад»[1], сочинение, в котором автор описывает свои впечатления, полученные на огромном пути из Китая в ставку Чингис-хана и обратно в 1221—1223 гг., т. е. вскоре после завоевания и опустошений, которые были произведены монголами в Средней Азии и Хорасане.

Вернемся, однако, к И. Березину. «Сокровенное сказание» полностью не было им использовано. Этой работы ему не удалось проделать, хотя в третьей части своего перевода Рашид-ад-дина «История Чингис-хана от восшествия его на престол до кончины» он не раз обращался в своих примечаниях к русскому переводу «Сокровенного сказания» П. Кафарова.

К. Маркс, который к середине XIX в. сумел изучить, в основном, почти весь для своего времени фактический материал по самым разнообразным вопросам мировой истории, не оставил без внимания и кочевников. В своей рукописи 1857—1858 гг. под заглавием «Формы, предшествующие капиталистическому производству»[2], К. Маркс вскрывает основные закономерности развития кочевого общества. «У кочевых пастушеских племен,— а все пастушеские племена первоначально кочевые,— земля, наравне с прочими природными условиями, представляется в своей первичной неограниченности, например в степях Азии и на азиатском плоскогорье. Ее используют как пастбище и т. д., на ней кормятся стада, которыми, в свою очередь, существуют пастушеские народы. Они относятся к земле, как к своей собственности, хотя они никогда не фиксируют этой собственности. Такого рода собственностью является район

[1] Труды членов Российской духовной миссии в Пекине, т. IV, 1868.

[2] Впервые напечатана в русском переводе в № 3 журнала «Пролетарская Революция» за 1939 г. Затем перепечатана в «Вестнике древней истории», 1940 г., № 1. В 1940 г. издана отдельной брошюрой.

охоты у диких индейских племен в Америке; племя считает известный район своей областью для охоты и силой отстаивает его против других племен, либо пытается изгнать другие племена из удерживаемых ими областей. У кочевых пастушеских племен община всегда на деле собрана вместе; это общество спутников (Reisegesellschaft), караван, орда, и формы субординации развиваются из условий этого образа жизни. *Присваивается* и *воспроизводится* здесь на самом деле только стадо, а не земля, которую, однако, на каждом месте стоянки временно используют *сообща*. Единственной преградой, на которую данный коллектив может натолкнуться в своем отношении к естественным условиям производства — к земле — (уж если мы сразу перейдем к оседлым народам), как к *своим*, является *другой коллектив*, который уже располагает этими условиями, как своим неорганическим телом. Поэтому *война* — это один из самых первобытных видов труда каждого из этих естественно сложившихся коллективов как для отстаивания собственности, так и для приобретения ее. (Мы можем здесь фактически ограничиться замечаниями о первоначальной собственности на землю, ибо у пастушеских народов собственность на естественные продукты земли — на овец например — это одновременно и собственность на луга, по которым они передвигаются. Вообще собственность на землю включает также и собственность на ее органические продукты). Если вместе с землей завоевывают самого человека как органическую принадлежность земли, то его завоевывают как одно из условий производства, и таким путем возникают рабство и крепостная зависимость, вскоре извращающие и видоизменяющие первоначальные формы всех коллективов, сами становясь базисом последних. Простая организация приобретает в силу этого отрицательное значение»[1].

Я позволил себе привести полностью главную часть высказываний К. Маркса об основных закономерностях развития кочевых скотоводческих племен, находящихся на стадии разложения первобытно-общинного строя и еще не создавших государственных объединений. Основная мысль К. Маркса сводится к следующему. В степи, у кочевых скотоводческих племен «присваивается и воспроизводится только стадо», «а не земля». Ее только используют сообща. Таким образом, собственником земли является коллектив, т. е. племя. В собственности же кочевника находится не земля, а скот. На почве племенной собственности на землю между племенами часто происходят

---

[1] К. Маркс. Формы, предшествующие капиталистическому производству. Политиздат при ЦК ВКП(б). [М.], 1940, стр. 24—25.

столкновения, так как другой коллектив, т. е. другое племя, может встать преградой в отношении первого племени к земле. Война становится средством разрешения конфликта и является «одним из самых первобытных видов труда» в деле отстаивания или захвата земли, как основного условия производства.

Война между племенами приводит не только к захвату земли, но и людей, которых превращают в рабов или крепостных. Само появление рабов содействует переменам в структуре первобытных коллективов — племен, порождает и усиливает вместе с собственностью на скот классовое расслоение кочевого скотоводческого общества, которое приводит к сложению в кочевом обществе первого господствующего класса в лице рабовладельческой кочевой знати, все более монополизирующей пастбища в своих руках.

Несколько ниже К. Маркс высказывает следующую, весьма важную мысль. Отношение кочевника к земле происходит не непосредственно, а через коллектив, через племя; таким образом, кочевник не может существовать вне племени, вне рода. Заканчивает К. Маркс свои высказывания о кочевниках следующими мыслями:

«Основное условие собственности, покоящейся на племенном строе (к которому коллективное устройство первоначально и сводится),— быть членом племени,— делает завоеванное, покоренное племенем чужое племя *лишенным собственности* и повергает его самого в разряд тех *неорганических условий* воспроизводства, к которым коллектив относится, как к своим. Рабство и крепостная зависимость являются поэтому лишь дальнейшими ступенями развития собственности, покоящейся на племенном строе. Они неизбежно изменяют все его формы»[1].

К вышеприведенным высказываниям К. Маркса следует прибавить весьма ценное замечание К. Маркса из его письма к Ф. Энгельсу от 2 июня 1853 г.

«У всех восточных народов можно, с тех пор как этот процесс происходит, установить *общее* взаимоотношение между оседлостью одной части этих племен и продолжающимся кочевничеством другой части»[2]. Имеются в виду те азиатские страны, где кочевники соседствуют с оседлыми государствами.

Приведенные высказывания К. Маркса и указание И. В. Сталина о полупатриархальных-полуфеодальных отношениях[3] у кочевников (о чем мы еще будем говорить) есть

---

[1] К. Маркс. Ук. соч., стр. 26.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXI, стр. 488.
[3] См. И. В. Сталин. Соч., т. 5, стр. 25.

лучшее, что написано о закономерностях общественного развития у кочевников в мировой исторической литературе.

Положения К. Маркса о кочевых скотоводческих обществах, к сожалению, опубликованы лишь через 82 года после написания. В них содержится целая программа изучения кочевников.

Буржуазная историческая наука, враждебно относящаяся к марксизму, оказалась в вопросе изучения кочевников (за исключением чисто описательной стороны) несостоятельной, что мы и увидим ниже, в связи с дальнейшим рассмотрением вопросов изучения монголов в русской и зарубежной исторической литературе.

* * *

К концу XIX в. буржуазная историческая наука окончательно утеряла все положительное, что имела еще в начале XIX в.; она сменила прежние прогрессивные для своего времени идеи на реакционные, отрицая во имя сохранения капитализма даже самую закономерность исторического развития. В буржуазной исторической науке начался в это время пересмотр взглядов на прошлое, в том числе и на вопрос о роли монгольского завоевания. Все сильней стали раздаваться голоса о том, что предшествующие историки неправильно оценили роль монголов и монгольского завоевания в истории человечества, что давно пора провести в этой области переоценку прежних взглядов, что монголы вовсе не явились такими разрушителями, как думали прежде, и что, напротив того, они внесли много положительного в жизнь покоренных народов и стран. Эта смена прогрессивных взглядов в области оценки монгольских завоеваний реакционными — захватила даже наиболее серьезных представителей буржуазной историографии конца XIX и XX вв. Эта смена взглядов затронула и русское востоковедение, в известной мере, и такого крупного историка Средней и Передней Азии, каким был академик В. В. Бартольд. Его работы по истории монголов XIII в. явились крупным событием. В 1896 г. он выступил с двумя статьями по основным вопросам истории образования монгольской империи во главе с Чингис-ханом. Для нас особенно важна первая из этих статей, являющаяся записью вступительной лекции тогда еще начинающего ученого, прочитанной 8 апреля 1896 г. на Восточном факультете Петербургского университета. Вторая статья представляет собой рецензию В. В. Бартольда на вышедшую в том же 1896 году работу французского ученого Леона Каэн[1].

---

[1] «Introduction à l'histoire de l'Asie. Turcs et Mongols des origines à 1405».

В. В. Бартольд дал отрицательную оценку этой работы французского историка Центральной Азии, хотя и признал ее литературные достоинства[1]. Однако отрицательное отношение к книге Каэна не помешало В. В. Бартольду присоединиться к общей исторической оценке периода монгольского нашествия, данной французским ученым. В этой рецензии В. В. Бартольд пишет: «Автор справедливо отвергает старое представление о монгольских завоеваниях, как о нашествиях бесчисленных диких полчищ» или «бессознательном движении огромных волн народов»[2].

Заслуги В. В. Бартольда в историографии Ближнего и Среднего Востока общеизвестны. Умалять их не приходится. Однако и он отдал дань тем переменам, которые произошли по всему фронту буржуазной историографии конца XIX — начала XX в., в период складывавшегося тогда империализма.

В. В. Бартольд, привыкший в своей работе историка-исследователя все свои положения проверять фактами, не мог не видеть крупных разрушений, которые сопровождали монгольские завоевания. И в своих взглядах по этому вопросу В. В. Бартольд не пошел на окончательный разрыв с господствовавшими у лучших историков XIX в. воззрениями. Внимательно следя за высказываниями В. В. Бартольда по вопросу о монголах и роли, которую они сыграли в жизни Азии и Восточной Европы в XIII—XIV вв., нельзя не заметить в них внутренних противоречий. Об этом мы, впрочем, скажем подробно ниже. Пока же следует остановиться на том, что же положительного внес В. В. Бартольд в историю изучения монгольского народа. Можно со всей категоричностью сказать, что после появления работ В. В. Бартольда все крупные успехи монголистики и, прежде всего, истории монголов XI—XIII вв. связаны с русской и советской наукой. Хотя В. В. Бартольд и отдавал все свое время научным занятиям, он не был оторван от жизни. В. В. Бартольд живо реагировал на политическую жизнь царской России, возмущался реакционными мероприятиями царизма, однако в своем возмущении не выходил за пределы буржуазного радикализма. Конечно, он не был социалистом и марксистом, да и самый марксизм до Великого Октября знал плохо. Вместе с тем В. В. Бартольд был честным и прогрессивным ученым, чуждым расовым концепциям и пренебрежительному отношению к народам Востока, культурные достижения которых он высоко ценил. Позволю себе привести несколько

---

[1] См. ЖМНП, 1896, июнь, стр. 375.
[2] Там же, стр. 376.

примеров, весьма показательных в этом отношении. Как известно, убедительными являются мнения, которыми автор делится в частных письмах со своими друзьями.

В письме к Н. П. Остроумову в Ташкент от 23 сентября 1913 г. В. В. Бартольд пишет: «Ваше мнение о моем «благодушии» не вполне соответствует действительности; к сожалению, для благодушия пока нет поводов; редко какое правительство вело такую упорную борьбу с наукой и вызвало против себя среди ученых такое единодушное негодование, как наше... Я только не дошел еще до того, чтобы сложить руки и бросить работу, хотя и не надеюсь дожить до лучших времен».

Незадолго перед этим, испытав в качестве редактора либерального научного журнала «Мир ислама» «прелести» царской цензуры, а также варварство и невежество реакционных требований министра внутренних дел Макарова, В. В. Бартольд писал Н. П. Остроумову 3 марта 1913 г.: «Едва ли в настоящее время такое торжество грубого невежества было возможно в какой-нибудь европейской стране, не исключая Турции. Не думаю, чтобы турецкий министр мог заявить ученому своего народа, как мне заявил Макаров, что научная литература на отечественном языке вовсе не нужна и что с наукой можно познакомиться по заграничным изданиям».

В письме к тому же Н. П. Остроумову от 6 декабря 1915 г. он пишет: «...как ни грустно кругом, все-таки в жизни много хорошего, которое останется всегда, тогда как самоистребление[1] и проч. пройдет же когда-нибудь. Человеческая культура еще далеко не сказала своего последнего слова, а скажет ли его белая, желтая или черная раса, это в сущности все равно».

Эти слова В. В. Бартольда неправильно было бы истолковать как космополитизм. Космополитом он никогда не был. Он высоко ценил успехи русской науки и в свое время достойно ее представлял. Цитату эту из письма В. В. Бартольда я привел как один из ярких примеров того, что он был противником расовой теории. Все расы мира В. В. Бартольд считал равноправными и равноценными по своим возможностям. Вся научная деятельность его проникнута глубоким уважением к народам Средней Азии и высокой оценкой того культурного вклада, который они внесли в древности и средние века в мировую культуру. В этом отношении он представляет полную противоположность взглядам и деятельности Н. И. Веселовского и Н. П. Остроумова, которого он лично уважал, но с которым в течение долгих лет боролся, выступая против его

---

[1] В это время происходила первая мировая война.

реакционных взглядов на задачи востоковедения и русской политики на Среднеазиатском Востоке.

Таковы несколько фактов, которые могут в какой-то мере охарактеризовать взгляды самого серьезного и прогрессивного из буржуазных историков-востоковедов конца XIX — начала XX вв. Перейдем к его трудам по истории монголов. Крупнейшим вкладом в историю монгольской империи является отмеченная выше пробная лекция В. В. Бартольда в Петербургском университете и, особенно, основная часть его капитального труда «Туркестан в эпоху монгольского нашествия». Собственно говоря, В. В. Бартольду принадлежит честь первому поставить на серьезную научную почву решение вопроса о причинах возникновения монгольского государства во главе с Чингисханом. На эту тему и была прочитана в 1896 г. его пробная лекция на восточном факультете Петербургского университета. В указанных работах, а также в многочисленных статьях, написанных в разные периоды его жизни, он приводил мнение, которое подтверждали и углубляли высказанные им еще в конце XIX в. взгляды. Само образование монгольского государства в начале XIII в. он связывал не с борьбой между отдельными личностями, и даже не с борьбой «между отдельными родами и племенами»[1], а с борьбой внутри самого монгольского общества, с борьбой классов.

Будучи представителем идеалистического мировоззрения, В. В. Бартольд, однако, был исследователем прогрессивным, поскольку это возможно в рамках буржуазной историографии. Тщательное знание фактического материала, стремление делать выводы, только оправданные фактами, привело его уже в молодые годы к убеждению, что крупные события в истории можно понять только на почве тщательного анализа социально-экономической жизни народа. Уже в 1899 г. в своей рецензии на исследование Н. А. Аристова «Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности» В. В. Бартольд писал: «Пишущего эти строки изучение истории Востока все более и более приводит к сознанию тех простых истин, что на Востоке, как и на Западе, обширные движения вызывались интересами обширного круга лиц, что в Азии и Европе действуют одни и те же законы исторической эволюции». И дальше: «отсутствие подробных данных об образовании других кочевых империй заставляет нас оставить открытым вопрос, происходили ли там явления, более соответствующие

---

[1] ЗВО, т. XI, 1899, стр. 355.

понятию о классовой борьбе, чем понятию о борьбе между отдельными родами и племенами»[1].

Впоследствии, через 30 лет, уже в советскую эпоху, В. В. Бартольд под влиянием марксизма дал более четкую формулировку взглядам, которые у него в молодые годы складывались под давлением фактов монгольской истории, но в силу его теоретической беспомощности не получили тогда строго научного выражения. В статье «Связь общественного быта с хозяйственным укладом у турок и монгол»[2] В. В. Бартольд писал: «Только в эпоху кочевого быта принимает значительные размеры имущественное неравенство и появляется классовая борьба в ее первоначальном виде, в виде борьбы между имущими и неимущими; под влиянием, вероятно, классовой борьбы создается правительственная власть, военное и политическое могущество. По крайней мере, в тех двух случаях, где до нас дошли известия об образовании кочевого государства из уст самих кочевников, а не из уст их культурных соседей, именно в рассказе орхонских надписей о восстановлении турецкой государственности в Монголии в VII в. и в рассказе монгольского предания об образовании империи Чингис-хана, вполне определенно говорится о борьбе между степной аристократией и народными массами, причем в первом случае хан опирался на народные массы, во втором же — на аристократию. Без момента обострения классовой борьбы даже в условиях кочевого быта нет почвы для возникновения сильной правительственной власти...»[3].

Именно с этих позиций и написана первая работа В. В. Бартольда, его пробная лекция «Образование империи Чингисхана»[4]. Большой заслугой В. В. Бартольда является высказанная в этой статье мысль о том, что не борьба между вождями монгольских племен, даже не борьба между отдельными монгольскими родами и племенами определила образование монгольского государства начала XIII в., а более глубокие, именно социально-экономические причины. Уже в этой первой лекции В. В. Бартольд сумел определить классовый, аристократический характер монгольского государства XIII в. По его словам, «Чингис-хан не был «народным вождем» в настоящем

---

[1] ЗВО, т XI, 1899, стр. 355.

[2] Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском гос. ун-те, 1929, т. XXXIV, вып. 3—4, стр. 1—4.

[3] В. В. Бартольд. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности, стр. 3.

[4] В. В. Бартольд. Образование империи Чингис-хана. ЗВО, т. X, стр. 105—119.

значении этого слова, и созданный им государственный строй носил строго аристократический характер»[1].

Ту же мысль он проводит и при изложении борьбы за власть в Монголии в конце XII и начале XIII в. В то время, как степная аристократия, пишет В. В. Бартольд, «провозгласила своим представителем Темучина, простой народ, искавший не богатства и славы, а дневного пропитания, сплотился вокруг другой личности, именно вокруг Джамухи, одного из начальников племени Джаджират»[2]. Не случайно, по мнению Бартольда, проникнуто аристократической тенденцией и основное монгольское предание о Чингис-хане и об образовании монгольского государства. «В фантастической окраске,— пишет В. В. Бартольд,— здесь изложена легендарная история монголов и история образования монгольской империи, причем автор имеет в виду прославление не столько царствующей династии, сколько ее сподвижников из степной аристократии, к которой он относится с явным пристрастием и к которой, повидимому, принадлежит сам»[3]. Кого же В. В. Бартольд подразумевал под монгольской аристократией? Кочевую скотоводческую знать, монгольское нойонство, кочевых степных богачей, в руках которых в конце XII — начале XIII в. сосредоточивались большие количества скота и рабов[4]. Историография не может пройти мимо этих взглядов В. В. Бартольда. Он с классовой точки зрения подошел к решению вопроса об образовании монгольского государства, как бы примитивно она ни была высказана, и в этом была большая заслуга русской исторической науки, ярким представителем которой в востоковедении был В. В. Бартольд.

Свою точку зрения на классовое происхождение монгольского государства В. В. Бартольд отстаивал в течение всей своей научной жизни, хотя и не поднялся в остальном до уровня подлинно научного толкования исторических событий, т. е. до уровня марксистского понимания истории.

Однако заслуга В. В. Бартольда в историографии монголов заключается не только в правильной постановке вопроса об образовании монгольской империи, но и в разностороннем изучении этой империи, прочно связанной с монгольскими

[1] В. В. Бартольд. Образование империи Чингис-хана. ЗВО, т. X, стр. 114.

[2] Там же, стр. 111.

[3] Там же, стр. 107.

[4] Указаний на феодально-зависимых людей в работах В. В. Бартольда не имеется.

завоеваниями, а также в широком использовании первоисточников. В том и другом отношении работы В. В. Бартольда были огромным шагом вперед по сравнению с тем, что сделано было предыдущими крупными исследователями: д'Оссоном, Иакинфом Бичуриным, В. П. Васильевым и И. Н. Березиным. В. В. Бартольд впервые в своем труде «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» дал развернутую характеристику организации монгольского государства, показал основные его учреждения, подробно описал устройство войска и гвардии, отметил их классовый характер и вместе с тем их весьма примитивную структуру, за исключением организации военного дела. Будучи огромным эрудитом в первоисточниках и в литературе по истории монголов, В. В. Бартольд впервые дал многостороннюю характеристику монгольского государства, чего не сделал никто из его предшественников. Имея полную возможность непосредственно привлечь материалы из персидских, арабских и турецких источников, а также материалы средневековых авторов на европейских языках, В. В. Бартольд вместе с тем учел все сделанное до него историками и филологами в области изучения монгольских и китайских хроник и сказаний. Еще бо̀льшая заслуга В. В. Бартольда в том, что он почти с исчерпывающей полнотой дал научное описание походов Чингис-хана в Среднюю Азию и Иран. В этой области труд В. В. Бартольда еще никем не превзойден. Однако, хотя ему и принадлежит честь постановки вопроса о классовом происхождении государства Чингис-хана, он не смог еще правильно изобразить уровень общественного развития монгольского общества, не смог, прежде всего, потому, что не только не разделял марксистского понимания истории, но и не представлял его правильно.

Мне уже пришлось в специальной статье «Проблема социальной истории народов Востока в трудах академика В. В. Бартольда» отмечать: «Не проходя при истолковании истории мимо внутренних процессов, В. В. Бартольд не имел, однако, четких представлений о роли производительных сил и производственных отношений, в силу чего и не переносил на них главного внимания при объяснении исторических фактов и явлений, а старался понять их как результат влияния более культурного народа на менее культурный. Это, безусловно, наиболее существенный недостаток его работ»[1]. В. В. Бартольд хорошо видел, что монгольское общество разделялось на классы,

---

[1] А. Ю. Якубовский. Ук. соч., «Вестник Ленингр. ун-та», № 12, 1947, стр. 79.

понимал, что степная кочевая аристократия (нойонство) представляла собой господствующий класс, эксплуатировавший «простых кочевников», кочевой монгольский народ; однако В. В. Бартольд представлял классовые отношения упрощенно, сводя их анализ в основном к констатации имущественного неравенства. В. В. Бартольд не ставил вопроса о господствующей форме эксплуатации. Он не знал, что́ представляют собой эти простые кочевники, кто они — свободные люди, скотоводы-производители или люди феодально зависимые от кочевой аристократии; не знал, наконец, какую роль в монгольском обществе играли в то время рабы. Все эти вопросы перед ним не стояли, и ответа на них мы в его работах не получим. Вопросы эти могли быть поставлены только марксистской историографией, что и произошло уже в нашу советскую эпоху.

Как известно, наиболее полно у В. В. Бартольда освещены вопросы, связанные с монгольскими завоеваниями при Чингисхане и его ближайших преемниках. Здесь В. В. Бартольд дает подробную картину событий, привлекая огромное количество фактов из всех доступных в его время источников. Талантливо написанные не только в научном, но и в литературном плане, главы о завоевании государства хорезмшаха Мухаммеда долго еще будут привлекать к себе внимание историков. Однако и в них В. В. Бартольд не поставил самого главного вопроса, а именно вопроса о том, что двигало Чингис-хана и его «степную аристократию» на грабительские, завоевательные походы. В тех же немногих случаях, когда он высказывался по этому вопросу, его взгляды мало чем отличались от того, что было высказано до него в русской исторической литературе В. Григорьевым и И. Березиным. Вот что говорится у В. В. Бартольда об этом в его пробной лекции: «Быстрое образование обширной кочевой империи — явление, часто повторяющееся в истории Средней Азии. Вследствие условий кочевой жизни движение, вызванное различными причинами, главным образом экономического свойства[1], в короткое время могло охватить целый ряд народов и распространиться на много тысяч верст, останавливаясь только перед непреодолимыми препятствиями»[2]. Что же это за причины «экономического свойства»? Нам представляется, что это ходившая уже с середины XIX в. несостоятельная теория перенаселения степей, согласно которой, когда кочевников и скота становится больше, чем степи могут прокормить, то

---

[1] Разрядка моя.— *А. Я.*

[2] ЗВО, т. XI, стр. 105.

у кочевников нет другого выхода, как движение с целями захвата новых кочевий.

Главные ошибки В. В. Бартольда в истории монгольской империи и монгольских завоеваний лежат в вопросе оценки монгольской власти и той роли, которую она сыграла в жизни Азии и юго-восточной Европы в XIII и XIV вв. Нам уже приходилось выше указать на те противоречия, которые были у В. В. Бартольда по этому вопросу. Вот чрезвычайно характерное суждение В. В. Бартольда. «Монголы — пишет он,— завоевавшие Туркестан в XIII веке, были язычниками, совершали человеческие жертвоприношения и вообще находились на гораздо более низком уровне культуры, чем в X веке караханиды. Монгольское нашествие сопровождалось разрушениями городов и страшными опустошениями; но не действия монгольских войск были главной причиной того культурного упадка, который мы наблюдали в эпоху монгольского владычества и после. От военного разгрома города и целые области оправлялись сравнительно скоро; мы знаем примеры, что города, которые за упорное сопротивление, за убийство монгольского царевича или посла подвергались особенно тяжелой участи и как бы стирались с лица земли, потом восстанавливались и продолжали жить еще несколько столетий, тогда как в местностях, где жители добровольно покорялись завоевателям и потому сохраняли свои города в неприкосновенности, городская жизнь приходила в полный упадок»[1].

Несколько ниже В. В. Бартольд указывает, что «совершенно не пострадали города Семиречья и восточной части Сыр-Дарьинской области, где монголы не встречали никакого сопротивления и ни один город не подвергался разгрому; между тем уже в 50 годах XIII века, через три десятилетия после прихода монголов, отмечается исчезновение некоторого числа городов и увеличение за их счет пастбищ кочевников»[2].

Заканчивая развитие этого положения, В. В. Бартольд приходит к следующему выводу: «Таким образом, культурный упадок объясняется не столько опустошениями, произведенными во время монгольского завоевания, сколько связанным с приходом монголов передвижением кочевых народов и неудачей попыток создать в Средней Азии сильную государственную власть»[3].

---

[1] В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана. Л., 1927, стр. 85.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 86.

Мысль о разрушительной роли кочевников в качестве непосредственных соседей культурных земледельческих районов В. В. Бартольд высказывает во многих своих работах. Так, в «Истории Туркестана» — конспекте лекций, прочитанных в Туркестанском государственном университете в 1920—1921 учебном году, он говорит: «При отсутствии в Средней Азии, от смерти Джагатая (1242) до воцарения Хайду (1269), сильной ханской власти, соседство кочевников, в руках которых была вся военная сила, отразилось на благосостоянии культурных земель, особенно на городской жизни, гораздо сильней, чем опустошения, произведенные во время монгольского нашествия»[1]. Если внимательно читать работы В. В. Бартольда и следить за его высказываниями по этому вопросу, станет совершенно ясным, что он больше всего склонялся к только что высказанной им мысли. Нельзя, конечно, отрицать того, что когда монголы со своим скотом, в качестве победителей, непосредственно подходили к пашням, стадам и городам покоренной области, они в течение нескольких десятилетий приводили их к почти полному уничтожению. В. В. Бартольд имел все основания сказать: «В части Семиречья, к северу от Или, почти не пострадавшей от военных действий, уже к 1253 г., как видно из рассказа миссионера Рубрука, много городов исчезло и уступило место пастбищам, большое число развалин видел также китайский путешественник Чандэ в 1259 г. в Чуйской долине»[2].

Само по себе верное положение В. В. Бартольда становится, однако, неверным, когда он хочет с его помощью уменьшить размеры и роль опустошений и разрушений, которые принесли с собой военные действия монголов, не останавливавшихся перед полным уничтожением городов и истреблением десятков и даже сотен тысяч людей, в том числе стариков, детей и женщин.

В. В. Бартольд был первоклассным знатоком фактического материала, всегда извлекаемого им из первоисточников. Принято думать, что он стремился в своих работах делать выводы только под давлением фактов. И действительно, в подавляющем большинстве его работ эта черта бросается в глаза читателю. Однако этого нельзя сказать в применении к освещению истории монгольской власти в XIII—XIV вв. Нельзя не удивляться, как он мог не придать должного значения местам в сочинениях Ибн ал-Асира (XIII в), Джувейни (XIII в.), Рашид-ад-дина

[1] В. В. Бартольд. История Туркестана. Конспект лекций. Ташкент, 1922, стр. 37.

[2] Там же.

(XIII—XIV вв.) и других авторов, где подробно рассказывается о больших опустошениях и разрушениях, учиненных монгольскими завоевателями в Средней Азии, Иране и Закавказье. Правда, этот упрек относится в меньшей мере к освещению истории Средней Азии. В. В. Бартольд дал достаточно яркую картину монгольского погрома в Средней Азии. Более того, он показал, что в XIII и XIV вв. имел место культурный упадок, хотя и объяснял его в большей мере приближением монгольских кочевий к культурным областям, чем военным погромом. Однако В. В. Бартольд иначе смотрит на роль монголов в истории России, хотя нужно сказать, что и здесь его суждения не лишены противоречий. В книге «История изучения Востока в Европе и России», которую он сам причислил к одной из удавшихся ему работ, В. В. Бартольд говорит: «Несмотря на опустошения, произведенные монгольскими войсками, несмотря на все поборы баскаков, в период монгольского владычества было положено начало не только политическому возрождению России, но и дальнейшим успехам русской культуры. Вопреки часто высказывавшемуся мнению, даже влиянию европейской культуры Россия в Московский период подверглась в гораздо большей степени, чем в Киевский. В самой Европе, начиная с XIII в., происходило постепенное передвижение центров промышленности и торговли с юга на север, в местности, находившиеся в более близком расположении от России».— «Татарские традиции дольше всего отразились на русской внешней политике и на посольском церемониале»[1].

Конечно, с этими утверждениями В. В. Бартольда согласиться никак нельзя. «Политическое возрождение России» происходило отнюдь не под влиянием монгольской власти, а вопреки ей. Не с помощью монгольских ханов выросло могущество объединившейся России, а в борьбе с Золотой Ордой. В русском народе оказались силы, которые сумели преодолеть феодальную раздробленность и, во имя спасения родины от татарского порабощения, раньше создать централизованную власть на Руси, чем это можно было бы ожидать при нормальном ходе исторического развития в условиях феодального общества. Таким образом, именно в борьбе с монголами произошло политическое возрождение России. Неправ В. В. Бартольд и в своем утверждении, будто на монгольский период приходятся «дальнейшие успехи русской культуры». Работы рус-

---

[1] В. В. Бартольд. История изучения Востока в Европе и России. Л., 1925, стр. 171—172.

ских историков, особенно написанные в советское время, убедительно показали, что под монгольским владычеством многие стороны хозяйственной и культурной жизни переживали большой упадок. Это нашло отражение в памятниках материальной культуры, архитектуры и изобразительного искусства. Убедительно показал падение художественного ремесла в этот период Б. А. Рыбаков в своей работе «Ремесло древней Руси». Разве можно сравнить материальную культуру на Руси XII и начала XIII в. с Русью конца XIII и первой половины XIV в.? Постепенное оздоровление жизни, несомненное возрождение экономики, ремесел, городской торговли в XIV в. на Руси явилось не в результате условий, которые были созданы монголами, а несмотря на их режим, в результате большой жизнеспособности русского народа, сумевшего выжить в борьбе с татарщиной. Нельзя, конечно, отрицать, что в русский быт, особенно в быт господствующего класса, вошло немало элементов культуры Востока, однако трудно даже представить, какие «татарские традиции дольше всего отразились на русской внешней политике»; никаких фактов этого рода В. В. Бартольд не приводит.

Взгляды В. В. Бартольда являются самым слабым местом в его высказываниях по вопросу о роли монгольского владычества в покоренных монголами странах и безусловно следует считать шагом назад по сравнению с воззрениями историков первой половины XIX в. В этом вопросе на взглядах В. В. Бартольда, как и на многих его современников-историков, сказался общий упадок буржуазной историографии, столь характерный для эпохи империализма и загнивающего капитализма.

По словам В. В. Бартольда, «образование монгольской империи не было связано, как вторжение германцев в римские области, с переселением народов. Подавляющее большинство монгольского народа и после образования империи осталось в Монголии, куда вернулся и сам Чингис-хан и где его преемники построили для себя столицу на Орхоне»[1]. Это положение В. В. Бартольда, благодаря его огромному авторитету в историографии Востока, до самого последнего времени считалось незыблемым. Однако более внимательное исследование вопроса заставляет нас пересмотреть позиции В. В. Бартольда. Конечно, о переселении большей части монгольского народа говорить не приходится, в этом отношении монголы не повторили караханидского движения, которое действительно

---

[1] В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана, стр. 86.

привело в Среднеазиатское Междуречье (область между Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей) большие массы тюрок: карлуков, ягма, чигилей и других. Однако все же выход монголов из самой Монголии был достаточно велик. Трудно сказать, сколько их ушло, повидимому, около половины кочевого населения. В Семиречье, а затем в Мавераннахр и дальше на запад ушли джалаиры, барласы, научин и орлат, в юго-восточную Европу — мангыты, кунграты и другие.

Известно, что свои войны монголы вели не только собственными силами. В составе конного монгольского войска было много тюркских отрядов, особенно из среды кипчаков, однако преувеличивать их численность и считать, что монголы были только военачальниками, было бы большой исторической ошибкой. А между тем вопрос о том, какое число монголов ушло за пределы самой Монголии, имеет для истории покоренных монголами народов, и особенно самой Монголии, большое значение.

В одной из своих лекций, читанных в Ташкентском казахском педагогическом институте на тему: «История турецко-монгольских народов», В. В. Бартольд высказал весьма ценную мысль о том, что военные походы Чингис-хана и его преемников по сути дела ничего не дали монгольскому народу, оставшемуся в самой Монголии[1]. И действительно, вся последующая история Монголии XII—XIV вв. говорит не о ее росте, а скорее всего об упадке. Население в Монголии уменьшилось, скота также стало значительно меньше, чем в самом начале XIII в., награбленное добро в завоеванных странах не оплодотворило производительных сил в самой Монголии, а разошлось по рукам членов Чингисовой династии и монгольского нойонства, как среди монголов, оставшихся в Средней Азии, Иране, Закавказье и в юго-восточной Европе, так и тех, которые находились в самой Монголии.

Построение столицы Каракорум на р. Орхоне нельзя считать признаком подъема страны, так как это был город, обслуживающий своим ремеслом и торговлей нужды только династии и двора, а не народа. Правильная и исторически ценная мысль В. В. Бартольда о том, что монгольский народ и Монголия в результате завоеваний Чингис-хана ничего не получили, находится в прямом противоречии с приведенными выше взглядами В. В. Бартольда по вопросу о том, какое количество мон-

---

[1]. В. В. Бартольд. История турецко-монгольских народов. Конспект лекций, читанных студентам Казахского высш. пед. ин-та в 1926—1927 гг. Ташкент, 1928, стр. 17. Вот слова В. В. Бартольда: «Самому монгольскому народу эти завоевания не были нужны, и он не извлек из них никаких выгод».

голов ушло во время походов Чингис-хана и его преемников из Монголии. Если бы монголов ушло из своей страны мало, то и скота уведено было бы незначительное количество и тогда не пришлось бы говорить об упадке самой Монголии.

Ошибки В. В. Бартольда в вопросах истории монголов и монгольского владычества в XIII—XIV вв. в Азии и юго-восточной Европе в настоящее время уже достаточно выяснены и едва ли могут оказать свое влияние на новые работы, хотя мы и не должны забывать этих ошибок. Наследие В. В. Бартольда определяется отнюдь не ими, а тем подлинно крупным вкладом, который он оставил историографии Востока. Историческая наука не забудет, что именно ему принадлежит приоритет научной постановки вопроса о происхождении монгольской империи, что именно он дал исчерпывающий очерк устройства монгольского государства при жизни Чингис-хана и никем не превзойденное фундаментальное исследование завоевания монголами Средней Азии и связанного с ним временного упадка богатой цивилизации народов Средней Азии.

На грани XIX и XX вв., а также в первые три десятилетия XX в. по вопросам истории Азии и юго-восточной Европы в период монгольского владычества не появлялось работ, которые могли бы вытеснить труды В. В. Бартольда. Книга Б. Я. Владимирцова «Общественный строй монголов» (монгольский кочевой феодализм) вышла в свет только через четыре года после смерти В. В. Бартольда, в 1934 г. Как мы увидим ниже, только она явилась в ряде вопросов истории монголов шагом вперед по сравнению с тем, что было сделано В. В. Бартольдом, а между тем, за это время у нас, в СССР, и за рубежом было напечатано немало работ, затрагивающих, если не целиком, то во всяком случае частично вопросы, которые получили такую тщательную разработку у В. В. Бартольда. Но большинство выходивших на эти темы книг и статей были написаны не специалистами, а следовательно, не по первоисточникам. Среди русских работ приходится в этом отношении выделить большой труд Г. Е. Грумм-Гржимайло: «Западная Монголия и Урянхайский край, т. II. Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии»[1]. Автор, как известно,

[1] Изд. Ученого Комитета Монгольской Народной Республики, т. VI. Книга эта является продолжением труда «Западная Монголия и Урянхайский край», т. I. Описание природы этих стран. СПб., 1914, т. XII, 569 стр. В 1926 г. был выпущен III том этого труда под заглавием: «Западная Монголия и Урянхайский край», т. III. Вып. 1. Антропологический и этнографический очерк этих стран. Изд. Гос. Русск. географ. об-ва, т. IV, Л., 412 стр.

не был по специальности ни историком, ни востоковедом, а крупным исследователем-географом и естественником, одним из активнейших членов Русского географического общества, неутомимым путешественником по областям Центральной и Восточной Азии, живым, интересным, широко образованным человеком.

При изучении природы и географии указанных выше областей обширного Алтайского материка его особое внимание остановили Монголия и Урянхайский край. Обладая пытливым умом, он не мог себя ограничить специальностью естествоиспытателя и географа и параллельно увлекся вопросами истории и этнографии живших там народов. К сожалению, незнание восточных языков лишило его возможности извлекать нужные ему факты непосредственно из первоисточников, а отсутствие специального исторического образования создало весьма неблагоприятные условия при постановке исторических вопросов и их решения. Г. Е. Грумм-Гржимайло поддался влиянию реакционных воззрений буржуазной историографии Запада по вопросам истории времени Чингис-хана и высоко оценил работу Ховорса, к которой В. В. Бартольд справедливо относился отрицательно. В указанном своем труде Г. Е. Грумм-Гржимайло немало страниц посвящает вопросам хозяйственного и общественного строя скотоводческих и охотничьих монгольских племен. Однако все приводимые им сведения извлечены или из переводов источников на русский и другие европейские языки или из работ д'Оссона, И. Бичурина, В. В. Бартольда и других исследователей. Рассуждения Г. Е. Грумм-Гржимайло по социальным вопросам беспомощны не только с точки зрения марксизма, но даже и буржуазной историографии. Нового и ценного по сравнению с тем, что было сделано в русской историографии, они ничего не дают, за исключением некоторых мыслей по частным и мелким вопросам. Самым слабым местом труда Г. Е. Грумм-Гржимайло является идейная сторона книги. Приходится только удивляться и недоумевать — откуда явилась у него эта непонятная идеализация Чингисхана и его грабительских и завоевательных походов? Показательно его отношение к «Сокровенному сказанию» (Юань-Чао-ми-ши), аристократический характер которого уже был вскрыт в конце XIX в. В. В. Бартольдом. Г. Е. Грумм-Гржимайло не может примириться с тем, что в «Сокровенном сказании» недостаточно выражено преклонение перед личностью Чингис-хана (хотя на самом деле в «Сокровенном сказании» слишком много преклонения перед ним). Приведем слова Грумм-Гржимайло по этому вопросу: «Злой, жестокий, мстительный,

трус, решающийся на отважные поступки только тогда, когда задеты его материальные выгоды, себялюбец, лишенный рыцарских чувств,— вот какой портрет Темучина в молодости дает нам «Юань-Чао-ми-ши» и, конечно, будь этот портрет хоть сколько-нибудь верен, Темучин не мог бы стать тем, чем он стал, и возбудить к себе уже с юных лет, с одной стороны,— преданность и симпатии, а с другой,— боязнь и зависть, а затем и открытую вражду тех, которые прозревали в нем силу, способную умалить, если не совсем уничтожить, их влияние на народ»[1]. В обстановке средневековья, да еще в условиях Азии, Чингис-хан для Грумм-Гржимайло идеал правителя. Г. Е. Грумм-Гржимайло не хочет мириться с оценкой В. В. Бартольда, который совершенно правильно видел в Чингис-хане сильного представителя интересов степной аристократии, т. е. монгольского нойонства. В своей работе Г. Е. Грумм-Гржимайло прежде всего обрушивается на этот тезис В. В. Бартольда. «Бартольд полагает,— пишет Г. Е. Грумм-Гржимайло,— что Чингис-хан стал во главе монгольской аристократии, Чжамуха же, сперва друг, затем упорнейший из его противников,— во главе простого народа и что в последовавшей затем борьбе аристократическая партия победила. И это в тех источниках, какими я пользовался, я усмотреть не мог»[2]. Последняя фраза в этой цитате не может не поразить всякого, кто объективно, без предвзятого мнения, прочтет от начала до конца «Сокровенное сказание» и сочинение Рашид-ад-дина, посвященное монголам времени Темучина—Чингис-хана. Указанные источники пропитаны не только «аристократическими тенденциями» их авторов, но и полны фактического материала для подтверждения тезиса В. В. Бартольда. Сам того не замечая, Г. Е. Грумм-Гржимайло наивно принимает на веру слова, которые Рашид ад-дин приписывает Чингис-хану: «всюду господствовали самый необузданный произвол и безграничное своеволие (имеется в виду кочевое общество.— *А. Я.*). Я положил всему этому конец и ввел у них узаконения и порядок»[3]. Эти слова, будто-бы сказанные Чингис-ханом, если они действительно когда-либо и были произнесены, имели в виду борьбу между отдельными родами и племенами, деятельным участником которых был сам Чингис до того как стал ханом, главным образом же недовольство и протест со стороны массы рядовых кочевников против

---

[1] Г. Е. Грумм-Гржимайло. Западная Монголия и Урянхайский край, т. II, стр. 408.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 437.

той эксплуатации, которую нойоны творили путем насилия. Г. Е. Грумм-Гржимайло, напротив того, понимает слова эти в каком-то идеальном плане, имеющем в виду интересы народа. Несколько ниже он пишет: «если видеть в этом преувеличение, то все же нельзя отрицать, что, дисциплинируя свои войска, Чингис-хан одновременно дисциплинировал и народ, получивший при нем в полной мере военную организацию» [1]. В дальнейшем «идеализация» Чингис-хана и его военных походов принимает в работе Г. Е. Грумм-Гржимайло прямо чудовищные размеры: «Удача всех его (Чингис-хана.— *А. Я.*) походов и несметные богатства, доставшиеся на долю его войск, т. е. того же народа,— пишет этот автор,— создали всем его требованиям значение божеских велений и принимались не только безропотно, но и благоговейно к неуклонному исполнению. При таких условиях и при таком подъеме нравственных сил, который был пережит в его время монгольским народом, совершенно допустимо и то нравственное перерождение народных масс, которое ставил себе в заслугу Чингис»[2].

Страницей ниже автор заканчивает свои рассуждения совершенно нелепым заключением: «Чингис-хан повел монголов по большой дороге завоеваний, где избыток их сил и нашел себе достаточное применение; а затем, как величие, так и полный успех всех его начинаний должны были покорить ему народную душу»[3].

Вот какова «идейная сторона» огромного по объему труда, посвященного Западной Монголии и Урянхайскому краю.

В Ленинграде в научной среде книга Г. Е. Грумм-Гржимайло встретила двойственное отношение. В. В. Бартольд считал работу, несмотря на ее размеры, компиляцией и весьма вежливо уклонился от ее рецензирования. Вот что он сам пишет автору в письме от 31 марта 1927 г. по этому поводу: «Как Вам известно, Западной Монголии и Урянхайского края я в своих работах касался очень мало. Само собой разумеется, что я не во всем согласен с Вами, но спорить нам едва-ли придется; пришлось бы мне проделать всю ту работу, которую проделали Вы; Вы прочитали множество книг и статей, которых я не читал и едва-ли успею прочитать, а без этого спор был бы бесполезен»[4].

---

[1] Г. Е. Грумм-Гржимайло. Западная Монголия Урянхайский край, т. II, стр. 437.

[2] Там же.

[3] Там же, стр. 458.

[4] А. Г. Грумм-Гржимайло. Дела и дни Г. Е. Грумм-Гржимайло. Изд. Моск. об-ва испытателей природы. М., 1947, стр. 65.

Основным вопросом, по которому резко различались взгляды В. В. Бартольда и Г. Е. Грумм-Гржимайло, был, конечно, вопрос об «аристократическом» характере монгольского государства Чингис-хана. В. В. Бартольд прекрасно видел всю фантастичность и нелепость идеализации Чингис-хана и попыток Г. Е. Грумм-Гржимайло доказать, будто монгольское государство XIII в. было создано в интересах народа. С другой стороны, В. В. Бартольд прекрасно видел, что работа автора основана на прочитанных им книгах и статьях, а не на первоисточниках, что и отражено в его письме.

Иначе отнеслись к труду Г. Е. Грумм-Гржимайло монголисты В. Л. Котвич и С. А. Козин. Сын Г. Е. Грумм-Гржимайло в упомянутой выше книге об отце приводит его переписку с некоторыми учеными, а также письма их друг к другу в связи с тем впечатлением, которое произвела книга «Западная Монголия и Урянхайский край». В качестве апологета книги выступает профессор Виленского университета В. Л. Котвич. В письме от 20 февраля 1927 г. к Г. Е. Грумм-Гржимайло он, между прочим, пишет следующие характерные строки: «Наткнулся в Вашей книге на одно место, где Вы опровергаете мнение Бартольда об условиях образования монгольского государства: давно уже пора было покончить с этим мнением, к которому, к сожалению, примкнул и Б. Я. Владимирцов. Хотел было, даже я в рецензии на книжку последнего затронуть этот вопрос, но «Восток», для которого я писал, прикрылся, и я взял свою статью обратно. Вы сделали это гораздо лучше меня...»[1]

В. Л. Котвич, как и Г. Е. Грумм-Гржимайло, был ярым противником концепции В. В. Бартольда об «аристократическом происхождении» монгольского государства, во главе которого стоял Чингис-хан. Если судить по опубликованной впоследствии работе акад. С. А. Козина «Сокровенное сказание — Монгольская хроника 1240 г., т. I» и другим его работам, последний также стоял на точке зрения Г. Е. Грумм-Гржимайло и В. Л. Котвича.

Переходя к оценке работы Г. Е. Грумм-Гржимайло, «Западная Монголия и Урянхайский край», т. II, можно только пожалеть, что такой крупный ученый, путешественник и географ, заслуги которого в этой области неоспоримы, потратил огромное количество времени и сил на чтение и изучение колоссального количества книг и статей по истории, археологии, этнографии и антропологии Восточной Азии, чтобы извлеченные оттуда факты поставить на службу лженаучной и вредной

[1] А. Г. Грумм-Гржимайло. Ук. соч., стр. 66.

концепции о «благодетельной» роли Чингис-хана и его завоевательных походов в истории монгольского народа и других народов Азии.

Крупным событием в историографии монголов была книга Б. Я. Владимирцова — «Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм», выпущенная в 1934 г., в издании АН СССР, через четыре года после смерти В. В. Бартольда и почти через два года после смерти самого автора. Книга эта написана как раз по тому вопросу, который менее всего был разработан всей предшествующей историографией как у нас, так и за рубежом.

Как выше указывалось, книга Б. Я. Владимирцова была новым и значительным шагом вперед. Б. Я. Владимирцов официально считался филологом и лингвистом, и в этой области, несмотря на довольно короткую жизнь (он умер на 48 году жизни), оставил немало весьма ценных исследовательских работ. У филолога и лингвиста оказался незаурядный талант историка, несомненное дарование в области исторического мышления. Однако первые его исторические опыты нельзя было признать удачными. Вышедшая в Петрограде в 1919 г. брошюра «Буддизм в Тибете и Монголии» представляет собой типичное идеалистическое истолкование этой религии. В 1922 г., в издании Гржебина, Б. Я. Владимирцов выпустил книгу под заглавием «Чингиз-хан». Книга эта в Западной Европе имела большой успех. В 1926 г. она была переведена на французский язык[1], а в 1930 г.— на английский язык[2]. «Чингиз-хан» несомненно талантливая работа, написанная ярким, образным и вместе с тем простым языком. Доступная форма в ней сочетается с прекрасным знанием источников и оригинальностью исследовательской мысли. Однако в научном отношении она не оказалась прогрессивным исследованием.

На эту книгу В. В. Бартольд написал рецензию[3], в которой даже признал, что она «представляет шаг вперед по сравнению с прежними работами», однако этот шаг вперед относится лишь к области фактического материала, а не истолкования. Что же касается последнего, то, по мнению В. В. Бартольда, книга «Чингиз-хан» отличается чертами идеализации, так как образ самого Чингис-хана мало соответствует исторической действительности и мало отражает ту среду, из которой он вышел,

---

[1] Les grandes figures de l'Orient. Paris, 1926.

[2] The life of Chingis-Khan by B. Vladimirtsov, London, 1930.

[3] См. рец. В. В. Бартольда в журн. «Восток», т. V, 1925, стр. 251—256.

и в которой сформировалось его мировоззрение и все принципы его поведения как главы монгольского государства. Книга Бориса Яковлевича Владимирцова «Чингиз-хан» в СССР не была переиздана, да и сам автор, который считал ее удавшейся в литературном отношении, через несколько лет настолько отошел от всей концепции, которая положена была в ее основу, что и не ставил вопроса об ее переиздании. Он прекрасно понимал, что она нуждается в коренной переработке; к сожалению, осуществить ее он не успел. Через одиннадцать лет после выхода «Чингиз-хана» Б. Я. Владимирцов выпустил новую книгу по истории Монголии и монголов «Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм»[1]. Уже само заглавие говорит о том, что мы имеем здесь дело с новым этапом в развитии исторического мышления автора. Действительно, за указанный срок Б. Я. Владимирцов испытал на себе большое влияние марксизма, что сказалось в сильной мере на его новой работе. Ведь в 1922 г., когда написан был «Чингиз-хан», Б. Я. Владимирцов еще целиком был во власти идеалистической философии, многое в истории объяснял действиями «сильных личностей», что особенно проявилось в его историческом истолковании Чингис-хана.

Правда, как мы увидим ниже, книга «Общественный строй монголов» не может быть в полной мере названа марксистской, однако в специально востоковедческой литературе она явилась в этом смысле первенцем, к тому же удачным.

Книга написана первоклассным специалистом, что чувствуется на каждой странице. Б. Я. Владимирцов прекрасно знал монгольские первоисточники и сумел их использовать не только как историк в узком смысле слова, но как филолог и лингвист, что делает его переводы монгольских текстов особенно ценными и достоверными. Сравнительно долгое время, проведенное им в Монголии в качестве «полевого исследователя»[2] этнографии и языка, дало ему возможность многое уяснить в источниках из того, что трудно было понять, работая только в кабинетных условиях.

Книга «Общественный строй монголов» Б. Я. Владимирцова широко известна в нашей стране. Она сразу же получила

---

[1] Б. Я. Владимирцов. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Изд. АН СССР, М., 1934.

[2] Б. Я. Владимирцов был в Монголии два раза до Великой Октябрьской революции и два раза после нее. Второй раз он отправился в Монголию в 1913 г. и провел там два с половиной года. Особенно ценным в научном отношении было его пребывание в районе Кентейских гор и реки Керулена.

признание в научной литературе и имела несколько весьма положительных рецензий, в том числе и пишущего эти строки[1]. В своей книге Б. Я. Владимирцов дал ответ на вопросы, которые менее всего были разработаны в историографии Монголии, что и было указано выше при рассмотрении работ В. В. Бартольда. Вне марксистского истолкования фактов научный ответ на вопросы истории общественного строя монголов дан быть не мог. Эту смелую попытку и взял на себя Б. Я. Владимирцов.

По обилию фактов, документации, и количеству поставленных вопросов, по широте охвата разнообразных сторон общественной жизни монголов XII—XVII вв., наконец, по умению связать все стороны жизни в единое развивающееся целое, книга эта стала настольной для всех, кто занимается историей кочевых обществ в эпоху феодализма. Ввиду известности работы нет необходимости, хотя бы в самых кратких чертах, останавливаться на ее содержании. Нам надлежит лишь отметить, чем книга Б. Я. Владимирцова продвинула вперед историографию монголов и в чем ее недочеты.

Как указывалось выше, книга охватывает огромный период от XII до XVIII в.; таким образом, нас касается только первая глава (первые 121 стр.), чуть больше половины книги. Главная ценность труда заключается в том, что автор впервые поставил во всей полноте вопрос о характере общественных отношений монгольского общества с точки зрения марксистского понимания истории, хотя он сам нигде об этом прямо не говорит. Монгольское общество XII—XIII вв., когда складывалось монгольское государство, он рассматривает как феодальное — в его кочевом варианте. Б. Я. Владимирцов по существу был первым, кто не только квалифицировал общество времени Чингис-хана как феодальное, но на основе огромного фактического материала постарался это доказать. Его безусловной заслугой является то, что он сумел показать — насколько монгольские племена на грани XII—XIII вв. отличались друг от друга по уровню своего общественного развития. В то время как одни из них уже жили развитыми феодальными отношениями, другие только вступили на путь феодализации, а третьи находились еще в стадии разложения первобытнообщинных отношений (по терминологии Б. Я. Владимирцова «родового общества») в качестве лесных охотничьих племен.

---

[1] А. Ю. Якубовский. Книга Б. Я. Владимирцова «Общественный строй монголов» и перспективы дальнейшего изучения Золотой Орды. «Исторический сборник», т. V, изд. АН СССР, 1936, стр. 293—313.

Заслугой Б. Я. Владимирцова является также и то, что он первый показал, каким путем господствующий класс, т. е. кочевые феодалы — монгольское нойонство — устанавливало на базе сосредоточения в их руках большого количества скота феодальную зависимость массы рядовых кочевников-скотоводов. Монгольские нойоны закрепляли феодальные формы эксплуатации путем насилия, главным образом, через своих нукеров, военных слуг, к которым, до известной степени, возможно применить термин «дружинник».

Согласно описанию Б. Я. Владимирцова, монгольское феодальное общество достигло уже в XIII в. своего почти полного развития; наиболее ярким выражением чего явились вассально-сеньоральные отношения. Все эти положения развернуты автором в большие главы, насыщенные богатым фактическим материалом, извлеченным из тех же первоисточников, которыми пользовались его предшественники. Но, кропотливый в собирании нужных фактов, он в ряде случаев сумел даже после В. В. Бартольда найти в хорошо известных последнему источниках ценный материал, мимо которого тот прошел, не использовав его.

В книге Б. Я. Владимирцова было столько достоинств, что в первое время как-то не бросались в глаза некоторые недочеты. Пишущий эти строки, так же, как и другие, прошел мимо них. Повидимому, должно было пройти некоторое время, чтобы можно было осознать ее слабые места. Только специально занявшись по первоисточникам теми же вопросами, что разработаны в книге, оказалось возможным вскрыть ошибки автора. Обнаружилось, что Б. Я. Владимирцов, несмотря на прекрасное знание обширного фактического материала: 1) завысил уровень общественного развития монголов, 2) придал монгольскому феодализму законченные «классические» формы, хорошо знакомые по французскому феодализму XIII—XIV вв.

Согласно Б. Я. Владимирцову, монгольское общество в лице передовых своих племен (найманы, кереиты, часть татар и другие) уже в конце XII в. переживало полную победу феодальных отношений; и даже более отсталые племена подтягивались под этот уровень. Таким образом, согласно толкованию автора, Чингис-хан, выступая на политическую арену, действовал уже в феодальном обществе.

Тщательное изучение фактов и более осторожное и углубленное применение марксистского метода исследования приводит нас к другому выводу. В XII в. монгольское общество переживало последние дни разложения первобытно-общинного строя; первой формой эксплуатации было рабство, причем

рабский труд применялся не только в домашнем хозяйстве, но и в пастьбе скота. На базе частной собственности на скот и рабов сложился первый монгольский господствующий класс — **нойонство**. Однако рабство в Монголии в XII в. не составляло господствующего способа производства. Основная масса кочевников-скотоводов оставалась свободной. Мимо всего этого и прошел в своем исследовании Б. Я. Владимирцов. Этой роли рабства он не заметил и постоянно его квалифицировал только как «рабство домашнее». Дальнейшее развитие общественных отношений уже пошло не по линии усиления рабовладельческих отношений, а по линии установления феодальных форм эксплуатации и закрепощения массы кочевников, первые признаки чего имелись уже в XII в.

Таким образом, Б. Я. Владимирцов усматривал сложившиеся феодальные отношения там, где еще имелись только их первые признаки.

Установление феодальных форм эксплуатации в пользу нойонства осуществлялось путем насилия с помощью нукеров, которые вначале были как бы товарищами в набегах, а потом превращались в дружинников, военных слуг, нойонов.

Как выше уже указывалось, большая заслуга Б. Я. Владимирцова в том, что он это убедительно доказал в своей книге «Общественный строй монголов». Некоторую роль в процессе установления крепостничества сыграли и унаган-боголы, однако, лишь при условии, когда удавалось племя, ставшее унаган-боголом, как таковое, разбить и отдельных членов его превратить в рабов или феодально-зависимых людей.

Унаган-боголам Б. Я. Владимирцов посвятил немалое количество страниц[1]. Пишущий эти строки в своей рецензии на книгу «Общественный строй монголов» отмечал, что автор неудачно перевел этот термин как «крепостной вассал»[2]. Самое сочетание этих слов «крепостной» и «вассал» неестественно. Неправ был Б. Я. Владимирцов и по существу, утверждая, будто в установлении феодальных отношений огромную роль играл институт унаган-боголов, понимая под ним те многочисленные случаи, когда целое племя под влиянием завоевания становилось на положение феодально зависимого. Согласно Б. Я. Владимирцову, верхняя часть племени, ставшего унаган-боголами, несла по отношению к племени-сеньору «благородную», «чистую» службу, а нижняя часть унаган-богольского племени, т. е. его простой народ, нес грязную или черную

---

[1] Б. Я. Владимирцов. Общественный строй монголов, стр. 59—70.

[2] Там же, стр. 65.

службу. Нам представляется, что факты не подтверждают эти положения Б. Я. Владимирцова и лишь дают возможность утверждать, что подчинение путем завоевания одного племени другим приводило к такой зависимости, которую отнюдь нельзя было квалифицировать как феодальную, так как в этой зависимости не было того, что можно назвать феодальной формой эксплуатации и, прежде всего, крепостничества[1]. Другое дело, когда зависимое, состоящее унаган-боголами племя, разбивалось, теряло свою племенную организацию, тогда одни могли становиться рабами, другие — феодально-зависимыми людьми, третьи — нукерами и т. д.

В процессе сложения монгольского государства в начале XIII в. формы феодальной эксплуатации усилились, однако и к началу завоевательных грабительских походов Чингисхана кочевники в массе еще не были закрепощены. Процесс закрепощения происходил особенно быстро в первой половине XIII в., в обстановке завоеваний и сложения монгольской империи, окончательно победил феодальный способ производства, что ясно видно на материале ясы и других письменных источников (например, Плано Карпини, В. Рубрук и другие). Всего этого процесса, происходившего во второй половине XII и начале XIII в., Б. Я. Владимирцов не отметил, что вполне понятно, так как он считал, что уже в конце XII в. феодализм в Монголии был господствующей системой общественных отношений.

Б. Я. Владимирцов рисовал феодализм в Монголии, приписывая ему классические формы со сложной системой вассально-сеньоральных отношений, как будто бы это были не полудикие кочевники — скотоводы и охотники, а французское раннесредневековое общество XIII—XIV вв. Кочевники, даже в XX в., в окружении или соседстве капиталистического общества, имели не феодальные, в строгом смысле слова, а полупатриархальные-полуфеодальные отношения, которые отличаются косностью. Что же сказать о кочевом обществе XI—XIII вв., в частности, о монголах. Можно выразить глубокое сомнение в возможности в таком обществе увидеть зрелые феодальные отношения. Тем более, что по существу феодальные отношения в кочевом обществе развиваются в рамках неизжитых сохранившихся патриархальных обычаев, являющихся тормозом для полного раскрытия феодализма. В формуле «полупатриар-

[1] Там же, стр. 64—65. Здесь Б. Я. Владимирцов перечисляет обязанности унаган-боголов, совокупность которых не дает права считать их феодальными. Они могли быть и при других общественных отношениях, например, в условиях складывающегося рабовладельческого общества.

хальные-полуфеодальные отношения» кочевников «полупатриархальные» отношения и есть то, что мешает полуфеодальным отношениям стать феодальными.

Возвращаясь к вопросу о феодализме в Монголии в XIII в. при Чингис-хане и его преемниках, мы должны помнить, что даже когда мы говорим о победе феодализма, мы все же имеем в виду отношения «полупатриархальные-полуфеодальные».

Несомненно прав Б. Я. Владимирцов, утверждая, что монгольское государство во главе с Чингис-ханом сложилось в интересах господствующего класса нойонства, силой нойонства и его нукеров. В этом вопросе он продолжал и углубил тезис В. В. Бартольда, выдвинутый последним, как мы видели выше, еще в 1896 г. (в его пробной лекции на Восточном факультете Петербургского университета). Однако нойонство в конце XII и в начале XIII в. должно рассматриваться как класс еще только «складывающихся» феодалов, так как и само монгольское общество того времени также следует рассматривать как дофеодальное, чего, как уже указывалось выше, не заметил Б. Я. Владимирцов.

В обстановке монгольской империи, на территории завоеванных стран, монгольские феодалы перестали в огромном своем большинстве быть кочевниками в чистом виде, так как становились крупными землевладельцами, не переставая в то же время вести кочевнический образ жизни. Монгольская феодальная знать (нойонство) складывается на завоеванных территориях как полуоседлая, полукочевая знать, при неизжитых к тому же полупатриархальных отношениях.

Остановившись на основных моментах изучения монгольского общества русскими и советскими учеными, небезинтересно сравнить, что же мы имеем в западноевропейской литературе по вопросам истории «монгольской империи». Работы зарубежных историков по истории Монголии и монголов после трудов д'Оссона и Катрмера, вышедших во Франции еще в первой половине XIX в., остаются значительно позади русских исследований, как в области истолкования этой истории, так и в смысле использования фактического материала. Крупным филологом-комментатором является только Пелльо — китаист и монголист, писавший в первой половине XX в. Его заметки и статьи по разным частным вопросам преимущественно филологического характера несомненно представляют ценность. Как историк он не представляет интереса, да у него и нет обобщающих исторических работ, имеющих прямое отношение к нашей теме. Пелльо является реакционной фигурой, что нашло отражение в его политической позиции.

В 20-х, 30-х и 40-х годах XX в. за рубежом появилось немало работ, посвященных времени Чингис-хана и Монгольской империи. В подавляющем своем большинстве они вышли из-под пера не специалистов, а реакционных полужурналистов-полуисториков, и исполнены преклонением перед «гением» Чингис-хана и «благодетельной» ролью монгольских завоеваний. О них можно сказать словами Б. Я. Владимирцова по адресу книги Л. Лэмба[1]: «Это безнадежно слабая книга»[2]. Собственно говоря, в XX в. за рубежом вышла только одна серьезная, хотя бы в смысле привлечения фактического материала, историческая работа о времени Чингис-хана. Это исследование буржуазного французского ученого Ренэ Груссэ[3].

До выхода в свет настоящего труда, Груссэ был уже известен в историографии Восточной Азии своей работой «История Дальнего Востока»[4].

В книге «Монгольская империя» Груссэ указывает использованные им источники: 1) Рашид-ад-дин в переводе И. Березина[5]. 2) Юань-ши в частичном переводе на немецкий язык Ф. Краузе[6], 3) «Сокровенное сказание», русский перевод Палладия Кафарова[7].

Груссэ привлекает в своем исследовании также большое количество литературы, в том числе и русской, которую он высоко расценивает. Однако он привлекает далеко не все русские работы, хотя они, надо полагать, были ему известны и доступны.

Несмотря на то, что труд Рашид-ад-дина не использован им непосредственно в его персидском подлиннике, все же количество фактов, привлеченных из него в исследовании, достаточно велико. Книга Груссэ, как и большинство французских работ, имеет несомненные литературные достоинства и читается, несмотря на перегрузку фактическим материалом, с большим интересом. Ценность работы также в том, что автором использованы и исследования по истории Китая. Однако,

---

[1] Chenghis-Khan. The emperor of all men. Лондон, 1928.

[2] См. Б. Я. Владимирцов. Общественный строй монголов, стр. 12—13, прим. 7.

[3] L'Empire Mongol. (1-re phase) в серии: Histoire du monde publiée sous la direction de M. E. Cavaignac. Paris, 1941.

[4] L'Histoire de l'Extrême Orient.

[5] См. переводы Рашид-ад-дина, сделанные на русском языке И. Березиным в изд. ТВО.

[6] F. Krause. Cingis-Han. Geschichte seines Lebens nach den chinesischen Reichsannalen. Heidelberg, 1922.

[7] См. «Труды членов Российской Духовной Миссии в Пекине», т. IV, СПб., 1866, с привлечением частичных переводов этого источника, сделанных Пелльо и Хейнишем.

по сравнению с предшествующими исследованиями, оставленными д'Оссоном, И. Бичуриным, В. П. Васильевым, В. В. Бартольдом и Б. Я. Владимирцовым, новых фактов в работе мало. И не в фактическом материале лежит главный интерес исследований. Книга Груссэ интересует нас своей концепцией истории монголов в XII—XIII вв. Пятая глава книги посвящена целиком этому вопросу, она представляет собой как бы «философию истории» кочевых народов, вышедших из Монголии и Алтая.

Прежде всего, в работе Груссэ поражает отсутствие интереса автора к социально-экономическим вопросам. Хотя он иногда и ссылается на книгу Б. Я. Владимирцова «Общественный строй монголов», однако нигде не видно, чтобы книга эта задела его постановкой социальных вопросов и их решением. Действующими силами монгольской истории остаются у него всегда — личности, роды, племена и складывающиеся из них кочевые народы. Собственно говоря, ему чужд историзм в строгом смысле слова, так как в отношении населявших Монголию племен он придерживался тех же взглядов, что Дегинь, д'Оссон, И. Бичурин, т. е. авторы второй половины XVIII в. и первой половины XIX в., считая, так же как и они, что сменялись только названия племен да политические события: приходили одни племена, уходили другие, или один союз племен терял господство и становился в зависимость от другого союза. Изменения происходили как бы на поверхности политической жизни, не внося никаких перемен в их внутреннюю, т. е. социальную жизнь. Читатель ничего не узнает ни о хозяйстве монгольских племен, ни о классах внутри монгольского общества, ни о классовом характере происхождения монгольского государства во главе с Чингис-ханом. В этом отношении книга Груссэ представляет шаг назад по сравнению с работами В. В. Бартольда конца XIX — начала XX в., не говоря уже о работе Б. Я. Владимирцова «Общественный строй монголов».

В чем же его концепция монгольской истории XII—XIII вв.? Согласно Груссэ, кочевники Алтая и Монголии образуют свой собственный мир, отличный от оседлого, земледельческого мира Китая, Средней Азии и Ирана. У кочевников одни законы развития, у земледельцев — другие. Однако читатель менее всего может ожидать, что эти законы носят характер общественных законов, самостоятельно существующих наряду с другими законами, скажем, биологическими. Законы эти менее всего затрагивают внутренние изменения в жизни самих кочевников и касаются, главным образом, отношений кочев-

ников к оседлым земледельческим народам. В этом отношении чрезвычайно характерно наименование одного из важных разделов книги «La loi des invasions mongoles: rythme climatique ou fait politique?»

В этом разделе Груссэ приходит к выводу, будто тюрко-монгольские нашествия на Китай были периодичными и связаны с периодичностью засух на землях Монголии. Закономерность эта, по его мнению, действительно имела место, однако нашествия действенными оказались только в тех случаях, когда в самом Китае центральная власть (или что тоже самое — царствующая императорская фамилия) переживала упадок и не могла уже организовать активной обороны против кочевников. Груссэ утверждает, что эта закономерность является подлинным законом китайско-монгольских отношений. «Если проследить тщательно китайские хроники,— пишет Груссэ,— тюрко-монгольские набеги являются их лейтмотивом и, за исключением апогея царствования Ханьской и Танской династий, повторяются почти каждые десять лет. До тех пор пока династия является сильной, набеги остаются набегами, укусами насекомого на теле огромной империи. Если организм болен, это — смерть».

На первый взгляд картина, нарисованная автором может показаться убедительной, а объяснения правильными. Однако это только на первый взгляд. Что же собой по существу представляет «закон тюрко-монгольско-китайских отношений», или несколько шире — закон об отношениях кочевников и оседлых земледельческих областей. Закон этот выведен на базе чисто климатических условий, на базе географического фактора. Появляется засуха, степь выгорает и не может прокормить ни скота, ни кочевников, отсюда один выход — набеги на богатые оседлые области. Однако набег успешен только в том случае, когда он совпадает с ослаблением центральной власти в оседлой культурной области. «Закон» Груссэ (будем дальше для краткости его так называть) — является явно антиисторическим, так как он игнорирует внутреннюю жизнь кочевого общества, т. е. те изменения, которые происходят в его развитии. «Закон» Груссэ в ухудшенном издании повторяет то, о чем писал еще в 70-х годах В. В. Григорьев, в своей статье «Об отношениях между кочевыми народами и оседлыми государствами»[1]. Мы говорим «ухудшенном издании» потому, что В. В. Григорьев свою «теорию толчков», опирающуюся

---

[1] ЖМНП, 1875, № 3, стр. 1—27.

в конечном итоге на недород трав в степи, все же дополнял и наличностью стремления у кочевников к добыче.

Если бы Груссэ был знаком с работами советских историков, затрагивающих аналогичные вопросы, он не мог бы не заметить, что настоящего научного ответа нельзя дать вне анализа внутренней жизни кочевого общества, вне классового анализа его общественных отношений. В степи всегда шла борьба из-за пастбищ между племенами. К. Маркс даже сказал, что у пастушеских племен «*война* — это один из самых первобытных видов труда»[1]. Военные столкновения в степи между племенами выработали взгляд на добычу в виде скота и рабов, действительно, как на своеобразный добавочный род хозяйствования. Характерно, что, когда, как это имело место у монголов в XII в., кочевники на базе частной собственности на скот и рабов создавали первое классовое общество, то его господствующий класс особо поощрял набеги за добычей, в которых видел для себя, наряду с так называемыми облавными охотами, один из важных источников дохода. Воспитанная с детства в степи привычка к набегам и добыче создала в кочевнике, преимущественно в среде господствующего класса племени, взгляд на грабительский набег, как на дело, участвовать в котором считалось «честью». На почве таких грабительских набегов складывались даже временные союзы племен.

Господствующему классу кочевого общества, конечно, еще легче было поднять массы скотоводов-кочевников в грабительский поход на оседлые области, когда в степи жить становилось трудно из-за засушливого лета, однако походы и набеги связывать только с засухой и голодом в степи исторически неверно. Историки не находили в источниках подтверждающих фактов.

Таким образом, «закон» Груссэ — есть простая фантазия. Груссэ не мог, конечно, не поставить перед собой вопроса о той роли, которую монголы сыграли своими завоеваниями в истории человечества XIII в., особенно в Азии. И здесь он ставит вопрос несколько шире, стремится перенести его с монголов на завоевания кочевников вообще. Хорошо знакомый с источниками и фактическим положением дела в покоренных странах, Груссэ не позволяет себе той ничем не оправданной идеализации этих завоевательных походов, которую мы видели выше например, в работе Г. Е. Грумм-Гржимайло. Напротив того он указывает на вред, который приносили с собой кочевники-завоеватели, начиная со времен гуннов и кончая монголами.

[1] К. Маркс. Формы, предшествующие капиталистическому производству. Политиздат при ЦК ВКП(б). [М.], 1940. стр. 24.

Вместе с тем, Груссэ стремится найти и положительные черты в факте монгольского завоевания. Он видит их в открытии трансконтинентальных путей, связавших Китай с Персией, христианский мир — с Дальним Востоком, во взаимном влиянии в китайской и персидской живописи и т. п.

Идеализация монгольского времени в пышных фразах Груссэ очевидна. Концепция Груссэ о монгольском обществе времени Чингис-хана и монгольской империи бедна исторической мыслью и отстала от работы В. В. Бартольда конца XIX в., не говоря о книге Б. Я. Владимирцова, вышедшей в 1934 г.

Огромное значение для понимания закономерностей развития кочевого общества имеют работы И. В. Сталина. Его учение о нациях капиталистических и социалистических, его высказывания о характере общественных отношений в Азербайджане, Крыму, Туркестане, Дагестане, у горцев Кавказа, башкир, татар и других народов и племен в начале XX в., наконец, самая трактовка понятий «род», «племя», «народность», данная И. В. Сталиным в его работе «Марксизм и вопросы языкознания», помогают нам разобраться в закономерностях развития кочевого общества, в частности монгольского.

Как известно, сталинское определение нации совершенно исключает два признака, которые обыкновенно приводятся буржуазной наукой, а именно: расовый признак и государственный признак. Нация, согласно определению И. В. Сталина, есть историческое образование и представляет собой общность людей, объединенных следующими четырьмя признаками: 1) общность языка, 2) общность территории, 3) общность экономической жизни, 4) общность психического склада, проявляющегося в общности специфических особенностей национальной культуры. Эти четыре признака вместе встречаются только в определенную историческую эпоху — при капитализме[1].

В работе «Национальный вопрос и ленинизм» И. В. Сталин говорит: «не было и не могло быть наций в период докапиталистический, так как не было еще национальных рынков, не было ни экономических, ни культурных национальных центров, не было, стало быть, тех факторов, которые ликвидируют хозяйственную раздроблённость данного народа и стягивают разобщённые доселе части этого народа в одно национальное целое»[2]. И далее И. В. Сталин указывает:

«Конечно, элементы нации — язык, территория, культурная общность и т. д.—не с неба упали, а создавались исподволь,

[1] См. И. В. Сталин. Соч., т. 11, стр. 333.
[2] И. В. Сталин. Соч., т. 11, стр. 336.

еще в период докапиталистический. Но эти элементы находились в зачаточном состоянии и в лучшем случае представляли лишь потенцию в смысле возможности образования нации в будущем при известных благоприятных условиях. Потенция превратилась в действительность лишь в период подымающегося капитализма с его национальным рынком, с его экономическими и культурными центрами»[1].

Только опираясь на это сталинское определение нации можно определить понятие «народности», с которым нам — историкам — и приходится иметь дело, коль скоро мы касаемся вопросов истории народов в докапиталистическую эпоху. «Народность» это также общность людей докапиталистической эпохи, причем общность, которая возникает в классовом обществе. В эпоху первобытно-общинного строя можно говорить о роде и племени, но нельзя еще говорить о «народности». «Народность» складывается только в классовом обществе: рабовладельческом или феодальном. В том случае, когда данное конкретное общество проходит эпоху господства рабовладельческих отношений, народность или народности складываются в обстановке рабовладельческого общества. В случае, если данное конкретное общество, минуя эпоху господства рабовладельческих отношений[2], переходит после разложения первобытно-общинного строя к феодализму, то «народность», как определенная общность людей, складывается уже в период феодальных отношений, еще до победы феодализма , т. е. до крепостничества.

Каковы же признаки «народности»? И. В. Сталин указывает, что «элементы нации—язык, территория, культурная общность и т. д.—не с неба упали, а создавались исподволь...»[3] Конечно, когда складывается «народность», не может итти речь об общности экономической жизни, во всяком случае, в той мере, в какой она проявляется только при капитализме, хотя и можно говорить в какой-то мере об элементах экономической общности. Что же касается «территории», то, если и не в такой полной мере, как при капитализме, то все же и при феодализме этот признак в известной мере налицо у «народности». В какой-то мере можно говорить и об общности языка, так как народность с момента ее сложения имеет определенную тенденцию к преодолению племенных языков, принадлежащих по

[1] И. В. Сталин. Соч., т. 11, стр. 336.

[2] Здесь речь идет о господстве рабовладельческих отношений, а не просто о рабовладельческих отношениях, так как всякое классовое общество слагается на базе разделения общества на рабовладельцев и рабов.

[3] И. В. Сталин. Соч., т. 11, стр. 336.

большей части к одной языковой семье, и созданию народного, понятного всем, языка.

Так же обстоит дело и с признаком «общности психического склада или культуры». В процессе своего сложения «народность» вырабатывает и это единство, однако здесь имеются локальные особенности еще в большей мере, чем в языке. Ни в одном из трех указанных признаков «общность» у народности не реализуется полностью, вследствие чего в целом эти три признака не выходят за пределы элементов нации.

Кочевое хозяйство, кочевники, ведущие скотоводческое хозяйство, не могли сами по себе, без перехода на оседлое состояние или без воздействия со стороны капиталистического общества, породить капитализм[1], более того, они не могли даже породить настоящего развитого феодализма, а свое развитие, пока оставались кочевниками-скотоводами, не могли повести дальше полупатриархальных-полуфеодальных отношений. В условиях классового общества, в обстановке полупатриархальных-полуфеодальных отношений и складывается народность кочевников, в частности, монголов. Дальнейшее развитие общественных отношений кочевников-скотоводов происходит лишь при переходе значительной части кочевников на оседлый труд. Все отмеченные выше положения вытекают как следствие из указаний И. В. Сталина, данных в его трудах по вопросам языкознания, а также из его высказываний о кочевом обществе в работах по национальному вопросу. В этом отношении особенно важен упомянутый выше тезис И. В. Сталина о формах полупатриархальных-полуфеодальных отношений у кочевников[2].

Если И. В. Сталин с глубоким пониманием самого существа дела определяет характер общественных отношений у перечисленных народов, не прошедших капитализма и в большинстве своем еще ведущих скотоводческое хозяйство, как отношения полупатриархальные-полуфеодальные даже в начале XX в., то что же можно сказать о монголах XIII—XIV вв.?

Указания И. В. Сталина заставляют нас полностью пересмотреть привычные многим историкам взгляды на монгольское общество XIII—XIV вв. как на вполне развившееся феодальное общество. С этой точки зрения и подлежит пересмотру, прежде всего, концепция Б. Я. Владимирцова о «кочевом феодализме» монголов, что мы и попытались сделать в нашей статье.

---

[1] Под влиянием соседства с оседлыми обществами кочевники, пока они остаются кочевниками-скотоводами, могли лишь получить элементы капитализма.

[2] См. И. В. Сталин. Соч., т. 5, стр. 25 и 47.

Е. И. ГНЕВУШЕВА

ПУТЕШЕСТВИЯ П. И. ПАШИНО ПО ПЕРСИИ И ИНДИИ

Петр Иванович Пашино родился в 1836 г. в г. Ирбите. Он рано лишился родителей: когда ему было два года, умер его отец — певчий придворной капеллы, а в девятилетнем возрасте он лишился и матери. Детство и юность П. И. Пашино прошли на Урале в Ирбите, Соликамске, Чердыни, Перми, а затем в Казани. В Казанской гимназии он учился на казенный счет. Уже будучи гимназистом, Пашино обратил на себя внимание выдающимися способностями к восточным языкам. В 1851 г. в «Казанских губернских ведомостях» появился его первый перевод «Татарских сказаний»[1]. После окончания гимназии он был принят на арабско-турецко-татарское отделение Историко-филологического факультета Казанского университета. Однако окончить этот университет Пашино не удалось — восточное отделение, где он учился, закрылось, и ему пришлось ехать в Петербург, чтобы завершить свое образование уже на Восточном факультете Петербургского университета. Только год проучился он в Петербургском университете (1855—1856), но этот год имел огромное значение в формировании взглядов П. И. Пашино.

В Петербургском университете Пашино включился в кружок кавказских студентов и сблизился с демократическими кругами; к этому времени относится и его знакомство с Добролюбовым.

По окончании университета Пашино был отправлен «для ученых изысканий» в Казанскую губернию, где он проявил интерес к археологии, занимаясь раскопками в Булгарах на Волге. Отчет Пашино об этой командировке был принят, и его

---

[1] «Татарские сказания». Перевод П. И. Пашино. «Казанские губернские ведомости», 5.III 1851 г.

оставили при университете для прохождения магистерского курса.

Результатом личных наблюдений и впечатлений во время командировки явились этнографические очерки Пашино «Волжские татары», напечатанные под прозрачным псевдонимом в «Современнике»[1]. Закончив магистерский курс, Пашино в 1857 г. был направлен на службу в Азиатский департамент министерства иностранных дел. Грошовое жалование заставило Пашино искать себе дополнительного заработка в литературном труде. Но литературный заработок был незначителен, и на некоторое время мы застаем Пашино преподавателем в Лесном Институте. Сам он с удовольствием вспоминает о своей педагогической деятельности, но есть указания на то, что институтское начальство относилось к Пашино недружелюбно, как к «допускавшему вольности по отношению к ученикам и за образ его мыслей»[2].

В 1861 г. Пашино был отправлен в Персию вторым секретарем посольства. Через полтора года пребывания в Персии он взял отпуск и отправился в Петербург. Он избрал себе путь через Северную Персию, воспользовавшись этим случаем, чтобы с нею ознакомиться. Прибыв в Петербург, он начал печатать свои очерки о Персии в различных периодических изданиях столицы.

Но в Петербурге, куда так рвался из Персии Пашино и куда он прибыл в 1862 г., он нашел изменившиеся обстоятельства. Ряды его литературных друзей и знакомых значительно поредели. В это время правительственные репрессии обрушились на деятелей революционной демократии.

Через некоторое время Пашино получил было назначение первым секретарем посольства в Персию. Но это назначение вскоре отпало по обстоятельствам, которые положили предел его дипломатической карьере. В Петербурге стали распространяться, как сообщает Пашино, листки «Земля и воля». Получал их и Пашино. Он читал их и давал читать своим друзьям. В результате последовал донос и обыск. Ареста ему удалось избежать, но назначение в Персию было отменено. Он остался прикомандированным к министерству иностранных дел. В это время Пашино сблизился с литературным кружком, куда входили братья Курочкины, Минаев, Можайский и др.

Восточные страны продолжали попрежнему манить Пашино. Случай скоро представился. Во время присоединения к России

---

[1] П. А. Шино. Волжские татары. Журн. «Современник», 1860, т. XXXI, кн. 5, стр. 255—290.

[2] Русский биографический словарь, СПб., 1896—1918, т. 13, стр. 427.

стран Средней Азии потребовалось много людей, знавших восточные языки для работы в качестве переводчиков и т.п. В связи с этим Пашино был отправлен в Ташкент.

Но в Туркестанском крае Пашино пробыл недолго: с отвращением относился он к грубым приемам царских чиновников, не скрывая ни от кого своих взглядов, и вскоре был выслан из Ташкента под конвоем казаков за «неблагонадежность», выразившуюся в том, что он разоблачал перед местным населением злоупотребления и, по его мнению, неправильные действия высшей царской администрации[1].

Результатом краткого пребывания Пашино в Туркестане был его чрезвычайно обстоятельный доклад Русскому географическому обществу — «Записка о производительных силах Туркестанской области», извлечение из которой «О фабричной и торговой деятельности в Туркестанской области» опубликовано в «Известиях Русского Географического Общества», а в 1868 г. Пашино издал для широкой публики книгу «Туркестан в 1866 г. Путевые заметки».

В 1870 г. была сделана вторая попытка использовать Пашино в качестве переводчика при Кауфмане. Но как и в 1866 г., он не мог ужиться с людьми, не желая приспосабливаться к обстоятельствам и нравам царских чиновников. Уже через два месяца Пашино был вынужден покинуть Ташкент, после чего навсегда оставил службу в министерстве иностранных дел.

В дальнейшем Пашино отдает себя продолжению литературной деятельности. В 1872 г. он начал издавать журнал «Азиатский вестник», который, однако, сразу же после выхода первого номера закрыла цензура, усмотревшая в статьях расхождение с официальными установками и опасавшаяся, что журнал может стать проводником «социально-демократического учения»[2].

В 1873—1875 гг. Пашино дважды посетил Индию, пытаясь проникнуть в Туркестан через горные проходы Северной Индии, а затем в 1875—1876 гг. совершил кругосветное путешествие. Продолжая добывать себе средства к жизни работой в различных газетах и журналах, путешественник готовил к печати серию книг «Вокруг света». Однако вышла в свет только первая книга задуманной серии — «По Индии»[3]. Через год после опубликования этой книги, в 1886 г., П. И. Пашино был искалечен во время уличной катастрофы, полностью потерял трудоспособность,

---

[1] ЦГВИА, ф. ВИА, ч. I, № 36—011, стр. 54.
[2] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, ед. хр. № 31.
[3] П. И. Пашино. По Индии. СПб., 1885.

и его, одинокого человека, литературные друзья поместили в петербургскую городскую богадельню, где он и умер в 1891 г.

Вскоре сам Пашино был забыт. Но его работы о Востоке представляют несомненный интерес как своеобразные источники. Они содержат сведения, расширяющие круг наших представлений и знаний по ряду вопросов, относящихся к новой истории Индии и некоторых других стран.

Большой интерес с этой стороны представляют путешествия Пашино по Персии и Индии, материалы о которых печатались им в периодической прессе.

ПАШИНО В ПЕРСИИ

Воспоминания Пашино о Персии не были изданы отдельной книгой. Они рассеяны по страницам столичной прессы; в «С.-Петербургских ведомостях» были напечатаны его очерки «За Эриванью», остальные под названием «Письма о Персии» печатались в газете «Русь» (без подписи), а после того, как прекратилось ее издание, — в «Еженедельных прибавлениях к Русскому Инвалиду». «Письма о Персии» представляют собою тщательно обработанные записи дневников. Эти письма не имеют определенного адресата, в них нет и обращений к читателю, эпистолярная же форма была нужна автору, как наилучшее средство выразить личное отношение к людям и событиям. Автор весьма добросовестен, правдив, не доверяет первым впечатлениям, проверяет себя другими свидетелями, сравнивает свои наблюдения с наблюдениями И. Н. Березина, незадолго до того выпустившего свою книгу «Путешествия по Северной Персии», часто ссылается на Мельгунова[1]. Пашино был знаком также с материалами многих других авторов, писавших о Персии, в частности с трудами Иствика. Но на первое место Пашино ставит сведения, полученные им от персов. «Многое я заимствую из моих бесед с младшим мирзой (писцом) нашего посольства в Тегеране, Абдул-Вегабом, проехавшим все степи до Бухары»[2].

Упоминая о кочевниках Персии, Пашино делает оговорку: «Предупреждаю, впрочем, что сведения мои основаны единственно на рассказах народа, и легко может быть, что они не выдержат строго ученой критики, требующей глубокого

---

[1] Г. В. Мельгунов. О южном береге Каспийского моря. Замечания Г. Мельгунова. СПб., 1863.

[2] П. И. Пашино. Письма о Персии. Газ. «Русь», 1864, № 16.

исторического изучения предмета. Тем не менее, толк народа имеет свою интересную сторону, отвергаемую учеными, но важную в глазах этнографа»[1]. Разнообразные ссылки и свидетельства не заслоняют основного в «Письмах о Персии» — личного суждения от полученных им непосредственно впечатлений. Хотя Пашино детально указывает свой маршрут, но он, очевидно, не ставил своей главной задачей описание пройденных местностей. Мы не найдем в «Письмах о Персии» ни описаний дворцов и мечетей, ни описаний празднеств, в них нет ни слова о шахе или шахском дворе, хотя Пашино как член дипломатической миссии должен был неплохо знать быт и нравы высших кругов Тегерана. Его «Письма о Персии» содержат ряд зарисовок жизни персидского народа, его быта, его идеологии, в них говорится о борьбе народа за улучшение своего положения. Пашино описывает движение и учение бабидов, причем симпатии автора явно на стороне Баба. Все события персидской жизни Пашино старается не только описать, но и осмыслить, что придает его очеркам особую ценность. Автор тщателен в описании персидской специфики — и природы, и быта, но при этом он не увлекается ни дешевой экзотикой, ни анекдотом.

Воспоминания Пашино о Персии могут быть разбиты на две части. В первой части — «За Эриванью»—автор излагает свои первые впечатления о Персии: это путь Пашино в Персию из России через Ереван, Нахичеван до персидской границы и первые шаги уже по персидской земле. Вторая часть — собственно «Письма о Персии» — представляет собой описание обратного пути из Персии в Россию, в котором автор, проживший уже полтора года в Персии, излагает не только то, что видел сам, но и то, что уже знает из различных источников. Поездки в Персию в то время, когда путешествовал Пашино, совершались на лошадях, дороги были не безопасны от нападений кочевников. Отправляясь в Персию, Пашино ехал с курьером, который вез в Тавризское генеральное консульство деньги, точно так же и обратно в Россию он возвращался вместе с курьером русского посольства, который на этот раз вез казенные суммы в Астрабад.

Еще не попав в собственно Персию, а только подъезжая к этой стране, Пашино встретился с представителями ее народа. Навстречу русскому каравану, с которым следовал Пашино, время от времени шли люди, направлявшиеся на заработки в пределы русских владений. Пашино сразу же отметил крайнюю

---

[1] П. И. Пашино. Письма о Персии. Еженедельные приложения к «Русскому Инвалиду», 1864, № 36.

нищету простого народа. «Это все были персиане из Тавриза, Маранда, Ардебиля и даже из Урмии, которые ежегодно совершают подобное путешествие в Эривань, Тифлис, Кутаис и другие закавказские города для заработков[1]. Должно быть не совсем выгодно в Персии положение работников, каменщиков, столяров и проч., когда они маршируют за тысячу верст, чтобы заработать по одному рублю в сутки. Костюм их заключался в одной длинной рубахе, иногда совершенно разорванной, как решето, и в войлочной, наподобие горшка, шапке, которая вплотную обтягивала их полувыбритую голову. За спиной ни котомки, ни пилы, ни топора, — признак недомовитости и крайней нищеты; в руке длинный посох вроде поповской трости»[2]. Обычный путешественник того времени ничего не заметил бы в этих встречных путниках, кроме «живописных лохмотьев». Пашино же умел наблюдать, умел делать выводы. Очень интересным является указание на такое раннее развитие отходных промыслов в Персии.

Из Персии в Россию Пашино возвращался тем же опасным и трудным путем. Снова пришлось ему «плестись по тропинкам, избегая на каждом шагу то зацепиться головой за древесную ветку, то свалиться в обрыв вместе с лошадью, то попасть в когти зверя, то в руки разбойника»[3]. И это не было фразой: Пашино пишет, что, когда путешественники проезжали по мазандеранскому лесу, за отрядом почти до самого Ширгяха следовал тигр. Пришлось испытать и дождь, и град, и итти пешком рядом с лошадью, когда дорога становилась труднопроходимой.

Как уже указывалось, каждое «письмо из Персии» Пашино не представляет собою ни точного и подробного описания мест, которые посетил автор, ни законченного очерка. Для примера разберем его первое письмо. «Я в Фирузку, в горах Эльбурса», — так начинает Пашино письмо, указывая свое местонахождение. Что ему сразу здесь бросилось в глаза — то, что «окрестности Фирузку заселены различными еретиками и людьми недовольными теми распорядками, которые творит у подножья их горных жилищ подслеповатое персидское правительство»[4].

---

[1] Очевидно среди отходников, которых Пашино называет по признаку подданства, а не по национальному, «персианами», на самом деле были не только персы, но, главным образом, азербайджанцы.

[2] П. И. Пашино. За Эриванью. «С.-Петербургские Ведомости», 1864, № 131.

[3] П. И. Пашино. Письма о Персии. Еженедельные приложения к «Русскому Инвалиду», 1864, № 37.

[4] П. И. Пашино. Письма о Персии. Газ. «Русь», 1864, № 16.

Народ, его жизнь, его идеология — вот, что прежде всего интересует Пашино. Здесь же он приводит сведения о курдах. Несколько строк уделяет Деличайскому ущелью, но не для описания красот пути, а потому, что ему вспомнилась тяжелая зима 1860—1861 г., когда выпал глубокий снег и караваны с хлебом, который перевозили обычно на осликах, не смогли перебраться через ущелье, что вызвало голод и бунт женщин в Тегеране. Воспоминание ли об этом голодном бунте заставило Пашино вспомнить в этом письме еще одно выступление недовольных шахскими порядками или какое-нибудь другое обстоятельство, но, упоминая, что конвоировавшие караван солдаты принадлежали к Семнанскому полку, он тут же рассказывает, как месяц тому назад этот полк взбунтовался, не получая уже два года жалования. «Бунт их состоял в том, что они, оставив ружья в казармах, гурьбой прибежали в лагерь шаха, в Султанет-Абад и просили его покровительства против обкрадывающего их нещадно полкового начальства. Шах потребовал к себе 10 депутатов и выслушал от них жалобу, которая заключалась в том, что они уже два года не получали жалования. Шах приказал тотчас же полкового командира с 10 штаб-офицерами лишить права продолжать службу, конфисковать имущество для удовлетворения солдат за два года двойным окладом и перед чистой отставкой примерно отодрать по пятам перед всей гвардией, засим полк распустить в бессрочный отпуск. Военный министр исполнил экзекуцию с обычной жестокостью, так что пальцы летели на воздух, и при этом наказал также солдатских депутатов за то, что они осмелились мимо его обратиться прямо к шаху»[1].

Читателю самому предоставляется судить о политической системе персидского деспотизма, в условиях которого господствовали казнокрадство, произвол властей, беззащитность и бесправие подданных.

Не излагая писем Пашино одного за другим, во избежание повторений, следует отметить лишь те факты и обобщения, которые могут представить интерес для истории Персии.

Прежде всего Пашино интересуется жизнью народных масс. Отмечая, что ему «случалось переехать весь Адербиджан от нашей границы до провинции Зенгянской, потом соседнюю с последней провинцию Казвинскую и прожить около двух лет в самой столице Ирана», путешественник обращает внимание на нищету персидского крестьянина[2]. Он подчеркивает трудолюбие

[1] П. И. Пашино. Письма о Персии. Газ. «Русь», 1864, № 16.

[2] П. И. Пашино. Письма о Персии. Еженедельные приложения к «Русскому Инвалиду», 1864, № 45.

персидского крестьянина и резкое несоответствие природных богатств страны и нищеты трудящихся. «Такая богатая страна,— пишет Пашино,— населена самым бедным народом. Эта дисгармония нищеты поселян с богатством природы, более или менее присущая почти каждой стране, здесь объясняется отчасти еще тем, что все главные способы благоприобретения находятся в руках монополистов. Громадный доход, получаемый шахской казной с прикаспийских провинций, доставляется единственно откупами и пошлинами»[1]. Но не только система откупов разоряет персидское крестьянство. Пашино ясно видит, что вся существовавшая система деспотического управления низводит жизнь крестьянина до самого жалкого уровня. «Жизнь деревенского персианина грязнее гораздо самого бедного нашего мужика, хотя дом персу стоит значительно дешевле»[2].

Жилище перса — это мазанка из глины, не всегда выдерживающая сильный ливень. Не лучше положение трудящихся — жителей городов. «Если я Вам скажу, какова поденная плата в Персии и какова сдельная, то полная возможность человеку здоровому и сильному умереть с голоду окажется весьма естественной. Каменщик в день получает от 8 до 12 жаль (шай.— *Е. Г.*), т. е. от 12 до 18 коп. серебром; за выделку одной тысячи сырых кирпичей платится 45 коп. серебром. Невозможность найти работу и, наконец, самое ничтожное вознаграждение за труд и порождает то бедствие, которое вы видите повсюду в Азии; оно же создало в Персии особую породу людей — пролетариев, готовых на все, не могущих рисковать ничем, потому что и жизнь-то сама тяготит их, она им не дорога»[3].

Конечно, в приведенной цитате терминология Пашино резко расходится с научным определением деклассированных элементов деревни и города Персии. Обездоленных людей, о которых говорит Пашино, мы не можем назвать пролетариями, так как речь идет не об общественной категории капиталистического общества; «пролетарии» Пашино—это, в основном деклассированные элементы города и деревни — люди горького труда и случайного заработка.

По мнению Пашино, они несли в себе угрозу шахскому правительству. По крайней мере, Пашино довольно конкретно представлял себе, как «в один прекрасный день они (персидские «пролетарии».—*Е. Г.*) сами очнутся, вспомнят, что есть в Персии шах и что в его сундуках лежат давно мертвые капиталы,

---

[1] Там же, № 43.
[2] Там же, № 45.
[3] Там же, № 35.

собранные с народа, которые могут оживить их, дать им возможность за долгую голодуху разгуляться и удовлетворить свою широкую натуру, которую не могли подавить столетия голодной страдальческой жизни»[1].

Правительственный грабеж и сама система персидского абсолютизма вызывали волнения населения. Пашино, как уже об этом было указано выше, сообщает о бунте солдат, о голодном бунте женщин в столице Персии — Тегеране; он видел покинутые деревни и хорошо знал, что люди, «недовольные распорядками правительства, бегут в горы». О движении бабидов, потрясшем основы шахской власти, Пашино говорит с сочувствием: «сколько известно, Баб был человек очень умный и основательно образованный по-мусульмански... все имущество свое роздал бедным, из богача стал нищим и своим примером увлек весьма скоро большую толпу последователей»[2]. В самом движении Пашино увидел его антифеодальную направленность, разглядел в нем стремление к равенству и даже к обобществлению имущества, свойственное многим народным движениям эпохи феодализма; так, он подчеркнул общественное владение имуществом у бабидов: «они не признают шахской власти, отказываются платить налоги и повинности, потому что не имеют собственности»[3]. Пашино в подтверждение этому рассказывает следующий факт: когда во время бабидского движения правительство хотело конфисковать владения торговцев и ремесленных предприятий Зенджана — последователей Баба, — то бабиды, — жители города, с оружием в руках отстояли эти владения, указывая, что все это имущество принадлежит не отдельным лицам, «а составляет общественную собственность». Пашино дал краткое изложение движения бабидов, но не заметил направленности этого движения против иностранных колонизаторов и не сумел полностью разобраться в сущности учения Баба. Пашино считал, что Баб учил об отрешении от всего земного, в чем и видел самый верный путь достижения «царства небесного», тогда как на самом деле Баб это «царство небесное» стремился установить на земле, в частности, в Иране.

Пашино неоднократно отмечал живой интерес персов к России и к русским.

Он рассказывает о том, с какой жадностью слушали персы рассказы о России. Для них это была страна, где господствовали «порядок и закон», т. е. неприкосновенность собственности,

---

[1] П. И. Пашино. Письма о Персии. Еженедельные приложения к «Русскому Инвалиду», 1864, № 35.

[2] Там же.

[3] Там же.

твердая власть, единство государства — в противовес феодальной раздробленности Персии и произволу шаха. Те, которым удавалось побывать в России, не разочаровывали своих соотечественников. Наоборот, действительно хорошее в русской жизни вырастало в их рассказах до необычайных размеров. Пашино с улыбкой слушал такие рассказы и, надо полагать, они вовсе не были неприятны его патриотическому сердцу. Пашино любил свою родину. Жизнь в дипломатической миссии, полная дрязг, сплетен и взаимных подсиживаний, ему так надоела, что он буквально рвался в Россию, чем и объясняет свою торопливость во время путешествия: «Желание не пропустить парохода, желание попасть скорее на русскую землю, заглушали во мне любознательность, утомление, опасение за свою голову,— словом я дышал мыслью, как можно скорее увидеть родину»[1]. Однако он хорошо сознавал, что ожидать ему лично для себя в своей отчизне чего-нибудь хорошего не придется. «Я забывался по временам, переносясь мысленно в Россию, где, впрочем, не ожидал встретить ничего особенного; это было ощущение неиспытанного еще мною чувства любви к родине»[2]. Мы можем понять, почему он так обрадовался, увидев еще на персидской земле, у Астрабадского залива русскую вывеску Закаспийского торгового товарищества.

Весьма характерной чертой Пашино было то, что он не мог полностью наслаждаться одной природой, в которой нет человека или хотя бы следов его деятельности. «Но как ни очаровательно грандиозна природа, отсутствие человека лишает ее громадной дозы прелести», —замечает он[3]. Отсутствие человека в природе вызывает у Пашино чувство какой-то тоски и поэтому общение с природой не дает ему ощущения удовлетворенности и счастья. Пашино описывал, главным образом, людей—их положение, их жизнь.Уделяя внимание положению крестьян,он, однако, особенно подробно останавливался на описании городов. О Тавризе—главном городе южного Азербайджана, подвластного персидским шахам, Пашино сообщает довольно много сведений, причем особенное внимание уделяет его значению как центру торговли с европейцами. «На тавризском базаре вы встретите следующие привозимые статьи: ситцы, коленкоры, сукна, металлические и хрустальные изделия, сахар, кисеи, бархат, плис, зеркала, свечи восковые и стеариновые; в обмен

---

[1] П. И. Пашино. Письма о Персии. Еженедельные приложения к «Русским ведомостям», 1864, № 37.

[2] Там же № 41.

[3] Там же, № 35.

здесь продают европейцу шелк-сырец, бязь, хашхалат, чернильные орехи, холодное оружие, краски, москательные товары, пряности, шали, ковры, сушеные фрукты и проч. мелкие статьи. Торговый баланс остается всегда не в пользу Персии»,— совершенно справедливо замечает И. Н. Березин[1]. Но Пашино сразу же делает оговорку: «Это справедливо в отношении Европы, а не России». Пашино — не сторонний наблюдатель. Он озабочен неудачами российской торговли в Персии. Так, например, он сетует на то, что у русских купцов нет еще той сноровки и приспособления к вкусам персов, как у англичан, которые рисунки для ситца и фарфора — товаров, предназначенных для сбыта в Персии, — заказывают персидским художникам. В данном случае, Пашино явно защищает интересы поднимающейся русской буржуазии. Здесь, как и в ряде других мест, Пашино выступает сторонником русской экономической экспансии на Востоке.

Тавриз, Казвин, Тегеран предстали в письмах Пашино перед русскими читателями не только в их специфически полуфеодальном восточном облике — окруженные многоверстными садами, зубчатыми стенами, с шумными базарами, узкими грязными улицами, на которых разлагаются трупы животных,—но и с характерными чертами современности; так, на облике Зенджана сказалась недавняя, сравнительно, борьба шахских войск с бабидами: половина города в развалинах. Любопытно сопоставить впечатления Пашино от г. Сари — главного города Мазандеранской провинции, с тем, что привлекло внимание современника Пашино, англичанина Иствика, также посетившего этот город. Сам Пашино цитирует его в своих письмах. Иствик приводит легендарные сведения об основании города; в настоящем же, по его мнению, город замечателен только... лихорадками и лягушками. Пашино пробыл в этом городе недолго; он торопился, чтобы попасть на пароход. Но, тем не менее, он отметил чрезвычайно важную деталь — процветавшую в этом городе торговлю невольниками — пленными туркменами, а также неграми. Описывая Сари, Пашино обратил значительно бо́льшее внимание на экономическое положение этого города, чем на его внешнюю сторону, о которой он говорит далеко не столь подробно. Пашино отметил, что в городе Сари, несмотря на довольно большое по тем временам население (15 тыс. чел., не считая войск), торговля очень плохая, за исключением торговли невольниками. А это происходит потому, что местные власти

[1] П. И. Пашино. Письма о Персии. Еженедельные приложения к «Русскому Инвалиду», 1864, № 45.

обложили огромной пошлиной каждый товар, прибывающий в город. «Если бы этого не было,— замечает Пашино,— то здесь был бы натурально главный рынок по торговле рисом, хлопком, шелком и фруктами»[1]. Уменье Пашино разбираться в экономических и социальных фактах, не увлекаясь описательной экзотикой, выгодно отличает письма Пашино от очень многих других, появившихся в его время заметок и воспоминаний. Его «Письма» не были капитальным исследованием истории или экономики Персии,— недаром они и называются «Письма». Но заметки дневников и свежие воспоминания, к тому же тщательно продуманные, делают «Письма о Персии» Пашино весьма ценным источником.

Интересные подробности для русских читаталей приводит он в своих письмах о некоторых обычаях в Персии, описывая обряды брака, похорон и другие черты народного быта. Пашино не забывал о том, что Россия — страна несравненно более передовая, чем Персия, как бы ни были велики исторические и культурные традиции последней. Вопрос о русском проникновении в Персию рассматривался им в двух аспектах. С одной стороны, он нередко правильно, критически оценивал политику реакционной, чиновничьей России в Персии; с другой стороны, он постоянно отмечал то положительное значение, которое имело для Персии соприкосновение с русской культурой, и укрепление экономических связей с Россией.

Ко времени пребывания Пашино в Персии относится его встреча с Вамбери, в июне 1862 г. Скучная жизнь в Тегеране заставляла обращать внимание на каждого нового человека, и когда в Тегеране появился Вамбери, который направлялся в Среднюю Азию, Пашино сразу же его заметил. Получив о нем сведения, как о «весьма многосторонне образованном человеке, претендующем даже на знание русского языка», Пашино стал искать встречи с ним. В свою очередь и Вамбери заинтересовался Пашино, узнав, что он знаком с бытом и языком «восточных татарских народов»: казанских и сибирских татар, башкир и киргизов. Встреча произошла на обеде в английском посольстве. «За обедом разговор велся по-турецки, потому что английский посланник г. Алисон великолепно владеет этим языком и, кроме турецкой миссии, гостей не было»[2]. Разговор Пашино с Вамбери касался, главным образом, лингвистических тем: Вамбери

---

[1] П. И. Пашино. Письма о Персии. Еженедельные приложения к «Русскому Инвалиду», 1864, № 37.

[2] П. И. Пашино. Встреча с Вамбери в Персии. «С.-Петербургские Ведомости», 1862, № 175.

интересовался тюркскими диалектами, а также бытом и социальным положением волжских татар. В Тегеране дипломаты придавали путешествию Вамбери в Хиву и Бухару политическое значение, что соответствовало действительности.

В 1875 г. Пашино еще раз побывал в Персии, на этот раз в южной. Он начал свое путешествие из Бомбея, откуда отправился к персидским берегам. В нескольких очерках он описал места южной Персии, забытые другими русскими путешественниками[1].

Путь Пашино шел пустынным берегом Белуджистана до города Бендер-Аббаса, «славного своими развалинами и богатого древностями», затем в город Бушир, который вел крупную торговлю с Англией и Багдадом и пользовался, в частности, дурной славой невольничьего рынка.

Далее Пашино направился к селению Баразгун, а затем долиною рек Деляки и Карагач до селения Ташти-Кунар, лежащего на высоте 730 м. над уровнем моря. Пришлось преодолевать перевал за перевалом, некоторые были очень трудны (высота перевала Пиризен достигает 2225 м.); итти горными тропами, теснинами, заваленными камнями, где можно было встретить хищных животных. Такой была дорога к Ширазу. Из Шираза Пашино направился в Исфаган. От Исфагана путь шел по гористому пространству до города Кашана, а затем Пашино прибыл в Кум, известный среди мусульман-шиитов Персии своей святыней — гробницей сестры восьмого имама. Весь путь Пашино прошел как мусульманин в одеянии паломника-хаджи, возвращающегося из Мекки.

Посетив Персию в 1875 г., Пашино не заметил в этой стране особых изменений по сравнению с 1861 годом. Города юга Персии являли такой же печальный вид запустения и упадка, как и города севера. На юге невольничество было заметно распространено; Бушир и Исфаган были главными невольничьими рынками Персии.

К базарам персидских городов Пашино проявлял, как и всегда, большое внимание. Он отметил, что в Ширазе преобладают английские товары и отсутствуют русские. «Я разговаривал с купцами об их торговых делах и о том, почему они не выписывают товаров из России. Они отвечали, что русские ни за что не хотят приноровиться к их вкусам, между тем как

---

[1] «...положительно со времен Березина не было ни одного слова сказано в нашей литературе о местах, прилегающих к Персидскому заливу и, насколько мне помнится,— даже сам Березин повернул из Шираза на Багдад» (П. Пашино. По забытой сторонке. Газ. «Обзор», 1880, № 416).

австрийцы и англичане делают это с особенным удовольствием»[1]. На базарах Исфагана товары были разных стран, однако ткани уже преобладали русские. Английское экономическое влияние чувствовалось слабее по мере продвижения с юга на север.

Народ Персии попрежнему изнемогал от шахского деспотизма и произвола местных властей. По дороге к Ширазу, в деревне Заньюн, Пашино беседовал с крестьянами. Разговор с ними лишний раз показал Пашино, в какой мере жизнь и имущество персидского народа зависели от шахского произвола.

В своих «Письмах о Персии» Пашино дал яркую картину настроения народа, обрисовал застой и упадок страны, видя его причины, прежде всего, в персидском деспотическом режиме, который он сурово осуждал.

ПОЕЗДКА В ИНДИЮ

О своем путешествии в Индию, целью которого, в частности, являлось изучение путей, ведущих из Индии в Среднюю Азию, Пашино поставил в известность Русское географическое общество, членом-сотрудником которого он был.

Прибыв в Индию в 1873 г., Пашино направился сперва в Агру, затем в Бомбей и по железной дороге в Амритсар, оттуда в Сиалькот, Джамму и далее в Исламабад. Затем он повернул к Инду, перешел Инд, и вдоль реки Гильгит добрался до города Гильгит, а оттуда проник в Ясин, Амальсу и Даркот.

Путешествие было не из легких. По возвращении в Россию, Пашино сделал сообщение о своем путешествии на собрании Географического общества, которое отметило трудность и риск путешествия: «Самой любопытной частью путешествия г. Пашино было странствие его от Кашмира в независимые владения в Индии в горах Гималая»[2].

По железной дороге Пашино ехал только до Амритсара, остальную часть пути проделал на лошади и пешком. В горах Кашмира проводники в специально сделанных корзинах несли на своей спине путников. Этим способом передвижения пришлось воспользоваться и Пашино. Как диковинку, он весьма подробно описывает корзину, в которой совершал путешествие. Но в гору он никогда не заставлял себя нести, всегда шел пешком. Еще в 1867 г. у него было кровоизлияние в мозг, вследствие чего его правая рука и правая нога действовали не вполне свободно; он прихрамывал, волочил ногу и все же шел через горные перевалы.

---

[1] П. П а ш и н о. По забытой сторонке. Газ. «Обзор» 1880, № 425.
[2] «Изв. Русск. географ. об-ва», СПб., 1874, т. X, стр. 258.

От Гильгита Пашино стал изображать себя слугой своего проводника, который принял роль купца, и на все вопросы отвечал, что едет закупать лошадей в Яркенд или Коканд для сбыта их в английские войска. Таким образом, оставаясь в качестве слуги несколько в тени, Пашино почувствовал себя свободнее. Его потянуло в гущу народа, жизнью и бытом которого он всегда так интересовался. «Не страшась быть узнанным,— пишет Пашино,— я среди белого дня пошел шляться по базарам и повсюду»[1]. Но Пашино удалось дойти только до Даркота. Оттуда он был вынужден вернуться обратно.

В 1874—1875 гг. Пашино совершает свое второе путешествие в Индию. Цель путешествия заключалась в том, чтобы проникнуть из северной Индии в русские владения. Попытки проникнуть из Средней Азии в северную Индию делались некоторыми западноевропейскими путешественниками, но другими путями[2]. Пашино же предполагал итти из Пешавара к Читралу и проследовать никем не пройденным путем через Читрал в Ташкент.

Пашино совершал путешествие в качестве туриста. Во время своего достаточно продолжительного пребывания в Лахоре Пашино сумел совершить поездку на пароходе вниз по Инду до Котри, а затем уже по железной дороге вернулся обратно в Лахор. По дороге он останавливался в Мультане, Ширшахе, Чачире, Шикарпуре. Результатом этой поездки явились очень интересные заметки о жизни индийцев.

28 ноября 1874 г. Пашино высадился в Бомбее и по железной дороге отправился в Аллахабад. Здесь до него дошел слух, что англичане обнаружили Нана-сахиба; Пашино сделал визит к губернатору с целью получить разрешение на свидание с одним из руководителей великого восстания 1857—1859 гг., но разрешения не получил. Впоследствии Пашино узнал, что слух о задержании Нана-сахиба был ошибочен: вместо него схватили кого-то другого. Даже поездка в так называемую туземную часть Аллахабада русскому путешественнику была запрещена. «Меня сильно тянуло туда»,— признается Пашино. Далее, через Каунпур (где он не останавливался), Агру он прибыл

---

[1] П. И. Пашино. По Индии, стр. 92.

[2] Еще в 1874 г. экспедиция посланника Форсайта проникла из Северной Индии на Памир и оттуда в китайские владения. В 1892 г. англичанин Данмор прошел через Кашмир, Яркенд, Кашгар в русскую Среднюю Азию, получив разрешение царского правительства на проезд в Россию, несмотря на весьма напряженные отношения между Петербургом и Лондоном в связи с памирскими делами.

в Дели. Затем на его пути были Амбалла, Симла, Амритсар и наконец Лахор, где он прожил около трех месяцев. В начале января 1875 г. Пашино получил было разрешение пройти в Туркестан через Читрал, но затем оно было отменено, и план Пашино пройти из Индии до Ташкента рухнул. По его собственным словам, Пашино был убит отменой разрешения. Он уже нанял себе проводника — «смышленного бухарца Хаджи Беграма, от природы одаренного богатым умом», он уже собрал немало сведений о пути, полученных им из расспросов местных жителей. В конце концов, наш путешественник, несмотря на предостережения редактора англо-индийской газеты «Сивил энд милитэри газет», повидимому, дружески по отношению к нему настроенного, решил осуществить свое намерение без разрешения английских властей. Он переодевается, выдает себя за араба и едет поездом на север. Но на одной железнодорожной станции Пашино был избит английским полицейским за попытку выпить стакан чая в буфете первого класса. После перенесенных оскорблений (он подвергся заключению в полицейском участке) Пашино решил вернуться домой, отказавшись от мысли продолжать свое путешествие, составил письмо на французском языке и направил его редактору «Сивил энд милитэри газет», а тот переслал это негодующее письмо в редакцию петербургской газеты «Голос», где оно и было опубликовано[1]. Таким образом, второе путешествие Пашино в Индию закончилось неудачно.

Однако не добившись своей прямой цели — пройти из Северной Индии в Туркестан,— Пашино сумел многое увидеть в тех местах, где ему удалось побывать, и оставил подробные записи своих наблюдений.

Пашино побывал во многих индийских городах и деревнях. Во время первого своего путешествия он имел возможность общаться с населением. Свое внимание он обращал в основном на положение народных масс Индии.

Первым индийским городом, который увидел Пашино, был Бомбей. Во втором путешествии он дает очень точное описание Бомбея, как «туземного» города, так и европейского, с музеем, памятником королеве Виктории, но тут же добавляет: «Храмов английских и католических, построенных здесь еще до английского владычества, я... не имел особенного желания видеть; меня влекло совершенно в другую сторону...»[2] Он отмечает широкие улицы и бесконечные базары Дели, его пышную тропическую

---

[1] Газ. «Голос», СПб., 1875, № 102.
[2] П. И. Пашино. По Индии, стр. 219.

зелень, которая делает общей вид города «необычайно роскошным», и «необыкновенной величины» город Мадрас.

«Туземный» город привлек значительно большее внимание Пашино. Он был готов долгое время бродить по его улицам, разглядывая индийские жилища и «поразительные своей красотой» цветы в садиках, окружавших некоторые дома. В кварталах, где живет индийское население, «женщины на улицах ткут себе полотна, расставляют станки». Он, изображая собой турка-мусульманина, свободно заходит в мечети, совершает молитву, раздает милостыню, «таким образом у меня начались сношения с туземцами»[1]. Но в индусские храмы он входить не решался, и то, что находилось внутри, разглядывал только издали. В Амритсаре он посетил храм сикхов и дал описание храма, где нет ни изображений божества, ни каких-нибудь других, кроме изображения цветка лотоса. Посредине, на столике лежала священная книга, по преданию, якобы написанная основателем религии — Нанаком.

Пашино внимательно знакомился с бытом индийцев, исповедывавших ислам, интересовался также сикхизмом. Пашино хорошо передал общее впечатление от индийских деревень, в которых он побывал: «Я заметил, что все деревни построены вблизи рек и ручейков, однако, на довольно далеком расстоянии от ручейков, так как весенние разливы превращают эти ручейки в огромнейшие реки. Строения раскинуты на довольно широкое пространство, так что подумаешь, будто уже другая деревня начинается, а между тем тут еще несколько домов, принадлежащих прежнему селению»[2]. В такой большой деревне, расположенной недалеко от Чачира, был Пашино, когда он ехал пароходом по Инду. Все жители высыпали на берег. «Пестрые одеяния женщин и мужчин придавали картине праздничный вид; я с Гренвилем (один из случайных спутников Пашино, возвращавшийся из Пешавара в Лондон. — *Е. Г.*) отправился пройтись по селению. Но боже мой, что мы встретили!.. Лачужки, плетенные из камыша и необмазанные даже глиной, в которых жили и скот и люди в дружбе, не ссорясь между собой. Было несколько лачуг, построенных на двухсаженных сваях, так как Инд заливает эти места. Нищета и безобразие ужаснейшие. Женщины все необычайно худощавы; дети с заморенными желудками, как скелеты, и даже собаки как будто гармонировали этой картине — большая часть из них была с пере-

[1] П. И. Пашино. По Индии, стр. 42—43.
[2] Там же, стр. 87.

битыми ногами»[1]. Мечеть — самое заметное здание в мусульманской деревне — «вовсе не имела характера молитвенного дома: простая плетеная избенка из тростника, с открытой террaской в 10 кв. сажен, не более, где правоверные совершали свое богослужение»[2]. Мулла, с которым Пашино говорил по-персидски, жаловался на нищету, «на громадные налоги, на болезни, на отсутствие медицинской помощи».

Физическую красоту индийского народа Пашино заметил и оценил. «Мне кажется, что нигде так блистательно природа не наградила человеческой натуры, как здесь»[3]. Одновременно Пашино отметил ужасающую нищету индийцев, подчеркивал, что только благодатная природа позволяет индийскому крестьянину обходиться жалким подобием одежды. Он писал: «Костюм индуса состоит только из тряпки, обернутой вокруг головы, и еще небольшого куска материи, который обертывается вокруг чресел; на ногах, да и то не у всех, надеты башмаки»[4]. Горожане обертывают свое тело куском белой материи, энглизированные индийцы подражают во всем и, конечно, в одежде — англичанам, они «щеголяют часами, цепочками, перстнями, золотыми поясами, бархатными жилетками, пестрыми европейскими панталонами»[5].

О горожанах Пашино говорит несколько сдержанно. Крестьянство—большинство населения Индии, и ему Пашино уделяет больше внимания и неизменно выражает искреннее сочувствие. «Бедность и нищета здесь до того замечательны, что положительно поражают и проезжающих»,— пишет он в одном месте[6]. Любуясь архитектурой индийских храмов, он тут же замечает контраст: «вид их необычайно изящен, несмотря на нищету и бедность индусского народа[7].

Так как Пашино был в тех местах Кашмира (например, вассальное княжество Ясин), которые до него не посетил ни один европеец, то о положении жителей этих горных областей он счел нужным рассказать наиболее подробно. Население описанных Пашино высокогорных областей постоянно увеличивалось за счет притока пришельцев из других местностей: «Беглые индусы, вследствие повстаний в 1850-х годах, сикхи и множество недовольных английским правительством бежали и поселились

---

[1] Там же, стр. 170.
[2] Там же, стр. 171.
[3] Там же, стр. 193.
[4] Там же, стр. 264.
[5] Там же, стр. 265.
[6] Там же, стр. 65.
[7] Там же, стр. 18.

здесь, как мне рассказывали сами жители»[1]. Пашино отмечает, что, несмотря на природные богатства края, народ был очень беден. Население занималось земледелием и скотоводством. Земледелие велось самым примитивным способом. Удобрений не знали, но, по словам Пашино, этого и не требовалось: земля очень плодородна. Система земледелия была переложной или, во всяком случае, очень близко ее напоминала: «Если земля не дает никаких плодов,— писал Пашино,— хлебопашец переходит на другое поле, так как здесь земли чрезвычайно много и права собственности на нее нет вовсе»[2]. На полях, помимо хлебных злаков, разводили хлопок, коноплю, красящие растения. Деревни утопали в садах, в которых много и тутовых деревьев, но шелководство было развито слабо.

Из животных разводили лошадей, коров, коз, овец. Особенно высоко, по мнению Пашино, ценилась лошадь. Он сообщает, что за лошадь давали двух невольников. Такие продукты животноводства, как шерсть, имели большое значение: «Жители — большие искусники в приготовлении ковров, войлоков, шляп и других вещей из шерсти»[3]. Пашино предполагал, что ковры и войлоки вывозят за Гималаи; он узнал точно, что туда отправляют необработанные шкуры животных.

Примитивный образ хозяйственной жизни соответствовал и уровню развития общественно-экономических отношений: частной собственности на землю не существовало, торговля преимущественно была меновой.[4] Пашино отмечает, что в обращении находились монеты любого происхождения, самой различной чеканки, в том числе и древне-селевкидские и сассанидские, но местные жители предпочитали им... раковины; не существовало определенных единиц мер и весов. Подати и налоги уплачивались натурой.

Повидимому, Пашино наблюдал и описал общество, находившееся на стадии классообразования: в этом обществе еще только появлялись замки́, свидетельствовавшие об охране частной собственности; жителям было известно рабство. Соотношение ценности отдельных предметов к ценности раба было достаточно разработано, но Пашино не видел ни одного раба и склонен был даже предполагать, что слухи о невольни-

---

[1] П. И. Пашино. По Индии, стр. 58.
[2] Там же, стр. 111.
[3] Там же.
[4] Повидимому, у жителей горных гималайских областей, порядки которых описывает Пашино, существовала родоплеменная собственность на землю. Но Пашино этого вопроса не касается.

честве, о продаже путешественников в неволю сильно преувеличены[1].

Замки Пашино видел: они были деревянные и имели скорее символическое значение охраны. «Честность и крайняя добросовестность жителей изумительны: нет ни у одной двери железного кольца и цепочки, чтобы запирать на замок, а есть деревянные болты и деревянные замки с ключами»[2]. Воровства Пашино не заметил. Из разных источников он был наслышан о жестокости и храбрости жителей Ясина, но ближайшее знакомство с народом вызвало в нем лишь чувство восхищения.

Все эти черты быта, подмеченные Пашино у жителей южных склонов Гиндукуша, к которым Пашино отнесся с известной идеализацией, свидетельствовали о таком ранне-классовом обществе, где были очень сильны пережитки родового строя.

Пашино был очень заинтересован связями населения Ясина и Даркота с областями, лежащими на север от Гималаев. Он заметил, что «шкуры коровьи, овечьи, конские и козьи стараются сбывать в города, лежащие по ту сторону Гималаев, так как сообщение с этим краем очень развито, между тем, как с югом весьма незначительно»[3]. Это навело Пашино на мысль, «что Даркотский проход не так ужасен, как проход Дерехан»[4]. Да и существование в горах остатков значительных укреплений типа замков, которых Пашино сам видел, говорило о постоянных связях через проходы Дерехан и Даркот. «В старину здесь цивилизация была более распространена, чем в настоящее время, и по всему вероятию, Дерехан-пасс был в прежнее время более удобным проходом, чем в настоящую эпоху»,— пишет Пашино, удивляясь, что об этом нет сведений в исторической литературе: «Странно, что никто, даже Марко Поло, ничего не говорит об этом проходе»[5].

По отношению к себе Пашино встречал самое большое доверие и сердечность. Только один раз ему пришлось поклясться, что он не англичанин и не подослан от английского правительства, после чего разговор стал вполне откровенным. «Не смею умолчать,—писал он,— о необычайном радушии их и сердечном доверии к моей персоне»[6].

Во всех селениях Пашино осаждали больные. Всю свою аптеку, состоящую всего из четырех лекарств, он роздал больным,

---

[1] П. И. Пашино. По Индии, стр. 113.
[2] Там же. стр. 92.
[3] Там же, стр 111—112.
[4] Там же, стр. 112.
[5] Там же, стр. 44.
[6] Там же.

но средств против серьезных болезней у него не было. «Чаще других встречавшиеся больные были заражены сифилисом в различных видах и формах... Я очень сожалел, что не взял с собой против этих болезней никаких средств, и если мне судьба приведет итти туда еще раз, то я непременно захвачу с собой этих лекарств... У меня ничего подобного не было с собой»[1],— жалел Пашино. Во время своего второго путешествия ему пришлось побывать в селении по Нижнему Инду. Картина здесь была та же: нищета, бедность, болезни. В деревне свирепствовала лихорадка. Пашино роздал больным свои лекарства. «Благословениям и благодарности я положил конец только тем, что ушел на пароход»[2]. Русский путешественник был прост в обхождении, добр и искренне сочувствовал народу. Несомненно, что с этими его качествами и было связано то большое доверие, которое к нему питали индийцы.

Пашино отмечает глубокое общее недовольство народа. Первую, вполне ощутимую причину своей нищеты индийцы видели в тяжелых налогах, исходящих от англичан. «Налоги громадные,— жаловался русскому путешественнику мулла из селения близ Чачира...— за одну соль какой мы налог платим! Неверные гяуры-инглисы выжимают из нас сок,— чтоб им худо было! — а мы, несчастные, страдаем и гибнем десятками»[3].

По дороге к Кашмиру некоторое время спутником Пашино был один индиец. Он принадлежал к высокой касте, некогда был придворным махараджи Патьялы. С этим индийцем Пашино завел разговор об англичанах. Сначала собеседник отвечал русскому путешественнику уклончиво: англичане, де, народ хороший, деловой, смышленый, попусту время не тратят и т. д. Но потом указал два, по его мнению, существенных зла, которые исходят от англичан: миссионерство и налоги. «Налоги на необходимые в обыденной жизни предметы до того высоки, что требуют непременного изменения,—заключает Пашино,— налог на соль и на рис — главный продукт, которым живут индусы, так непомерен, что несчастные пускались в поход за десятки миль, чтобы запастись этим кормом во владениях раджей, но и тут англичане успели принудить самих раджей в видах увеличения их финансов, поднять до такой же нормы налог в подведомственных им местах. Только Кашмир и Непал отказались ввести у себя подобные пошлины. Годичная порция риса в старину обходилась в одну рупию в месяц,

---

[1] П. И. Пашино. По Индии, стр. 53—54.
[2] Там же, стр. 171.
[3] Там же.

или 12 рупий в год, ныне же он едва в состоянии прокормить одного себя за 30 рупий в год»[1].

Пашино ясно видел, что результаты английского господства для индийцев сказывались в непомерных налогах, нищете, голоде. Кроме того, причину постоянных голодовок в Индии Пашино усматривает в том, что часть земли захватили англичане и производят на ней товарные культуры — опийный мак, хлопок, кофе, чай. «Все это заставляет народ роптать»[2].

Дервиш-мусульманин, с которым Пашино говорил на хиндустани, выразил не только сильнейшую ненависть к англичанам, но и готовность бороться с ними. Он вспомнил восстание 1857 г., испуг англичан, их поспешное бегство в Лахорскую крепость. «Объявись теперь кто-нибудь Нана-Сахибом,— говорил дервиш,— я бы первый бросился сейчас обрывать телеграфные проволоки и взламывать рельсы железных дорог из мести за моего казненного отца. Поверь, душа, не я один, а сотни, не сотни, а тысячи, десятки и сотни тысяч найдутся таких же недовольных, как я, в среде здешнего населения, которые не руками, а зубами готовы разнести, что принадлежит здесь англичанам. Да вот погоди, не сегодня — завтра, а что-нибудь случится; может и на твоих глазах. Всюду, куда ты ни придешь, везде недовольны, а кем? – англичанами»[3]. Разговор у Пашино с этим дервишем был в 1874 г. в Котри.

Далее Пашино в Котри пересел на железную дорогу. В Пуне, в вагон сели два дервиша. И с ними Пашино разговорился, на этот раз по-арабски; правда, совершенным знанием арабского языка он не хвалился. Разговор с дервишами зашел об Александре Македонском, но быстро переключился на англичан. «Нечего сказать, был великий человек, почище этих англичан,— пришел к выводу один из красноречивых дервишей.— Про них (англичан.—*Е. Г.*) какая речь идет? Присядешь к огоньку послушать о чем толкуют, услышишь — англичан бранят; соберется кучка народа, трактуют о том, что налоги велики, а кто их, налоги-то эти распределял? — Англичанин. Купцы побросали дело, фабриканты бегут с заводов, а отчего? англичанин больно теснит»[4].

Подтверждение этих слов Пашино встречал неоднократно. В одном из городов Северной Индии, еще в первое путешествие,

---

[1] П. И. Пашино. Характеристические черты отношения англичан к индусам. «Церковно-общественный вестник», 1878, № 36—37.

[2] Там же.

[3] П. И. Пашино. По Индии, стр. 176—177.

[4]. Там же, стр. 186.

он видел здание бывшей писчебумажной фабрики, теперь она закрылась, «так как не приносила никакого барыша, вследствие английской конкуренции»[1].

Пашино присматривался к факирам и дервишам Индии. По его мнению, кое-кто из них имел связь с народом. Много среди них было, как утверждал Пашино, бездельников и паразитов, но, по наблюдениям путешественника, порой и среди дервишей и факиров встречались люди другого склада, открыто призывавшие народ к свержению господства иноземцев[2].

Пашино очень хотел проникнуть в сущность английской колониальной системы. Он досадовал, что не был знаком со сборщиками податей — коллекторами: важная часть аппарата колониального угнетения — сбор налогов — представлялась ему лишь в общем виде.

Представление об отношении англичан к индийцам у Пашино составилось совершенно четкое. Пашино говорит, что это было отношение «высшего существа» к «низшему», отношение пренебрежительное и высокомерное. «Вы не найдете во всем свете человека более надменного, более гордого и слишком высоко о себе думающего, как англичанин в Индии»[3].

Пашино, с его идеями буржуазного демократа, не мог критически до конца оценить английскую колониальную систему и поэтому порою наивно восхвалял англичан за то, что они создают для индийцев школы и даже университеты, где, как отмечал сам Пашино, преподавание велось на английском языке. Пашино наивно верил, что для индийцев, выдержавших экзамен, в принципе имеется возможность «поступить на службу, куда угодно, в какое угодно присутственное место, в какой угодно полк»[4]. Правда, Пашино видел и писал, что этим правом в действительности могло воспользоваться лишь ничтожное меньшинство индийцев и что даже это меньшинство могло рассчитывать, как правило, только на третьестепенные посты.

Пашино обратил внимание на то, что англичане по-разному относятся к индусам и мусульманам: в стране с индусским большинством они в 70-х годах XIX в. еще делали ставку, главным образом, на эксплуататорскую верхушку индусской религиозной общины и, осуществляя свою политику «разде-

---

[1] П. И. Пашино. По Индии, стр. 32.

[2] П. Пашино. Факиры и дервиши в Индии. «Русские ведомости», М., 1878, № 202.

[3] П. И. Пашино. По Индии, стр. 284.

[4] Там же, стр. 148.

ляй и властвуй», оказывали предпочтение индусам перед мусульманами, когда речь шла о поступлении на правительственную службу.

Мусульманское население, по мнению Пашино, ненавидит англичан и «желает чего-то нового».

Пашино уделил немало внимания изучению народившейся во вторую половину XIX в. индийской интеллигенции. С интересом вглядывался он в новый для него тип индийца, по-европейски образованного.

Когда Пашино ехал на пароходе в Индию, выдавая себя за турка, он разговорился по-персидски с индийским врачом, который получил образование в Калькутте и Лондоне и имел диплом доктора медицины. Доктор с крайним раздражением относился к англичанам и корил Пашино за его разговоры с капитаном парохода — англичанином. Через три года Пашино разыскал своего случайного знакомого в Калькутте и был разочарован: доктор вступил на путь стяжательства, накопил много денег и мечтал о том времени, когда бросит медицину и будет жить на доход со своего капитала. О ненависти к англичанам не было и слова. Пашино пишет, что доктор произвел на него неблагоприятное впечатление[1]. Это был представитель типа индийского интеллигента, приспособившегося к английским колониальным порядкам.

Но гораздо чаще Пашино в беседе с образованными индийцами улавливал в их словах горечь и озлобление. Вот инженер-механик с дипломом первого класса Чомон-хан Андрью; родителей своих он едва помнит, с детства был воспитан английскими миссионерами, которые и дали ему возможность получить образование. Но ему, квалифицированному специалисту, удалось получить работу с большим трудом. Вот уже около двадцати лет он служит помощником машиниста в компании пароходства по Инду. Когда во время одной аварии, случившейся на пароходе, Чомон-хану помогал юноша-англичанин, Чомон-хан с горечью сказал: «Не пройдет и трех лет, как он будет где-либо главным машинистом, а я останусь все-таки помощником»[2].

Капитан парохода «Джон Джакоб», на который пересел Пашино при впадении р. Ченгаб в Инд, был весьма своеобразной фигурой. Сын англичанина и красавицы-индуски, он носил английскую фамилию, получил воспитание в семье отца, учился в Англии в навигационной школе, которую ему не удалось

---

[1] П. И. Пашино. Образованные индусы. Газ. «Русский мир», 1876, № 277.

[2] Там же.

окончить: умер отец, и родственники вышвырнули его в Индию. После долгих мытарств он получил место капитана. По словам Пашино, капитан производил неизгладимое впечатление и по своим внешним данным и по своему характеру. Он знал себе цену, был отважен и смел, но англичане не хотели с ним знаться из-за его индийской матери, а индийцы чуждались его. Одинокий и ожесточенный, он говорил Пашино: «Вспыхни теперь волнение, я первый пошел бы на сторону индусов, но что же я принесу им с собой?»[1]

Конечно, некоторые практические знания индийцы могли получить и при английской системе образования. Но эта система была колониальной, рассчитанной на моральное и умственное угнетение индийцев; поэтому общие знания оставались односторонними, рассчитанными на выработку покорных слуг английских господ.

«Сближает ли образование хоть немного покоренных с завоевателями?— ставит вопрос Пашино.— Нисколько. Несмотря на то, что каждый английский чиновник, выдержавший экзамен из индустанского языка, правоведения и прочих специальных наук, касающихся края, получает добавочное содержание 200 рупий в год, несмотря на эти привилегии, даже знания языка, сближения, кроме официального, между англичанами и индусами никакого нет»[2]. Только сборщики податей, да судьи являются лицами, как иронически пишет Пашино, «поневоле сближающимися» с индийцами. Пашино иронически говорит об этом «сближении» коллектора и судьи с народом. «Где же тут сближение?— спрашивает он.— Англичанину, имеющему при себе 15 человек прислуги, конечно, необходимо знать индустанский язык; но, живя в своей семье, вдали от туземного населения, все сближение он ограничивает тем, что, отправляясь по утрам на службу, хлестнет бичом какого-нибудь индуса, перебегающего ему дорогу»[3]. Таким образом, на конкретных примерах Пашино показывает, что индийцы подвергались несмываемым оскорблениям, что для индийцев ответственные должности не были доступны ни в управлении страной, ни в армии, ни на предприятиях и в учреждениях. Индийцев от англичан отделяла целая пропасть.

Одновременно с Пашино Индию посетили два крупных ученых-индолога — И. П. Минаев и Моньер-Вильямс. Русский

---

[1] П. И. Пашино. По Индии, стр. 167.

[2] П. И. Пашино. Характеристические черты отношения англичан к индусам.

[3] Там же.

ученый Минаев, уделяя серьезное внимание религиям Индии, с присущей ему глубиной и проницательностью, одновременно отметил (впервые в европейской литературе) нарастание общеиндийского национально-освободительного движения [1]. Профессор санскритского языка Оксфордского университета Моньер-Вильямс также изучал религии Индии и не раз пересекал эту страну вдоль и поперек. Одно из таких его посещений пало на годы 1876—1878. Моньер-Вильямс придерживался консервативных взглядов. Но проповедуя о мнимом «благе» английского правления для индийцев, он вместе с тем был вынужден написать следующие строки: «к сожалению, должен сказать, что мое путешествие по Индии показало мне, что между правителями и управляемыми существует большая пропасть, которая со времени мятежа (1857—1859 гг.— *Е. Г.*) расширяется и становится все более трудной для преодоления» [2].

То, что Пашино, особенно во время первого путешествия, общался с народом, является его крупным преимуществом перед целым рядом гораздо более известных в существующей литературе по Индии западноевропейских путешественников. Не увидев и не показав многого, русский путешественник, будучи прогрессивным для своего времени человеком, уловил основное: нарастание народной ненависти к иноземным поработителям. Именно в эти годы Маркс сделал свой знаменитый вывод о возможности всеобщего восстания в Индии:

«В *Индии* для британского правительства готовятся серьезные осложнения, если не всеобщее восстание»,— писал Маркс [3]. Прекрасной иллюстрацией этого положения Маркса являются воспоминания Пашино об Индии, в чем несомненно проявляется их ценность как исторического источника.

---

[1] И. П. Минаев. Очерки Цейлона и Индии, ч. 1—2. СПб., 1878.

[2] Monier-Williams. Modern India and the Indians. London, 1878, стр. 111.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXVII, стр. 113.

Г. Д. ТЯГАЙ

ТРУДЫ РУССКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КАК ИСТОЧНИК ПО НОВОЙ ИСТОРИИ КОРЕИ

Значение трудов русских путешественников по Корее в последней четверти XIX в. для изучения ее истории не освещено в советской востоковедческой литературе.

В советской литературе по смежному вопросу имеется только одна статья В. Т. Зайчикова «Вклад русских ученых в исследование Кореи»[1], в которой подробно освещается значение трудов русских для изучения физической и экономической географии Кореи. Эта статья ставит целью показать, хотя бы частично, какой богатый материал для изучения новой истории Кореи содержится в работах русских исследователей этой страны.

Несмотря на тяжелую, кровопролитную борьбу, которую корейский народ вел на протяжении более чем трех лет, он уделял и уделяет огромное внимание воссозданию истории своей родины и, главным образом, истории национально-освободительного движения трудовых масс против японских и других иностранных колонизаторов.

За долгие годы своего господства японские империалисты извратили, фальсифицировали историю Кореи и ее свободолюбивого народа. Японские колонизаторы препятствовали изучению страны корейскими историками, уничтожали культурные памятники корейского народа, запрещали издание работ, правдиво освещающих историю Кореи, преследовали авторов этих трудов.

В этой связи особую ценность приобретают работы русских исследователей, посетивших Корею в последней четверти XIX и начале XX в. Эти труды составили значительную литературу

---

[1] См. журн. «Вопросы географии», № 6, 1948; эта статья В. Т. Зайчикова также включена и в его книгу «Корея». М., Госполитиздат, 1951.

не только по географии, этнографии и экономике, но и по истории Кореи (и отчасти по филологии). Изучение работ русских исследователей показывает, что в них собран большой и разнообразный фактический материал, проливающий свет на ряд существенных проблем истории Кореи, главным образом, новой[1]. Монографии, дневники, донесения русских авторов, которыми мы располагаем, свидетельствуют не только об их огромном интересе к изучаемой ими стране, но и о доброжелательном отношении, о живой симпатии, проявлявшимися ими по отношению к корейскому народу.

Русские авторы неоднократно отмечали, что корейский народ, несмотря на его исключительное трудолюбие и способности, влачил жалкое существование. Бедственное положение трудовых масс они объясняли непосильным гнетом янбаней (корейские помещики, состоявшие на государственной службе.— *Г. Т.*) и королевских чиновников. Эта черта резко отличает труды многих русских путешественников от писаний американцев, японцев и англичан, заполненных расистскими измышлениями и клеветой на корейский народ.

Наблюдая тяжелую жизнь корейского крестьянина, англичанин Гамильтон цинично и нагло писал: «корейский крестьянин и вол составляют великолепную пару — оба они вьючные животные»[2].

80-е и 90-е годы XIX в. в истории Кореи — годы революционной борьбы трудовых масс против феодального и иностранного гнета, главным образом, японских и американских капиталистов. Однако эта важнейшая сторона новой истории Кореи либо совсем не нашла освещения, либо грубо фальсифицирована в иностранной буржуазной литературе. Так, о крестьянском восстании 1893 г. реакционный английский политический деятель Керзон писал только, что «на него (корейского крестьянина.— *Г. Т.*) находят моменты сильного, хотя и глупого отвращения к хваленому возрождению своей родины»[3].

В работах же наших отечественных авторов собран ценный материал по истории освободительной борьбы корейского народа

---

[1] Мы не располагали достаточными материалами, позволяющими сколько-нибудь исчерпывающим образом охарактеризовать политическое лицо большинства авторов рассматриваемых работ, и в характеристиках русских исследователей Кореи нам пришлось основываться лишь на материалах их дневников и воспоминаний, непосредственно относящихся к Корее.

[2] Ангус Гамильтон. Корея. СПб., 1904, стр. 109.

[3] Сборник топографических, статистических и географических материалов по Азии. Вып. 53, стр. 138. Под «возрождением» Кореи Керзон разумел «цивилизаторскую деятельность» японских колонизаторов.

в эти годы. Захватническая политика японских капиталистов, их наглое вторжение во все отрасли корейской экономики и политической жизни во многих случаях нашли правильное освещение в трудах этих авторов. В них показаны колонизаторские методы японских захватчиков, раскрыт истинный смысл пресловутых «реформ», направленных на порабощение корейского народа.

Интерес представляют также собранные в работах русских исследователей данные, показывающие проникновение американского капитала, который уже в прошлом веке поддерживал японских милитаристов.

Материалы «Краткого очерка истории Кореи» Дадешкалиани, «Поездки в Корею летом 1886 г.» Вебеля и работы Карнеева и Михайлова говорят о том, как после заключения американо-корейского договора (1882 г.) американские капиталисты, действуя руками своей агентуры—собственных миссионеров, японских захватчиков и корейцев из числа национальных предателей,— старались насаждать в Корее свое влияние.

В трудах русских авторов мы находим интересные описания жизни и быта корейцев, ценные сведения об их ремеслах, торговле, о домашних крестьянских промыслах. Эти материалы могут помочь изучению важнейших социально-экономических проблем: аграрных отношений в Корее конца XIX в., развития товарно-денежных отношений и роли национального рынка, влияния прекращения изоляции на положение народных масс и т. д. Изучение всего богатства тех сведений по истории Кореи, которые содержатся в трудах ее русских исследователей, позволяет сделать вывод, что к концу XIX в. Корея переживала острый кризис всей феодально-бюрократической системы. Единственной прогрессивной силой в стране были народные массы, бесстрашно боровшиеся против колонизации отечества японскими милитаристами.

* * *

Связи между Россией и Кореей довольно успешно развивались уже в 60-х годах XIX в., после того как к России, по соглашению с Китаем, в 1860 г. окончательно перешел Уссурийский край, и Россия стала соседом Кореи.

В последней четверти XIX в. капиталистическая Япония усиливает свою экспансию на азиатском материке. Корея являлась наиболее удобным военно-стратегическим плацдармом для осуществления агрессивных планов Японии. В 1876 г., бряцая оружием, Япония, тогда еще сама связанная неравно-

правными договорами, заставила корейское правительство подписать договор, неравноправный для Кореи.

Вслед за Японией, в 1882 г. США навязали Корее второй неравноправный договор. Англия, Россия и Франция также добились заключения таких же договоров с Кореей. Корея стала одним из объектов агрессии капиталистических держав на Дальнем Востоке, сопровождавшейся острой борьбой между агрессорами. Иными словами, Корея в 90-х гг. XIX в. оказалась на Дальнем Востоке в центре международных отношений, которые Ким Ир Сен охарактеризовал как яростную борьбу «между капиталистическими хищниками за рынки сбыта и сырья, подчинение и захват слабых стран сильными, ограбление колоний и полуколоний, Корея была,—по словам Ким Ир Сена,—одной из жертв этих отношений»[1]. Наиболее агрессивную политику в этот период в отношении Кореи проводили капиталисты Японии и США.

Однако выполнению их планов мешало маньчжурское правительство Китая, с которым Корея издавна была связана вассальными отношениями. Развертывавшаяся борьба между Японией и Соединенными Штатами Америки, с одной стороны, и маньчжурским правительством Китая, с другой, не могла не затрагивать империалистические интересы царизма. Наличие общих границ между Россией и Кореей объективно создавало общность интересов у обеих стран: угроза границам Кореи являлась одновременно угрозой границам России.

Отсутствие железнодорожной связи с Дальним Востоком не давало царизму возможности обеспечить достаточную оборону этих границ. Поэтому царское правительство стремилось сохранить существующее положение в Корее и не допустить там усиления враждебного влияния.

В силу своей военной и финансовой слабости, удаленности Дальнего Востока от центра царская Россия в 80-х и начале 90-х гг. XIX в. не могла и помышлять о захвате Кореи и вследствие этого не преследовала в отношении ее агрессивных целей.

Корейское правительство перед лицом опасности, надвигавшейся со стороны Японии, неоднократно искало защиты у России. Так, например, в 1885 и 1886 гг. оно обращалось к царскому правительству с просьбой об установлении русского протектората над Кореей.

---

[1] Ким Ир Сен. Пролетарский интернационализм и борьба корейского народа. «За прочный мир, за народную демократию!», 25.IV 1952.

Однако эти предложения были решительно отклонены Петербургом, так как царское правительство опасалось обострения отношений как с Маньчжурским правительством Китая, за спиной которого стояла Англия, так и с Японией.

Корейский народ, неоднократно страдавший от разбойничьих опустошительных нашествий иноземных захватчиков, глубоко ненавидел японских колонизаторов. С появлением в Корее американских и английских капиталистов и их агентов — миссионеров, эта враждебность обратилась и против этих иностранных колонизаторов, поддерживавших японских захватчиков. В то же время народные массы Кореи с глубоким доверием и симпатией относились к русским, посетившим Корею. Это объяснялось рядом причин.

В конце 60-х годов XIX в. уже установились тесные связи между русским и корейским народами. Начало этому положили корейские переселенцы в 1863 г., заселявшие Приамурскую область. Сотни крестьянских семей, спасаясь от нищеты, голода, гнета помещиков и королевских чиновников, бежали на русскую территорию. Братское отношение русского народа, русских крестьян способствовало возникновению дружбы с корейскими переселенцами. Вести об этом проникали на их родину и укрепляли веру корейского народа в помощь и поддержку его великого соседа.

Между Россией и Кореей торговые отношения установились еще в период внешнеполитической изоляции Кореи[1]. Вдоль всей русско-корейской границы велась меновая торговля. После заключения в 1884 г. русско-корейского торгового договора экономические связи стали укрепляться.

Русские ученые приступили к исследованию и научному изучению Кореи еще в период внешнеполитической изоляции этой страны. В 1805 г. знаменитый русский мореплаватель И. Ф. Крузенштерн, совершив кругосветное плавание, собрал ценные сведения о Корейском полуострове. Новые данные экспедиции Крузенштерна исправляли и дополняли сведения французского мореплавателя Лаперуза и капитана британского флота Броутона, собранные ими в конце XVIII в.[2]

---

[1] В конце XVI в. Корея неоднократно подвергалась разбойничьим нашествиям орд японских самураев во главе с Хидэёси. В начале XVII в. на Корею напали маньчжуры. Эти грабительские войны, навязанные корейскому народу, разорили и опустошили страну. Корейское правительство в середине XVII в. перешло к политике внешнеполитической изоляции, т. е. закрыло Корею для сношений с иностранными государствами. Были изданы специальные законы, запрещающие корейцам под страхом смертной казни вступать в сношения с иностранцами.

[2] См. В. Т. Зайчиков. Корея. Географиздат, 1952, стр. 47.

В 1854 г. фрегат «Паллада», на борту которого находился писатель И. А. Гончаров, во время перехода из японского порта Нагасаки на Сахалин обследовал побережье и прибрежные воды Кореи. В путевых заметках И. А. Гончарова немало замечательных страниц посвящено описанию флоры и фауны полуострова, а также быта его населения.

Знаменитый исследователь Азии Н. М. Пржевальский, путешествуя по Уссурийскому краю, обратил внимание на деревни корейских переселенцев. Его заинтересовали их жизнь, быт, обычаи, религия, поразили их «услужливость, вежливость, трудолюбие», которые «... составляют... исключительную черту корейцев»[1]. Впечатления от посещения корейских поселений Пржевальский записал в «Путешествии в Уссурийском крае», где он отмечал, что «пример всех этих переселенцев сильно действует на пограничное корейское население, так что и теперь еще есть много желающих переселиться к нам»[2].

В октябре 1867 г. Н. М. Пржевальский, несмотря на изоляцию Кореи, посетил пограничный город Кёнхын (Кыген-Пу).

С прекращением политики изоляции страны и установлением дипломатических отношений с Россией началось систематическое исследование Кореи, главным образом ее северных и центральных районов, русскими путешественниками.

Первым русским путешественником, посетившим Корею, был купец П. М. Делоткевич. В декабре 1885 г. Делоткевич отплыл из Владивостока на корабле «Шевелев» и через Нагасаки прибыл в корейский порт Пусан, а затем в Инчхон. Свое путешествие по Корее он совершил пешком. Прибыв в Сеул, Делоткевич направился оттуда на север и прошел более 1500 км. Он посетил Вонсан, Хамхын, Хончён, Пукчхен, Танчхен, Кильчжу, Менгчхен, Кэсон и ряд других городов[3].

Впечатления от посещения Кореи он подробно записывал в дневнике, который позднее был опубликован в «Сборнике географических, топографических и статистических материалов по Азии». Хотя Делоткевич особенно интересовался состоянием торговли в Корее, его воспоминания далеко выходят за пределы этих узких рамок.

Автор «Дневника на пути пешком из Сеула в Посьет» описал ужасающую бедноту корейского крестьянина. Он

---

[1] Н. М. Пржевальский. Путешествие в Уссурийском крае. М., Географиздат, 1947, стр. 100.

[2] Там же, стр. 97.

[3] Транскрипция географических названий в основном приводится та, которой пользовались русские исследователи конца XIX в. в рассматриваемых работах.

оставил нам и свои наблюдения очевидца о положении рабочих золоторудных шахт близ Яхына. По его сведениям, всех корейцев здесь до 2000 человек, которые работают партиями от 5 до 10 человек в каждой пади. «Говорят, что это хороший прииск, но корейцы рабочие получают очень мало, все идет чиновникам, которые сбывают золото японцам в Гинзане (Вонсан.— *Г. Т.*). ...Рабочий народ очень бедный и голодный»[1].

Материалы дневника Делоткевича показывают, что богатейшие полезные ископаемые Кореи были средством обогащения корейских феодалов и иностранных колонизаторов. Для добычи золота и серебра требовалась особая санкция правительства. Промыслы находились в ведении начальников округов и губернаторов провинций, и только с их особого разрешения и за соответствующую крупную мзду представители торгового капитала получали у правительства права разработки золотых приисков.

Делоткевич с большой теплотой рассказывает о проявлении исключительного интереса к русским путешественникам со стороны корейцев: «Едва я вошел в город, как со всех сторон поднялся крик «ораси» (русский)... и народ массою двинулся за мной, не давая никому прохода»[2]. В городе Пукчане повторилась та же история... «улицы были буквально переполнены народом, который знал от полицейского, что сегодня вечером придет русский». Автор сочувственно относится к трудолюбивому корейскому народу, стонущему под непосильным гнетом корейских феодалов. Приводя весьма подробные описания отдельных городов и сведения о состоянии дорог и торговли, Делоткевич неизменно возвращается к основной теме, пронизывающей весь его дневник — показу жизни трудовых слоев населения Кореи. Однако автор в своем описании прошел мимо того, что японские капиталисты стремились подчинить своему влиянию экономику Кореи. В отличие от других русских путешественников Делоткевич не пытался вскрыть причины тяжелого положения жизни трудовых масс Кореи.

В 1885 г. Корею посетил Дадешкалиани, состоявший на службе при канцелярии Приамурского генерал-губернатора. По возвращении Дадешкалиани опубликовал «Краткий очерк

---

[1] См. «Дневник П. М. Делоткевича на пути пешком из Сеула в Посьет через северную Корею 1885—1886 гг.»— «Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии». Вып. 38, СПб., 1889 (в дальнейшем эта серия цитируется как «Сборник материалов по Азии»).

[2] См. «Дневник П. М. Делоткевича...», «Сборник материалов по Азии», вып. 38, стр. 147—150.

современного состояния Кореи»[1]. В первом разделе своего очерка автор дает очень беглые сведения по древней и средневековой истории Кореи; во втором разделе приводится подробное описание морского пути из Нагасаки в Инчхон и географический обзор средней полосы Корейского полуострова. Здесь имеется детальное описание его флоры, фауны и полезных ископаемых. В разделе «Население и общественный быт» автор рассказывает о характере, религии, обычаях корейцев и делает попытку показать классовое деление корейского общества. Отношение Дадешкалиани к корейцам коренным образом отличалось от расистских взглядов западноевропейских миссионеров. По наблюдениям Дадешкалиани «корейцы остроумны, подвижны, впечатлительны, любознательны. Отличительная черта корейцев — миролюбие, добродушие...»[2]

Причиной тяжелого положения корейского народа он считал гнет господствующего класса. «Обирательство лежит в основании корейского обычного права; господство одних классов над другими, рабство, народное бесправие, централизация власти — все это тяжело давит сельчан. Самое ужасное зло в стране — это кастовое подразделение ее обитателей»[3].

Наблюдая ужасающую нищету и полное политическое бесправие корейского народа, Дадешкалиани считал, что трудовые массы находятся на положении рабов. Он отмечал, что рабство, существовавшее в Корее, «самое безобразное явление в королевстве»[4]. По его мнению, «... эти несчастные одни составляют действительно трудящийся класс, кормят потом своего лица все остальные десять миллионов... Между тем, за ними не признается никаких человеческих прав, никакой собственности»[5].

Пытаясь объяснить причины массовой эмиграции корейских крестьян на русскую территорию, Дадешкалиани писал, что ответ на это надо искать в «социальном строе в Корее». «Мнение, что будто корейцы переселяются к нам вследствие тесноты и непроизводительности земель в их отечестве не выдерживает критики»[6].

В разделе «Государственное устройство» довольно подробно описывается государственный строй королевства, детально

---

[1] См. Дадешкалиани. Краткий очерк современного состояния Кореи. «Сборник материалов по Азии», 1884, вып. 22.
[2] Там же, стр. 74.
[3] Там же, стр. 79.
[4] Там же, стр. 81.
[5] Там же.
[6] Там же.

характеризуется деятельность каждого из корейских ведомств, административное деление страны и состояние дорог. Интересные сведения собраны Дадешкалиани и о состоянии вооруженных сил страны, ее финансов, ввозе и вывозе.

В «Очерке политических переворотов в связи с развитием международных отношений» автор правильно осветил политику Японии в корейском вопросе, ее стремление закабалить корейский народ и превратить эту страну в колонию.

Апологеты японских, американских и английских колонизаторов в своих лжеисториях восхваляли «цивилизаторскую миссию» Японии, которая в 1876 г. «открыла Корею». Так Деннет — «знаток» дальневосточной политики США, проповедуя человеконенавистнические мальтузианские теории, писал: «Япония должна иметь отдушину для возрастающего населения ...»; он же утверждал, что «японский контроль должен заменить китайское влияние»[1].

По-иному расценивал это событие Дадешкалиани: «Япония,— писал он,— раскрыла пасть, чтобы тихо, без шума проглотить Корею»[2]. Автор собрал ценные сведения о японской колонизаторской политике и предательской роли американских капиталистов. В ноябре 1884 г. в Сеуле произошел прояпонский переворот. Японские милитаристы и их агенты-корейцы из так называемой прояпонской «партии» свергли правительство и захватили власть. Подробно останавливаясь на этом событии, Дадешкалиани подчеркнул, что японские агрессоры были не одиноки в их попытках захватить власть в Корее.

В заговоре, организованном японскими захватчиками, деятельное участие принимали и сотрудники американской миссии. «Американский посланник оказался на стороне японцев (в заговоре.— *Г. Т.*). Поневоле приходится согласиться с тем ходячим в Сеуле мнением, что американский посланник генерал Фут действовал заодно с Японией»[3].

Таким образом, работа Дадешкалиани проливает свет на подлинный характер деятельности американских дипломатов в Сеуле и показывает, что они всецело поддерживали Японию в ее захватнических действиях в Корее.

После провала японского заговора в Сеуле вспыхнуло народное антияпонское восстание. В столице было убито несколько японцев. Японское правительство решило использовать

---

[1] T. Dennett. Roosevelt and the Russo-Japanese war. New York, 1925, стр. 97.

[2] Дадешкалиани. Ук. соч., стр. 111.

[3] Там же, стр. 116.

это обстоятельство в качестве удобного предлога для навязывания войны Корее и Китаю. Только позиция русского правительства, выступившего против японской провокационной политики в Корее, предотвратила начало военных действий. Эти события тщательно обходят в своих «трудах» японские, американские и западноевропейские историки. Тем более необходимо, чтобы на них обратили самое серьезное внимание советские историки. Некоторые сведения по этому вопросу имеются у Дадешкалиани. Так, например, он сообщает, что «в самый разгар приготовлений японцев к войне,— секретарь русской дипломатической миссии в Токио, г. Шпеер едет в Корею и от лица своего правительства заявляет корейскому королю, что России нежелательна война на Корейском полуострове»[1].

Во время переговоров между Японией и Кореей для урегулирования конфликта русский посланник в Токио Давыдов добился от японского правительства заверения, «что оно не потребует от Кореи территориальной гарантии»[2].

Дадешкалиани не ограничивается бесстрастным описанием различных событий из истории Кореи. Он обвиняет корейских феодалов, жестоко эксплуатирующих свой народ, пытается показать причины, благодаря которым корейский народ влачит нищенское существование. Дадешкалиани в своих комментариях разоблачает политику Японии и США в Корее.

В 1889 г. Корею посетил русский офицер Вебель. В его работе «Поездка в Корею летом 1889 г.»[3] содержатся очень важные данные для изучения социально-экономического строя и положения корейского крестьянина в 80-х годах XIX в. При почти полном отсутствии сведений, характеризующих аграрные отношения в корейской деревне XIX в., материалы, имеющиеся у Вебеля, приобретают особую ценность. Так, например, он сообщает, что кроме крестьян, арендующих земли у помещиков, в Корее имеется множество крестьянских семей (в местностях, прилегающих к Косану, автор насчитывал 300 таких семейств, охватывающих 3100 человек), которые не в состоянии были платить арендную плату помещику и уходили в горные районы. Они вели хозяйство на так называемых «огненных полях»[4], урожая с которых не хватало даже на полуголодное

---

[1] Дадешкалиани. Ук. соч., стр. 118.

[2] Там же.

[3] Вебель. Поездка в Корею летом 1889 г., «Сборник материалов по Азии», вып. 41, СПб., 1890.

[4] «Огненные поля» — поля, которые обрабатывали крестьяне, не имеющие средств арендовать землю и убегавшие в горы. Они выжига-

существование[1]. Вебель собрал кроме того данные о количестве земли, приходящейся на крестьянский двор. Он видел «около 300 дворов (крестьянских.—*Г. Т.*), не значащихся в официальных списках и не обладающих никакою платежною способностью»[2]. По наблюдениям Вебеля — рогатый скот считался непозволительной роскошью в хозяйстве бедняка.

Вебель отмечал исключительное трудолюбие корейских крестьян, которые обрабатывали землю с помощью самых примитивных сельскохозяйственных орудий. «Труд, которым кореец добывает свой хлеб от земли, действительно велик»[3]. Его удивляло отсутствие в Корее лугов или выгонов, так как вся земля, пригодная для земледелия, была засеяна и распахана; даже крутые скаты гор не оставались без обработки крестьянами, боровшимися с голодом. Малейший клочок земли считался драгоценностью. «Верилось бы с трудом,— восклицал Вебель,—если б не видел сам, как на земляной крыше произросла посеянная чумиза, если б не слышал сам, как в той фанзе, которая была под этой крышей, раздавались вопли и детские крики от голода»[4].

В феодальной Корее большое распространение получили так называемые «запасные магазины» — одно из орудий правительства для ограбления народных масс. «Запасные магазины» должны были давать крестьянам ссуду зерном под проценты до нового урожая. Вебель знакомит нас с корейскими «запасными магазинами».

Автор приводит очень ценные сведения о непрекращавшейся борьбе корейского народа против феодального гнета. В книге рассказывается о том, как жители города Кён-хына, возмущенные домогательствами главы города, прогнали его. «Овладев городом, толпа разнесла помещение пусая и установила собственное самоуправление, требуя от правительства назначения нового пусая, менее алчного»[5].

Для выяснения политики американских капиталистов, пытавшихся уже тогда утвердить свое влияние в Корее, существенное значение имеют приведенные Вебелем сведения об американо-корейском соглашении 1887 г. и о присылке в корейскую армию американских военных инструкторов. По сведениям автора, в марте 1888 г. в Корею «прибыло три американских офи-

---

ли на пустырях кустарники, траву и обрабатывали землю, что строго преследовалось правительством.

[1] Вебель. Ук. соч., стр. 164.
[2] Там же, стр. 162.
[3] Там же, стр. 165.
[4] Там же, стр. 164.
[5] Там же, стр. 208.

цера, генерал Дай, полковник Кемпбелл и генерального штаба майор Ли»[1]. Посылка инструкторов явилась одним из способов установления влияния США в Корее.

Наблюдая деятельность американских военных в Корее, Вебель делает вывод, что их надежды не оправдались. Американцы в корейской армии не пользовались ни доверием, ни популярностью[2].

Вебель уделял большое внимание также и освещению японского проникновения в Корею. Так, например, он сообщает, что только в одном открытом порту Вонсане из 22 торговых фирм было 18 японских[3]. Интересны цифровые данные Вебеля и по внешней морской торговле.

В целом работа Вебеля является серьезным источником для изучения истории и экономики Кореи XIX в.

В августе 1895 г. в Корею отправилась экспедиция во главе с членом русского географического общества А. Г. Лубенцовым. Кроме Лубенцова, в экспедиции участвовал его помощник и четыре казака. Путешественники продвигались по трудно-доступным и неисследованным районам Северной Кореи. За пять месяцев они прошли более двух тыс. километров. Путь экспедиции лежал через г. Кильчжу на северо-запад в Хапсу и далее в г. Капсан. Из Капсана маршрут экспедиции проходил через горные перевалы Капсанского и Граничного хребтов; далее экспедиция проследовала от г. Кансе в направлении Ычжу, куда путешественники вышли по долине реки Амноккан. Двигаясь по этому маршруту, экспедиция посетила ряд городов и прибыла в Пхеньян. После непродолжительного пребывания в Пхеньяне путешественники перешли на приморскую дорогу у Вонсана и вернулись к русской границе.

Научные результаты исследования Северной Кореи русский ученый географ Лубенцов изложил в своем капитальном труде «Хамкенская и Пхиенанская провинции Кореи».

В 1894 г. японские милитаристы навязали войну Китаю с целью захвата Кореи.

В июне 1894 г. территория Кореи превратилась в театр военных действий, а в конце сентября Корея была оккупирована японскими войсками. Война 1894—1895 гг., навязанная японскими милитаристами Корее и Китаю, принесла страшное разорение и голод корейскому трудовому народу.

---

[1] Там же, стр. 190. В других работах иностранных буржуазных авторов не упоминается об этом соглашении.

[2] См. Вебель. Ук. соч., стр. 190.

[3] Там же.

Провинции и районы, где проходили или размещались японские войска, были превращены в безлюдные пустыни. Японские захватчики выжигали целые деревни, население которых отказывалось снабжать их провиантом и скотом.

Лубенцов посетил Корею после окончания японо-китайской войны 1894—1895 гг. Русский исследователь прошел свыше двух тысяч километров и десятки корейских городов и деревень. Его поразила страшная бедность корейского народа, ужасающее разорение всей страны, вызванное пребыванием здесь японских войск, грабивших, убивавших и уничтожавших всех и все на своем кровавом пути из Кореи в Китай.

Лубенцов видел корейские города, превращенные в груды развалин, заброшенные деревни и незасеянные поля — немые свидетели страшного голода, охватившего всю страну. Он подробно описал виденные им разрушения в городах и деревнях Кореи. Во многих деревнях, насчитывавших по 50—60 дворов и расположенных вдоль дорог, осталось не более половины фанз. Поля не обрабатывались из-за недостатка рабочих рук[1].

В г. Шень-Ихен «несмотря на такое обилие жилых построек — местность имеет пустынный вид, благодаря тому, что много полей не обработано, а фанзы большею частью пустуют»[2]. «В деревне, в 24 верстах от Ычжу, осталось только 160 фанз, но до войны считалось свыше 1000»[3].

Экспедиция наблюдала, как «во время свирепствовавшей в 1895 г. холеры в губерниях Пхень-янг и Ычжу многие из жителей бежали на восток в горы и нередко приходилось встречать мужей, которые несли на своих спинах больных жен...»[4]

Русский исследователь, посетивший голодную, разоренную страну, причиной войны считал захватническую политику японских милитаристов и правильно оценивал их колонизаторские замыслы в Корее. Автор пытался вскрыть разбойничьи методы, применяемые японскими капиталистами для подчинения своему влиянию экономики Кореи. По мнению Лубенцова, японцы «не брезгуют никакими средствами, лишь бы сделать из Кореи не только рынок сбыта своих произведений, но и японскую колонию, в полном смысле этого слова. На наших глазах происходит день за днем поглощение этой несчастной страны в алчной пасти коварного островитянина»[5].

---

[1] А. Г. Лубенцов. Хамкенская и Пхиенанская провинции Кореи. Хабаровск, 1898, стр. 140.

[2] Там же, стр. 142.

[3] Там же, стр. 146.

[4] Там же, стр. 23.

[5] Там же, стр. 251.

Заключение в 1895 г. Симоносекского договора между Японией и Китаем, формально предоставившего независимость Корее, на деле было использовано японскими захватчиками для дальнейшей колонизации этой страны. Наблюдая положение в Корее после Симоносекского договора, Лубенцов отмечал, что японцы «сделались, фактически, хозяевами в этой стране, подчинив короля своей власти. Они всюду поназначали начальниками округов и губерний... корейцев, душой и телом преданных им и при том частью воспитывавшихся в самой Японии...»[1]. «С нашим приближением к деревням,— писал Лубенцов,—жители большею частью покидали свои фанзы и бежали в горы. Оказалось, что они принимали нас за японцев, жалобы на которых приходилось слышать на каждом шагу».

Японские милитаристы очень непрочно чувствовали себя в Корее. «Народ, насколько нам пришлось заметить во время пятимесячного путешествия, глубоко ненавидит японцев»,— писал Лубенцов. Подобное отношение корейского народа к японским захватчикам автор считал вполне закономерным явлением, так как «господство японцев ложится тяжелым бременем на несчастную страну»[2]. Лубенцова возмущало хищническое хозяйничание японских купцов и всякого рода спекулянтов, любителей легкой наживы, наводнивших Корею: «О характере деятельности японских купцов можно судить по тому, что они скупают жатву на корню...»[3] Автор приходит к выводу, что «если хозяйничание японцев будет долго продолжаться, то корейское население совершенно обнищает в недалеком будущем»[4].

Русского путешественника поразило наличие почти в каждом посещенном им городе вражеского гарнизона. Эти сведения являются еще одним доказательством страха захватчиков перед могучей силой, таящейся в корейском народе. Японские агенты и их наймиты из числа предателей корейского народа удерживали власть в Корее только с помощью штыков; только японские солдаты, вооруженные до зубов из американских и английских арсеналов, поддерживали так называемый «порядок» в стране, залитой кровью ее свободолюбивого народа.

Материалы, собранные Лубенцовым, помогают разоблачить агрессивные цели японских захватчиков, пытавшихся превратить Корею в плацдарм для дальнейшей экспансии. Для

---

[1] А. Г. Лубенцов. Ук. соч., стр. 251.
[2] Там же, стр. 250.
[3] Там же, стр. 252.
[4] Там же.

выполнения этих планов колонизаторы, в первую очередь, стремились наладить связь и построить железные дороги.

«... Первое, на что обратили внимание японцы (после японо-китайской войны.— *Г. Т.*), это на улучшение сети путей сообщения... С лихорадочной поспешностью в декабре месяце, несмотря на морозы, прокладывали они линию (телеграфную.— *Г. Т.*) из Гензана на Север. ...Во многих местах приходилось видеть сотни рабочих корейцев, занятых исправлением дорог, полагаю, что без настояния со стороны японцев этого бы не было»[1].

Лубенцов описывает, как оккупационные власти, силой, в стужу и голод сгоняли тысячи голодных, больных, полураздетых корейцев на строительство дорог, прокладку телеграфных линий. Так, между Вонсаном и Сеулом «для работы были согнаны властями тысячи корейцев, которые на руках перетаскивали телеграфные столбы»[2].

В отличие от иностранных буржуазных историков, русский исследователь Кореи не старался скрыть от мирового общественного мнения правду о японских зверствах в Корее, о чудовищном разграблении страны японскими войсками и создании там оккупационного режима — режима кровавого террора.

Значение работы Лубенцова не ограничивается разоблачением японской агрессии в Корее. В этой монографии имеются и важнейшие данные по экономике страны, детальные сведения, характеризующие ее внешнюю торговлю. Собранные им материалы свидетельствовали об усилении проникновения иностранного капитала в Корею, о постепенной ее колонизации. Лубенцов подробно описал организацию корейской таможни и привел данные о государственных доходах страны, детально охарактеризовал ее административное деление. Специальная глава его работы посвящена анализу состояния корейского войска. В разделах, посвященных этнографии и быту, говорится о корейском языке, религии, постройках, одежде, пище, напитках, развлечениях, праздниках. В особом разделе изложены сведения о корейском календаре, счете, единицах измерения, системе мер и весов, о денежном обращении.

В главе VI «Производительность страны» приведены довольно подробные данные о полезных ископаемых Кореи, к которым прилагается список разрабатывавшихся приисков. Далее следуют разделы: флора, земледелие, фауна, скотоводство,

---

[1] А. Г. Лубенцов Ук. соч., стр. 40—41.
[2] Там же, стр. 86.

ремесла, обрабатывающая промышленность. Материалы, имеющиеся в этой главе, представляют несомненную ценность для изучения состояния сельского хозяйства и зарождавшейся промышленности Кореи.

Так, например, Лубенцов подробно описал корейскую мастерскую (называя ее «чугунолитейный завод») по выделке котлов, расположенную на севере Пхеньянской провинции. Автор высоко оценивал прочность вырабатывавшихся на этом «заводе» котлов[1]. В главе VII «Торговля» он иллюстрировал свои выводы богатым фактическим материалом. Кроме того, в книге имеются следующие приложения:

1) Таблицы внешней морской торговли за 1886—1893 гг.; 2) Русско-корейский договор 1884 г.; 3) правила, по которым торговля русских подданных может производиться в Корее; 4) тарифы на предметы ввоза.

А. Г. Лубенцов, как и большинство русских путешественников по Корее, с большой теплотой описывал жизнь корейцев. Глубоким сочувствием проникнуты строки, посвященные тяжелому, бесправному положению крестьянства и городской бедноты Кореи. По мнению автора, «бедность жителей в самой Корее зависит, главным образом, от алчности и хищности многочисленных чиновников, которые выжимают все, что только возможно, из подведомственных им жителей»[2].

Автор подчеркивает исключительное внимание, проявляемое народом Кореи по отношению к русским.

При всех указанных достоинствах работы А. Г. Лубенцова, в ней имеется ряд существенных недостатков, мимо которых пройти нельзя. Эти недостатки связаны, прежде всего, с непониманием характера корейско-китайских отношений до японо-китайской войны 1894 г. В ряде случаев автор смешивает политику Маньчжурского правительства Китая с настроениями самого китайского народа.

В декабре 1895 г. и январе 1896 г. в Корею прибыл русский офицер Альфтан, обследовавший район Восточного побережья между устьем Тумангана и Вонсаном. Свои наблюдения Альфтан опубликовал в работе, озаглавленной «Поездка в Корею ген. шт. подполковника Альфтана в декабре 1895 г. и январе 1896 г.»[3].

Так же как и А. Г. Лубенцов, Альфтан посетил Корею в тяжелые для ее народа дни, когда после окончания японо-

---

[1] А. Г. Лубенцов. Ук. соч., стр. 123—124.
[2] Там же, стр. 120.
[3] «Сборник материалов по Азии», вып. 69.

китайской войны японские колонизаторы стремились укрепить оккупационный режим в стране. Это означало дальнейшее наступление на элементарные права трудового народа Кореи.

Альфтан побывал во многих городах и деревнях Северной Кореи. Повсюду он наблюдал жгучую ненависть корейского народа к японским захватчикам. Материалы, приведенные в работе этого автора, являются интересным источником для изучения освободительной борьбы корейского народа в 1895—1896 гг. Так, например, Альфтан сообщал, что в городе Пукчхэне «Прибывавшие сюда японцы-съемщики обратились к местному куньшу (правитель уезда.— *Г. Т.*) с требованием отвести им под постой здания. Почтенный куньшу ни за что не согласился дать на это свое согласие... корейцы в большом числе обступили японцев, подсмеивались над ними, ругали их и начали даже бросать в них камнями». «Положение японских съемщиков сделалось здесь настолько опасным, что 8 января сего года из Гензана (Вонсан.— *Г. Т.*) было послано 30 человек солдат в Пукчхэн в качестве конвоя съемщикам»[1].

Будучи свидетелем антияпонских настроений корейцев, Альфтан отмечал, что «...во всей стране трудно было найти уголок, где бы не говорили о японцах с ненавистью и где на них не сваливали бы вину за все несчастья, которые постигли родину, где бы не горела фанатическая ненависть к этим незванным пришельцам»[2].

По данным Альфтана ясно видно, что не только городская беднота и крестьянство, но даже и отдельные янбани выступали против японского засилья в Корее[3]. Автор знакомит читателя с разнообразными формами сопротивления корейского народа ненавистным колонизаторам: убийства японцев, отказ работать на них, массовый уход населения из городов и деревень, захваченных оккупантами[4].

Альфтан близок к правильной оценке японской захватнической политики в Корее. По его мнению, «вторгшись в страну без всякого с ее стороны повода к тому, японцы, по мере роста своих боевых успехов, постепенно меняют свой взгляд на Корею. Она уже перестала быть для них только страною, в которой происходят первые столкновения японских войск с китайскими. По мере того, как японцы наводнили Корею своими войсками, кулями и торговцами, они уже стали добиваться, чтобы Корея,

---

[1] «Сборник материалов по Азии», вып. 69, стр. 15—16.
[2] Там же.
[3] См. там же, стр. 67—68.
[4] См. там же, стр. 67—68 и др.

хотя пока и самостоятельная по имени, стала бы де-факто в подвассальные отношения к Японии. Они требовали, чтобы все административные распоряжения, начиная с самых мелких и кончая самыми крупными, делались с их одобрения. Всем этим они намеревались пропитать страну японским духом, чтобы дальнейшее слияние этих двух народов произошло бы со временем само собой, не прибегая более к открытой силе»[1].

Хотя Альфтан сумел показать основные цели японских милитаристов в Корее, их захватнические методы и колонизаторские планы, но в силу своей классовой ограниченности он сделал ошибочный и совершенно необоснованный вывод о возможности «слияния этих двух народов».

Альфтан подробно описывал, какими мерами японские колонизаторы стремились подчинить всю страну своему влиянию[2]. Он неоднократно подчеркивал, что японо-китайская война принесла только голод и разорение корейскому народу. «Зима 1895—1896 гг. была особенно тяжела для корейского народа. Из опасений, что военные действия продолжатся, много полей осталось незасеянными, во время самой войны поля оставались неубранными... все это тяжело отозвалось на благосостоянии народа и вызвало положение близкое к голоду»[3].

Свидетель жгучей ненависти народных масс Кореи к японским захватчикам, Альфтан наблюдал совершенно иное отношение к русским. «Везде,— писал он,— в разговоре (с корейцами.— *Г. Т.*) совершенно откровенно обсуждалось безвыходное положение Кореи, и корейцы давали полную волю своему нерасположению к японцам и видели свое единственное избавление во вмешательстве России»[4]. Автор приводил много примеров проявления со стороны корейцев знаков внимания и уважения по отношению к нему, как представителю русского народа.

При известии о прибытии русских в каждой корейской деревне сразу же собиралась толпа народа. «Как только мы доходили до фанзы, выбранной под ночлег, многочисленная толпа уже запружала весь двор,— писал Альфтан.— На каждом ночлеге мы приобретали друга — покровителя, который ... клялся в своей ненависти к японцам и в своей симпатии к русским»[5].

---

[1] См. «Сборник материалов по Азии», вып. 69, стр. 69.
[2] Там же, стр. 69, 70, 71, 72.
[3] Там же, стр. 73.
[4] Там же, стр. 74.
[5] Там же, стр. 13—14.

Однажды, вспоминает Альфтан, один из встретившихся на пути корейцев «в самых теплых словах выражал свою радость по поводу встречи с русскими, которых он так любит. Этими простыми и идущими от сердца словами и знаком внимания ко мне как русскому этот кореец глубоко тронул меня и я долго буду вспоминать и благодарить его мысленно за то отрадное чувство, которое я испытывал, беседуя с ним»[1].

Автор наблюдал, как «почти в каждом селении верст на 100 от нашей границы» можно было встретить корейцев, хотя бы немного говоривших по-русски и здоровавшихся с Альфтаном. В приветствии каждого корейца ясно было видно искреннее доброжелательство по отношению к русским людям[2].

Альфтан пытался объяснить причину такого отношения к русским. По его мнению, «Народ на севере (корейцы.— *Г. Т.*), находясь в постоянных сношениях с нами, уже успел привыкнуть к нам. Много корейцев побывало у нас в Уссурийском крае, заработали здесь кое-какие деньги и, вернувшись обратно к себе, добром вспоминают наш край»[3]. Со своей стороны, автор высоко отзывался о корейском трудовом народе. «Не легко добывается хлеб в Корее... тут воочию убеждаешься в силе нужды в Корее и трудолюбии корейца. Запахиваются такие крутости, взобраться на которые кажется просто немыслимым, а не то чтобы обрабатывать их»[4].

В работе Альфтана имеется обильный материал о торговле, состоянии дорог, судопроизводстве, полезных ископаемых, быте и обычаях корейцев. Автор, с одной стороны, выражая свою симпатию угнетенным классам Кореи, в то же время иногда делает неверные выводы, противоречащие приводимым им самим данным о массовом антияпонском движении корейского народа. Так, например, Альфтан утверждал, будто характер корейцев настолько «мягок и гибок», что они «безусловно неспособны проявить себя решительно и энергично, даже когда самые жизненные их интересы попраны»[5].

Это было написано, когде еще не утихли отголоски массового крестьянского восстания, потрясшего королевство в 1893—1894 гг., и по всей стране действовали партизанские отряды «Армии справедливости» (Ыйбен)[6].

---

[1] «Сборник материалов по Азии», вып. 69, стр. 74.

[2] См. там же, стр. 63.

[3] Там же, стр. 83.

[4] Там же, стр. 27.

[5] Там же, стр. 45.

[6] Ыйбен — название партизанского движения против иноземных захватчиков, ыйбен — или в переводе добровольческая армия — не-

Об освободительной борьбе корейского народа писал не только Альфтан, но и другие русские путешественники.

Как уже указывалось выше, в конце 1895 г. и в 1896 г. Корея была охвачена пламенем всенародного движения против японского оккупационного режима. К сожалению, советские историки располагают до сих пор еще только крайне отрывочными и неполными сведениями об этом важном периоде освободительной борьбы корейского народа. В этих условиях особую ценность приобретают воспоминания полковника Карнеева и поручика Михайлова об их поездке по Южной Корее в 1895—1896 гг.

Экспедиция полковника Карнеева 22 ноября 1895 г. отплыла из Владивостока на пароходе «Хэйнан». 7 декабря путешественники прибыли в Нагасаки и направились в Пусан, а из Пусана в Сеул. Оттуда они двинулись в Кончжю, по дороге посетив порт Инчхон (Чемульпо) и Сувон. Далее экспедиция прошла на крайний юг Кореи в провинцию Чолла, город Начжю и обратно через порт Мосанпхо в Пусан. Всего было пройдено более двух тысяч верст. Путешественники побывали в 72 городах и более чем в трех тысячах деревень.

Карнеев и Михайлов посетили самые отдаленные южные районы страны. Они были в провинциях, охваченных антияпонским восстанием, и явились свидетелями исключительного героизма корейского народа, его беспредельной любви к родине и ненависти к японским захватчикам. Наряду с интересными сведениями о корейских городах и деревнях, пройденных путешественниками, они нарисовали яркие картины положения в стране после заключения Симоносекского договора и, на основании рассказов корейцев, описали события, происшедшие еще до прибытия их в Корею.

8 октября 1895 г. японскими милитаристами была зверски убита корейская королева Мин, возглавлявшая дворянскую оппозицию Японии. Важно отметить, что Карнеев и Михайлов одни из первых выступили с гневным протестом против этого кровавого преступления японских убийц в дипломатических мундирах, в то время как японские и американо-английские авторы старательно распространяли версию о якобы происшедшем в Корее «местном» инциденте или даже, не входя в объяснения, сообщали, что «внезапно умерла корейская королева»[1].

имела единого руководства, действия ее были стихийны, разрознены; по существу эта армия представляла собой самостоятельно действующие партизанские отряды.

[1] Сидехара Хироси. Тесен сива. Токио, 1932, стр. 11.

Карнеев и Михайлов с возмущением писали о зверском убийстве: «Совершилось событие беспримерное по своей наглости. Никогда не бывало, чтобы в мирное время люди чужой нации, под покровительством и даже под руководством своего войска, а может быть и миссии, врывались толпами во дворец короля, убивали королеву, сжигали ее тело и после целого ряда гнусных убийств и насилий самым наглым образом осмеливались отрицать то, что было сделано на глазах у всех»[1].

В работе Карнеева и Михайлова мы находим ценнейшие сведения о действиях партизанских отрядов — «Армии справедливости». Авторы дали яркое представление о размахе народного сопротивления японским захватчикам в 1895—1896 гг., показали численность (хотя и приблизительную) бойцов отрядов Ыйбен и районы действия партизанских отрядов.

Русские авторы воочию увидели, что означает оккупационная политика Японии в Корее, ее колонизаторские методы и приемы. Они подробно описывали всеобщее народное движение за свободу и независимость своей родины, направленное против японских поработителей. С глубоким сочувствием наблюдали они сопротивление, оказываемое корейцами японским захватчикам. «Своими распоряжениями кабинет (прояпонский.— *Г. Т.*) обнаружил отсутствие такта... он нарушал народные обычаи, формы одежды и проч. Реформы приводят в исполнение насильственно, с жестокостью, которая только озлобляла народ»[2]. Антияпонское движение авторы рассматривали как протест «...людей всех классов... восстание вспыхнуло повсюду»[3].

Карнеев и Михайлов не побоялись посетить не только районы, охваченные восстанием, но даже побывали и в штабе партизанского движения, несмотря на лицемерные предостережения американских миссионеров. Русские исследователи Кореи хорошо знали, что ненависть корейского народа направлена против их врагов — японцев и американцев, а не против русских.

По этому поводу Карнеев писал: «Сообразив все до сих пор виденное и слышанное, не предвидя конца разным опасностям, которыми нас пугали, и не желая лишиться возможности видеть Мокпхо, я решил отправить поручика Михайлова

---

[1] Поездка генерального штаба полковника Карнеева и поручика Михайлова по Южной Корее в 1895—1896 гг. «Сборник материалов по Азии», вып. 75, стр. 53.

[2] «Сборник материалов по Азии». Вып. 75, стр. 55.

[3] Там же.

в Фусан (Пусан.— *Г. Т.*), а сам через Начжю итти в Мокпхо». В качестве же предосторожности было решено «посылать вперед извещать... что идут русские путешественники»[1]. Этого было вполне достаточно, чтобы обеспечить безопасность экспедиции. И, действительно, из штаба Ыйбен выслали специальную охрану для встречи экспедиции. Командир охраны сказал Карнееву, что «... повстанцы высланы начальником встретить русского путешественника, которого просят быть гостем»[2].

Карнеев подробно описал свои впечатления от посещения им штаба «Армии справедливости» и неоднократно подчеркивал, что единственной целью повстанцев было изгнание японцев. «Я,— писал Карнеев,— выразил полное сочувствие их патриотическим стремлениям»[3].

В отрядах восставших царила строгая дисциплина и организованность, поразившая русских.

Карнеев и Михайлов привели многочисленные факты, свидетельствующие о страхе японских захватчиков перед силами народа, рассказали о героическом наступлении партизанских отрядов на Сеул и паническом отступлении правительственных и японских войск.

Наряду с большим фактическим материалом по истории освободительной борьбы корейского народа в 1895—1896 гг. в работе Карнеева и Михайлова имеются важные сведения о методах проникновения американского империализма в Корею. Известно, что с начала 80-х годов XIX в. из США стали прибывать все в бо́льшем числе миссионеры. Замечание В. И. Ленина о том, что европейцы, действовавшие в Китае, «лицемерно прикрывали политику грабежа распространением христианства»[4], целиком относится и к миссионерам в Корее. Американское правительство, возлагая большие надежды на деятельность своей агентуры в Корее, старалось создать для них наилучшие условия. Карнеев и Михайлов отмечали, что «миссионеры (американские.— *Г. Т.*) хорошо обставлены: пресвитериане получают жалованье: семейные — 1350 американских долларов и 100 долларов на каждого ребенка в год. Кроме того, они имеют квартиры и получают на обстановку, женатые — 600 и холостые 300 долларов»[5]. Карнеев считал,

---

[1] «Сборник материалов по Азии», вып. 75, стр. 75.
[2] Там же, стр. 78.
[3] Там же, стр. 79.
[4] В. И. Ленин. Соч., т. 4, стр. 348.
[5] «Сборник материалов по Азии», вып. 75, стр. 72.

что американское правительство больше других проявляло «заботу» о своих миссионерах в Корее[1].

Авторы показали тот значительный размах, который приобрела деятельность американских агентов — миссионеров. По их далеко не полным, данным, к 1895 г. эти миссионеры содержали в Сеуле типографию, больницы с аптекой, четыре школы для мальчиков и две — для девочек с пансионом; в Пусане одну школу для мальчиков и больницу; в Вонсане — одну школу для мальчиков и две — женских, в Пхеньяне одну школу и больницу[2].

В книге имеются приложения, содержащие большой фактический материал о корейских войсках, школах, телеграфах, таможнях, торговле. Излагая свои наблюдения, авторы попутно разоблачали захватническую политику Японии, стремившейся подчинить своему влиянию все отрасли корейской экономики.

Основным серьезным недостатком работ Карнеева и Михайлова, так же как и Альфтана, является то, что все антияпонское освободительное движение корейского народа нередко сводится ими к протесту против отдельных японских «реформ» (изменение мужских национальных причесок, укорачивание полей шляп и трубок). Они не сумели понять сущности и полностью оценить силы освободительного движения корейского народа.

Приводя интереснейшие данные о том, как американские империалисты насаждали свою агентуру для осуществления своих политических притязаний, авторы неожиданно пришли только к такому «невинному» выводу, что США «заботились о своих миссионерах в Корее».

Большой интерес представляют материалы путешествия известного русского писателя — инженера Николая Георгиевича Гарина-Михайловского, одного из русских путешественников-исследователей Кореи в дореволюционное время.

Экспедиция, организованная Гариным-Михайловским, ставила целью географическое исследование страны, главным образом горы Пектусан и истоков реки Амноккан и Сунгари. Научные результаты ее вошли в сводный труд Н. Гарина «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову»[3].

---

[1] «Сборник материалов по Азии», вып. 75, стр. 73.
[2] Там же.
[3] Н. Гарин. По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову. СПб., 1904, 384 стр.; сокращенное издание под названием «Из дневников кругосветного путешествия (по Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову) М., Географгиз. 1949, стр. 402.

Эта работа в части, касающейся Кореи, представляет несомненно большой интерес не только для географов, но и историков, этнографов и даже филологов-кореистов.

С большим художественным мастерством Н. Г. Гарин рисует яркие картины, изображающие жизнь и быт корейцев. С исключительной теплотой и глубокой симпатией автор говорит о трудовом народе Кореи. «Корейцы честные, благородные, умные, культурные». И далее. «Не устаешь перечислять достоинства кротких людей этой нации... И всякий, кто пробудет с ними, не сомневаюсь, полюбит их так же, как полюбили мы»[1].

Гарин неоднократно подчеркивал исключительное гостеприимство корейцев, их ум и правдивость. Корейцы повсюду тепло встречали русских, понимая огромное значение укрепления связей русского народа с Кореей. «Имя русского в Корее священно,— сказал как-то Гарину куншу г. Ычжу.— Слишком много для нас сделала Россия и слишком великодушна она, чтобы мы не ценили этого. Русский самый дорогой наш гость»[2]. Автор на конкретных примерах показал жгучую ненависть корейского народа к японским захватчикам.

В работе Гарина собран большой, разнообразный материал по фольклору, замечательные корейские легенды и сказки, рассказывающие о произволе продажных королевских чиновников, направленные против короля и его министров. В корейском фольклоре нашли выражение и гневный протест народных масс против феодального гнета и их мечты о лучшей жизни.

Н. Г. Гарина как и других русских, побывавших в Корее, поразила бедность ее населения, отсталость сельскохозяйственной и прочей техники. Однако в рассматриваемой работе Н. Г. Гарин не попытался дать какое-либо объяснение этим явлениям.

* * *

Конец XIX и начало XX столетия характеризуются еще большим обострением борьбы империалистических хищников за разграбление Дальнего Востока.

Русско-японская война, развязанная японскими милитаристами, и последовавшая в 1904 г. оккупация Кореи японскими войсками прервали исследовательские работы русских

---

[1] Н. Гарин. По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову. СПб., 1904, стр. 230.

[2] Там же, стр. 231.

экспедиций. Установление японского протектората (1905—1910 гг.), а вслед за этим и аннексия Кореи японскими милитаристами (1910) сделали совершенно невозможным дальнейшее исследование Кореи русскими учеными.

Наряду с ценнейшим вкладом в востоковедческую науку русских путешественников — исследователей Кореи необходимо отметить и ряд работ, принадлежащих перу тех русских, которые не были в Корее, но сделали много для изучения ее памятников.

Среди этих трудов в первую очередь нужно остановиться на переводе «Уложения законов Кореи», опубликованного в 1889 г. Дмитриевским, русским консулом в Японии. Перевод «Уложения законов Кореи» был сделан Дмитриевским как приложение к запискам о Корее японца Отано Кигаро, переводчика при окружном управлении на острове Цусима. О своей работе Дмитриевский писал: «Для разъяснения и дополнения текста перевода я счел необходимым присоединить к нему подстрочные примечания и указания на разные сочинения о Корее на китайском и европейских языках»[1].

Огромная заслуга Дмитриевского состоит не только в том, что он перевел на русский язык интересные записки Отано Кигаро о Корее, но главным образом в том, что он снабдил эти записки переводом корейского «Уложения Законов», т. е. свода законов Кореи 1785 г.

Этот ценнейший документ является уникальным памятником для изучения социально-экономических отношений новой, а отчасти и средневековой истории Кореи. Заслугу Дмитриевского трудно переоценить, так как сделанный им перевод Уложения Законов проливает свет на самые сложные и почти не исследованные проблемы корейской истории и экономики и позволяет составить примерную картину социально-экономических отношений в Корее в XVIII и первой половине XIX в. Там мы находим важнейшие сведения о формах землевладения и налоговой системе.

Среди работ русских авторов по Корее особое место занимает обширное «Описание Кореи» (в 3-х томах), изданное в 1900 г. министерством финансов и являющееся своеобразной энциклопедией знаний по истории, экономике, географии и этнографии этой страны. В ней содержатся также разделы, в которых изложены данные о населении, государственном устройстве и финансах, о вооруженных силах, администрации, суде и религии.

[1] См. «Зап. Русск. географ. о-ва по общей географии», т. XII, № 4. СПб., 1889.

«Описание Кореи» подготовлено по материалам, собранным русскими исследователями Кореи (Альфтан, Делоткевич, Вебель и др.), и явилось как бы завершением многолетнего труда русских исследователей и ученых, занимавшихся изучением Кореи. Эта работа до сих пор не утратила своего значения для ознакомления с историей, экономикой и географией Кореи.

В первом томе имеется краткий, но насыщенный большим фактическим материалом очерк истории Кореи с древнейших времен до конца XIX в. Автор очерка особенно внимательно изучал новую историю Кореи. Основную причину, явившуюся серьезной помехой на пути упрочения японского влияния в Корее, он видел «в непримиримой национальной ненависти корейцев к японцам». Анализируя японскую политику в Корее, автор обходится без обычных для многих иностранных историков лживых фраз о «цивилизаторской миссии Японии в Корее». Он развенчивает воспетую апологетами империализма захватническую политику японских милитаристов, их «реформы».

В очерке есть сведения о прямой связи американских миссионеров с предателями корейского народа, из числа корейских феодалов, сотрудничавших с японцами. Однако автор не делает из этого никаких выводов.

К числу положительных сторон очерка необходимо отнести то, что, говоря о крестьянском восстании 1893—1894 гг. (восстание тонхаков), автор правильно отметил его антифеодальную направленность. Хотя это определение одностороннe и хотя автор умолчал об антияпонском характере восстания, все же он не пошел по пути английских и американских буржуазных историков, стремившихся свести массовое народное движение к выступлению «какой-то политической партии»[1].

«Описание Кореи» остается наиболее серьезным из трудов по Корее, составленных буржуазными авторами не только в русском, но и в зарубежном востоковедении.

В заключение краткого очерка, характеризующего основные работы русских, посетивших Корею в 80—90 годах XIX и в начале XX вв., необходимо подчеркнуть, что изложенный материал свидетельствует о большой ценности этих работ для изучения истории Кореи и показывает, какой широкий круг проблем по истории Кореи может быть исследован с помощью этих источников. Их изучение должно привлечь внимание советских востоковедов, занимающихся историей Кореи, и стать для них одной из важных исследовательских задач.

---

[1] См. Papers relating to the foreign relations of the United States, 1893.

В. А. РОМОДИН

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ АФГАНЦЕВ И АФГАНИСТАНА В РОССИИ

В своей работе «История изучения Востока в Европе и в России» В. В. Бартольд дал очень невысокую оценку всему, что было сделано в России для изучения афганцев и Афганистана.

Правда, эта оценка Бартольда выражена не прямо, а в форме сравнения. Заметив, что «участие русских путешественников и исследователей в деле изучения Индии» было менее значительно, чем в изучении Средней и Восточной Азии, он переходит затем к Афганистану, утверждая, что «еще меньше сделано в России для изучения Афганистана и афганцев, несмотря на то, что в С.-Петербургском университете некоторое время (1855—1857 гг.) читались лекции по афганскому языку академиком Дорном, еще раньше (в 1847 г.) издавшим в С.-Петербурге, хотя и под английским заглавием, первую афганскую хрестоматию»[1].

Далее Бартольд приводит в хронологическом порядке названия некоторых источников, составленных русскими путешественниками, побывавшими в Афганистане. Приведенный им перечень далеко не полон, а из исследований, посвященных Афганистану и афганцам, упомянуты только работы Н. А. Аристова[2]. Возможно, что с некоторыми русскими источниками и исследованиями по этой стране Бартольд был незнаком или имел о них неполное представление[3].

---

[1] В. В. Бартольд. История изучения Востока в Европе и в России. СПб., 1911, стр. 243; Л., 1925, стр. 279.

[2] В. В. Бартольд. Ук. соч., 1911, стр. 244, см. также стр. 130.

[3] Со свойственной этому большому ученому добросовестностью и скромностью, В. В. Бартольд сам оговаривает в предисловии к цитированной его работе неполноту охвата материала по тем странам, по которым он не считал себя специалистом.

Так или иначе, но В.В. Бартольд и в своей оценке, и в изложении материала невольно обеднил и преуменьшил результаты работы по изучению афганцев и Афганистана в России. В частности, это, несомненно, произошло и потому, что он (по краткости изложения) ограничился перечнем некоторых источников, без какой бы то ни было конкретной характеристики их.

В действительности же в дореволюционной России были ученые, которые серьезно занимались изучением Афганистана и населяющих его народов, в частности самих афганцев. Некоторые из этих ученых посвятили афганцам, их истории, языку и этнографии специальные исследования, другие (в том числе и сам В. В. Бартольд), занимаясь изучением соседних с афганцами народов, установили отдельные факты, касающиеся, однако, существенных вопросов изучения афганцев.

Правда, от отечественной науки прошлого советской афганистике досталось далеко не столь большое по объему наследство, как во многих других областях востоковедения. Но по своим результатам исследования представителей русского буржуазного востоковедения XIX в. в области изучения афганцев нередко превосходят то, что было сделано их современниками в Западной Европе. Это, конечно, не случайно и объясняется общим подъемом и расцветом русской культуры, науки и искусства в XIX в.

Востоковедение того времени, хотя и не было в целом передовой отраслью русской науки, все же также дало немало талантливых ученых; некоторые из них проявили себя и в области афганистики. Работы акад. Б. А. Дорна, труд проф. В. В. Григорьева «Кабулистан и Кафиристан», работы Н. В. Ханыкова и книга Н. А. Аристова «Англо-индийский Кавказ» принадлежат к числу самых ценных исследований XIX в., посвященных афганцам.

Критическое освоение наследства, оставленного нашей науке отечественным востоковедением XIX в., поможет советским исследователям создать подлинно научную историю народов, населяющих нынешний Афганистан. Советские востоковеды имеют все возможности для выполнения этой задачи, ибо они опираются на единственно правильный метод, метод марксизма-ленинизма. Вооруженные этим методом, они сумеют взять все ценное от дореволюционного русского востоковедения, выявляя и преодолевая ошибки его представителей, вызванные их ограниченностью как буржуазных ученых.

Изучая историю русского востоковедения, мы должны поэтому определить, что́ в нем ценно для нас, что́ можно и должно использовать и что́ нужно отбросить или пересмотреть.

Ясно, что для успеха своей дальнейшей работы советские востоковеды обязаны не только критически отнестись к объяснениям и оценкам событий и явлений, содержащихся в трудах дореволюционных русских исследователей, но также постоянно дополнять и пересматривать имеющийся в них фактический материал, привлекая вновь выявленные источники, используя все новое, накопленное наукой, прежде всего, исследования и открытия советских ученых[1].

Настоящая статья представляет собою попытку дать краткий обзор основных исследовательских работ представителей отечественного востоковедения XIX в., посвященных изучению афганцев и Афганистана.

Ограничивая этим свою задачу и отказываясь от попытки сколько-нибудь подробного рассмотрения русских источников по Афганистану и афганцам, автор настоящей статьи должен хотя бы упомянуть основные из них, должен подчеркнуть их ценность. Это необходимо как для того, чтобы дополнить сильно урезанный Бартольдом перечень, так и для того, чтобы у читателя не создалось ошибочного представления, будто вклад русских ученых и путешественников в изучение Афганистана ограничивается исследованиями XIX в., обзор которых дан в настоящей статье.

Прежде чем перейти к источникам XIX в., следует заметить, что серьезный интерес к афганцам проявлялся в России еще в XVIII в. Уже тогда был начат систематический обзор сведений об этом народе, а упоминания и некоторые данные о них можно найти и в более ранних русских источниках, в архивных документах допетровского времени. Для примера можно сослаться на упоминание об афганцах, содержащееся в делах

[1] Большое значение для дальнейшего развития советского востоковедения имеют критические переиздания трудов крупнейших представителей отечественной науки прошлого с дополнениями и комментариями советских ученых. Это полезное и нужное дело начато переизданием работы Иакинфа Бичурина (И. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Изд. АН СССР, М.—Л., 1950). Думается, что наступило время и для нового издания капитального труда В. В. Бартольда «Туркестан в эпоху монгольского нашествия», с дополнениями, внесенными автором в английский перевод этой книги (Turkestan down to the mongol invasion. Second edition translated from the original Russian and revised by the author with the assistance of N. A. R. Gibb. 1928. «Gibb Memorial Series»). Достойно сожаления, что второе (дополненное) издание работы, которой может по праву гордиться русская наука, вышло только за рубежом и в иностранном переводе. Для третьего издания у нас в СССР должны быть использованы неопубликованные материалы из архива Бартольда, а также дан комментарий с учетом достижений советского востоковедения за 20 с лишним лет, прошедших после смерти автора.

о посольстве князя Козловского, выехавшего в Персию в 1646 г. С этим послом царь Алексей Михайлович отправил гонцов: казанского купца Никиту Сыроежина и астраханского жителя Василия Тушканова. Сыроежин и Тушканов должны были проехать дальше в Индию и доставить великому моголу Шах-Джехану грамоту от Московского царя. Однако персидский шах отказался дать провожатых русским гонцам, что было равносильно отказу пропустить их через свои владения в Индию.

Несмотря на настойчивые просьбы князя Козловского, он все же получил от шахских властей официальный отказ. «... И шахово величество царского величества гонца в Индию пропустить не велел, для того, что меж Индейскими и Туркустанскими государями учинилась драка и ссоры в Индейских украйных местах: адганские люди торговым людям учинили шкоды и иных людей побивают; и для того шах Абассово величество гонца отпустить на посольскую волю положил, а провожатых людей дать с теми гонцами не позволил, для того, что в индейских и украинских местах ссора учинилась...»[1]

Систематический сбор сведений об афганцах был начат по инициативе Петра I. В архиве его личной канцелярии хранятся материалы о них, собранные в 1720-х годах, когда обстановка на Среднем Востоке и политические интересы России вызвали внимание Петра к афганцам. Это было время гильзайского завоевания в Персии и турецкой агрессии на Среднем Востоке, время борьбы афганских феодалов и турецких феодалов, соперничавших друг с другом в грабежах и захватах[2].

В делах канцелярии Петра I содержатся не только донесения русских дипломатов того времени, но и сведения, доставленные путешественниками — армянскими купцами, переведенные для него на русский язык. На некоторых документах об афганцах сохранились личные пометки Петра. После смерти Петра интерес русских политических деятелей к афганцам не прекратился. В русских архивах имеются, в частности, данные об Афганистане времени правления Ахмед-шаха (1747—1773). Материалы личной канцелярии Петра I и последующие данные об афганцах и Афганистане, хранящиеся в русских архивах XVIII в., еще ждут своего исследователя.

---

[1] А. Малиновский. Известие об отправлениях в Индию Российских посланников, гонцов и купчин с товарами и о приездах в Россию индейцев с 1469 по 1751 год. «Труды и летописи Общества истории и древностей Российских», ч. VII, М., 1837, стр. 139.

[2] Гильзаи — одно из крупнейших афганских племен. Гильзайские феодалы захватили Исфаган, столицу Персии, в 1722 г. Династия афганских (гильзайских) шахов находилась у власти в Персии до 1729 г.

В начале 1790-х годов в Афганистане и в Средней Азии побывал Хрисанф, митрополит Новопатрасский. Он оставил любопытные записки, в которых отражены впечатления очевидца и краткие, но весьма интересные сведения о «Кабуле, владении афганского государя», о «Коестане» (Кохистане) — горной области, находящейся между Гератом и Кабулом, о «Бухарии» (в том числе о Балхе в Южном Туркестане) и т. д. Сведения эти содержатся в «Записке», поданной митрополитом Хрисанфом князю Зубову в 1795 г. «Записка» опубликована В. В. Григорьевым, составившим примечания и написавшим введение к изданию этого памятника[1].

Важнейшим источником для истории осады Герата в 1837 г. являются соответствующие главы воспоминаний И. Ф. Бларамберга, офицера русской службы, находившегося с персидскими войсками под стенами Герата[2].

Для изучения Гератской провинции много было сделано русской экспедицией в Хорасан (1858—1859 гг.), во главе которой стоял талантливый востоковед Н. В. Ханыков. Он впервые дал научное описание архитектурных и исторических памятников Герата, исследовал их и составил «археологическую карту» этого города, а также провел большую работу по собиранию этнографических и антропологических материалов о населении Гератской провинции. При этом больше всего внимания русский исследователь уделил изучению таджиков, исконных и древних насельников долины Герируда[3].

В планы Хорасанской экспедиции входили также дальнейшие исследовательские работы в южной части Афганистана, в собственно афганских областях, издавна населенных этим

[1] Хрисанфа митрополита Новопатрасского о странах Средней Азии, посещенных им в 1790 годах. Издал с введением и примечаниями В. В. Григорьев. М., 1861 (из «Чтений Общества истории и древностей Российских при Московском университете», 1861 г.).

[2]. И. Ф. Бларамберг. Erinnerungen aus dem Leben des kaiserlich russischen General-Lieutenant Johann von Blaramberg, nach dessen Tagebüchern von 1841—1871 hrsg. von Emil von Sydow. Berlin, 1872—1875, т. I—III.

[3] Результаты Хорасанской экспедиции отражены в двух работах Н. В. Ханыкова: «Mémoire sur la partie méridionale de l'Asie Centrale», 1861 г.; «Mémoire sur l'ethnographie de la Perse», 1866, опубликованных в «Mémoires de la Société de Géographie de Paris». См. также дополнения Н. В. Ханыкова к его же переводу книги К. Риттера. Землеведение Азии. Иран. СПб., 1874. Немалый интерес представляют корреспонденции Н. В. Ханыкова из Хорасана во время проведения экспедиции, печатавшиеся в различных периодических изданиях того времени. О памятниках старины Герата см. письмо Н. В. Ханыкова к французскому ориенталисту Рейно, опубликованное в «Journal Asiatique», 1860, т. XV, стр. 537—543.

народом. Но, по настоянию англичан, афганский эмир запретил экспедиции Н. В. Ханыкова проезд в Кандагар. Англичане крайне ревниво относились к посещению русскими исследователями пограничных с Индией районов и делали все, чтобы не допускать русских ученых к изучению центральных и южных областей Афганистана. Это надо всегда иметь в виду, рассматривая и характеризуя русские источники об Афганистане. Но если русским ученым был прегражден доступ к изучению южных районов Афганистана, то в северную часть этой страны им все же удавалось попадать, вопреки противодействию англичан.

Имеющиеся русские источники XIX в. и относятся, главным образом, к левобережью Аму-Дарьи, территориям, ныне входящим в пределы северного Афганистана. Для этой части Афганистана именно русские источники XIX в. следует поставить на первое место; они превосходят английские как по доброкачественности содержащегося в них материала, так и по количеству и полноте его охвата. Материалы русских авторов, побывавших в Афганистане, выгодно отличаются от соответствующих описаний англичан своей точностью и достоверностью. Большинству русских авторов чуждо было высокомерно-презрительное отношение к восточным народам, свойственное английским историкам и этнографам. В большинстве своем русские путешественники, побывавшие в Афганистане, отзывались с искренней симпатией о местных жителях, проявляя особое внимание к жизни и быту народа.

Записки, воспоминания и отчеты русских, побывавших в Афганистане в прошлом веке, относятся преимущественно к последней четверти XIX в.[1] В них содержатся важные для историков сведения, касающиеся таджиков, узбеков и туркмен Южного Туркестана (левобережья р. Аму-Дарьи), земли которых в 50—90-х годах XIX в. были завоеваны афганскими феодалами, действовавшими под влиянием и при поддержке британских колонизаторов[2].

Упомянутое В. В. Бартольдом описание путешествия по Бухаре и Афганистану доктора Яворского, сопровождавшего

---

[1] Обзор этих источников см. в защищенной в 1951 г. в Институте востоковедения АН СССР кандидатской диссертации Н. И. Семеновой: Афганское завоевание левобережья Аму-Дарьи (из истории южных узбеков, таджиков и туркмен XIX в.).

[2] Британские колонизаторы стремились расширить территорию Афганистана за счет Средней Азии (Туркестана). Афганистан англичане считали своей верной добычей, а за преобладание в Средней Азии вели упорную борьбу с царизмом и строили планы захватов не только Бухары, но и Хивы и Коканда.

посольство генерала Столетова в Кабул (1877—1878 гг.), является ценным источником не только для истории русско-афганских дипломатических отношений[1]. В этом описании содержатся сведения очевидца о внутренней жизни Афганистана того времени, в частности о положении в только что захваченных афганскими феодалами ханствах левобережья Аму-Дарьи, населенных узбеками и таджиками, через земли которых лежал путь русского посольства.

В 1877—1878 гг., перед началом второй англо-афганской войны, на левобережье Аму-Дарьи побывали русские офицеры Гродеков и Матвеев[2].

Русский офицер Г. А. Арандаренко, около 20 лет прослуживший в Средней Азии и проявивший себя серьезным ученым-исследователем, собрал подробные сведения о бедственном положении местного населения в землях левобережья Аму-Дарьи во время второй англо-афганской войны; часть его материалов опубликована[3].

Арандаренко приводит содержание многочисленных петиций жителей земель левобережья Аму-Дарьи, захваченных афганцами. Во многих петициях выражается желание перейти в русское подданство; содержатся жалобы жителей левобережья русским чиновникам и офицерам на притеснения афганских властей. Сведения, собранные Арандаренко, существенным образом дополняют данные о народах северного Афганистана, имеющиеся в описаниях Гродекова и Матвеева.

Из числа неопубликованных материалов несколько более позднего времени следует указать на отчет капитана Трусова (1885 г.), также побывавшего на левобережье Аму-Дарьи[4].

О событиях, связанных с решением судеб Памира (1880—1890 гг.), имеется также немало русских источников, освещающих положение в памирских ханствах и содержащих сведения о населении этих горных областей[5].

---

[1] И. Л. Яворский. Путешествие русского посольства по Авганистану и Бухарскому ханству, т. I и II, СПб., 1882—1883.

[2] Н. И. Гродеков. Через Афганистан. СПб., 1880; Матвеев. Поездка полковника Матвеева по Бухарским и Афганским владениям. «Сборник материалов по Азии», вып. V.

[3] Г. А. Арандаренко. Досуги в Туркестане. СПб., 1889. Часть материалов Арандаренко не издана и хранится в архивах.

[4] ЦГВИА, ф. ВУА, д. 56046, ч. II.

[5] Г. Ш. Путята. Очерк экспедиции Г. Ш. Путята в Памир, Сарыкол, Вахан и Шугнан в 1883 г. «Сборник материалов по Азии», вып. X, 1884; Б. Л. Громбчевский. Современное положение памирских ханств. Новый Маргелан, 1891; Серебренников. Очерки Шугнана. «Сборник материалов по Азии», вып. 70, 1896.

Переходя к исследовательским работам представителей русского востоковедения XIX в., следует подчеркнуть, что первые печатные материалы, посвященные изучению Афганистана и населяющих его народов, в частности самих афганцев, появились впервые именно в России еще на рубеже XVIII и XIX вв.[1]

Первые материалы по афганскому языку (пушту) и первые филологические работы об этом языке были изданы в Петербурге, в конце XVIII — начале XIX в., а первым ученым, поставившим исследование истории и филологии афганцев на прочную научную основу, был академик Б. А. Дорн. В XIX в. Афганистаном и афганцами в дальнейшем занимались и оставили ценные работы, касающиеся вопросов их истории и этнографии, русские востоковеды В. В. Григорьев и Н. В. Ханыков, военный писатель Л. Н. Соболев и этнограф Н. А. Аристов.

Б. А. Дорн (1805 — 1881) родился в Шейерфельде близ Кобурга, в Германии. В 1825 г. он окончил Лейпцигский университет, а с 1829 г. жил и работал в России. В России он нашел возможности для применения своих обширных познаний. В России он окончательно сложился как ученый, здесь развертывалась его научная и педагогическая деятельность.

Дорн обладал большими и глубокими познаниями в различных областях востоковедения. Его научные интересы были очень широки; он занимался языками народов Востока, историей и географией, преподавал в русских университетах арабский, персидский, турецкий, эфиопский и афганский (пушту) языки, изучал Кавказ и Иран, собирал лингвистические и исторические материалы во время поездок по областям юго-западного и южного побережий Каспийского моря и оставил большое количество научных трудов.

Используя все ценное в наследстве, оставленном нам учеными прошлого, вовсе не следует приукрашивать представителей официальной науки царской России. Находясь на службе в качестве профессора и академика, библиотекаря и директора Азиатского музея, Б. А. Дорн был представителем официальной, академической науки, и не более того. Подобно многим другим ученым своего времени, он писал и публиковал большинство своих работ на западноевропейских языках. Только в последний период жизни Дорна, в 1860-х и 1870-х

---

[1] Список афганских слов опубликован в книге Гюльденштедта «Reisen durch Russland», СПб., 1791; сборник статей Клапрота появился в 1810 г. См. В. Лившиц и И. Оранский. Изучение афганского языка (пушту) в Афганистане и за его пределами. «Ученые зап. ЛГУ». Сборник студенческих работ, вып. I, Л., 1949, № 117, стр. 179—180.

годах, некоторые его востоковедческие работы издавались и на русском языке (но они уже не относятся к области афганистики). В первые годы своей деятельности в России, в качестве профессора, Дорн читал лекции на латинском языке[1]. Используя работы Б. А. Дорна в области афганистики, в которой он был большим эрудитом, нужно помнить, что его исследования в этой области основаны только на письменных источниках, так как сам он в Афганистане не бывал.

Не ставя своей задачей дать полную и исчерпывающую характеристику Б. А. Дорна, как ученого, мы остановимся лишь на оценке его исторических работ, посвященных Афганистану и афганцам. Дорн впервые привлек к изучению истории афганцев источники на их языке. Главной его заслугой в области изучения истории афганцев являются переводы источников, написанных на фарси[2]. Переводы эти выполнены очень тщательно и с большим знанием дела, а в комментариях использованы и материалы на пушту. Вводя в науку большое количество фактов по истории народа, вызывавшего в то время большой интерес в России и в Западной Европе, Дорн преследовал в основном только одну цель — правильно описать факты и события и установить их хронологию. Он не ставил перед собой задачи объяснять историю афганцев. Поэтому его политические и философские взгляды не нашли сколько-нибудь ясного отражения в работах по истории афганцев. Чтобы судить об этих взглядах, надо брать работы Дорна на другие темы[3]. Критика восточных источников в работах Дорна по истории афганцев носит текстуальный, формально-сравнительный характер, направлена на выявление фактов и дат, на то, чтобы

---

[1] В Харьковском университете Дорн читал по-латыни эфиопскую филологию, разбирая тонкости древне-эфиопского языка. Повидимому, эти лекции были мало кому доступны. Они касались вопросов, очень далеких от того, что волновало и занимало тогда русских студентов. См. акад. И. Ю. Крачковский. «Очерки из истории русской арабистики». М.—Л., 1950, стр. 76.

[2] History of the Afghans translated from the Persian of Neamet Ullah by Bernhard Dorn, Ph. D. For M. R. A. A. M. T. C. and professor of oriental literature in the Imperial Russian University of Kharkov. London, 1829—1836, I—II; а также Beitrag zu der Geschichte des Afganischen Stammes der Jusufzey (отд. оттиск из «Бюллетеня Акад. Наук», 1838, т. VI, № 1—2).

[3] Необходимо отметить, что в некоторых своих позднейших работах, связанных с русской историей (в частности, в монографии о каспийских походах древних руссов), академик Б. А. Дорн выступал сторонником норманистской «теории», причем его аргументация в защиту взглядов «норманистов» носила тенденциозный, ненаучный характер.

отделить действительное от фантастического и легендарного. Ценность исторических трудов Б. А. Дорна об афганцах заключается, прежде всего, в фактической их стороне. В тех случаях, когда Б. А. Дорн сам устанавливает факты (на основании свидетельств различных источников), он дает, как правило, доброкачественный и достоверный материал. В иных случаях, когда он критикует версии и теории других авторов путем сопоставления их с данными источников, его изыскания также нередко сохраняют свое значение до сих пор.

Исторические работы Б. А. Дорна об афганцах посвящены средневековой истории этого народа, т. е. периоду, до настоящего времени еще очень мало разработанному в науке, и потому не потеряли своей ценности и в наши дни. Основной его работой по этому вопросу являются обширные комментарии к переводу «Истории афганцев» Ни'матуллы, написанной в начале XVII в.[1]

В своих комментариях Дорн критически рассмотрел ряд вопросов средневековой истории афганцев, в том числе и легенды о происхождении этого народа. Его вывод о вероятной автохтонности афганцев в районе Сулеймановых гор был принят большинством русских ученых XIX—XX вв.

Рассматривая вопросы афганской истории, Дорн основывается на многочисленных и ценных первоисточниках.

Для обоснования выдвигаемых им положений Б. А. Дорн в комментариях к «Истории афганцев» Ни'матуллы приводит обширные выдержки из восточных источников (в переводе и на языках подлинников). При этом, наряду со свидетельствами историков, подтверждающими его положения, Дорн часто с большой научной добросовестностью приводит и противоречащие его взглядам данные. Так, например, Дорн считал, что под афганцами, о которых упоминается в средневековых источниках «Матла'а-ас-саадайн» и «Джами-ат-Таварих», следует понимать другие, соседние с ними племена, а именно хазарейцев[2]. Однако, наряду с подтверждающими его мнение по этому вопросу отрывками из источников, Дорн приводит и такие, которые можно истолковать в противоположном смысле[3].

---

[1] См. History of the Afghans translated from the Persian of Neamet Ullah by Bernhard Dorn.

[2] Джами-ат-Таварих (?)— рукопись историко-географического сочинения, хранящаяся в библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Д. 290). Сочинение это Дорн считал отличным от одноименного свода хроник Рашид-ад-дина, хорошо известного востоковедам. В «Материалах по истории туркмен и Туркмении» (т. I, Л. 1939) рукопись Д. 290 определена как «Хафизи-Абру».

[3] Б. А. Дорн. Комментарии к цит. соч. Ни'матуллы, стр. 70.

В «комментариях» Б. А. Дорн приводит сведения о первых упоминаниях этнического имени «афганцы» и термина «Афганистан» в источниках (стр. 62), подвергает научной критике легенды о древне-израильском происхождении афганцев (стр. 65), отмечает наличие тюркских элементов среди афганских племен XIII—XIV вв. (стр. 66—67) и уточняет, путем сопоставлений источников, много темных и спорных мест, касающихся событий и хронологических дат. По некоторым вопросам взгляды Дорна были опровергнуты данными обнаруженных впоследствии источников. Так, он считал население средневекового Гура афганским. Рассмотрение таких источников как «Табакат-и-Насири» и гератской летописи «Тарих-нама-йе-Харат» показало, что основное население средневекового Гура в X—XIV вв. не было афганским, а судьбы Гура, ядра державы Гуридов XII в.— и Гератско-гурского государства Куртов XIII—XIV вв.— теснее всего связаны с историей таджикского народа.

«Доклад по истории афганского племени юсуфзаев», прочитанный Б. А. Дорном в Петербурге в 1838 г., является переводом (возможно, частично, изложением) ценного источника по истории этой крупной группы афганских племен «Тарих и-Хафиз-Рахматхани», изученного им по лондонской рукописи.

В области изучения языка пушту роль Дорна признана всеми филологами. В сентябре 1839 г. Дорн прочел на заседании Российской Академии Наук доклад о грамматическом строе языка пушту; в 1841 г. опубликовал «Добавление к грамматике афганского языка»; в 1845 г.— «Дополнения к грамматическим заметкам об афганском языке», в 1847 г. издал первую хрестоматию на языке пушту, содержащую исторические тексты афганских авторов и поэтические произведения с историко-лингвистическими комментариями и с пушту-английским словарем, им составленными[1]. Дорн убедительно опроверг мнение, которого придерживались многие европейские ученые XIX в., о мнимой принадлежности языка пушту к семитическим.

Отмечая заслуги Дорна в изучении языка пушту, следует иметь в виду, что филологические работы Дорна в наше время значительно устарели.

---

[1] Б. А. Дорн. Grammatische Bemerkungen über das Puschtu oder die Sprache der Afghanen («Мемуары Академии Наук», т. V, СПб., 1840); Его же. Nachträge zur Grammatik der afghanischen Sprache («Бюллетень Академии Наук», т. X, СПб., 1842); Его же. Zusätze zu den grammatischen Bemerkungen über das Puschtu («Мемуары Академии Наук», т. V. СПб., 1845); Его же. A Chrestomathy of the Pushtu or Afghan Language. СПб., 1847.

Выдающиеся русские востоковеды XIX в.—В. В. Григорьев и Н. В. Ханыков, занимавшиеся после Дорна изучением Афганистана и населяющих его народов, не продолжили его филологических исследований в области афганского языка и литературы. Григорьева и Ханыкова привлекали вопросы географии, истории и этнографии Афганистана. Дальнейшее, после Дорна, исследование Афганистана в России в XIX в. велось именно по линии этих наук.

Автором самой серьезной исследовательской работы, посвященной Афганистану первой половины XIX в., был В. В. Григорьев (1816—1881). Сколько-нибудь полная характеристика В. В. Григорьева как ученого далеко выходит за рамки настоящей статьи и может послужить темой отдельной работы, нужной для создания истории русского востоковедения. Однако следует хотя бы в самых общих чертах остановиться на многообразном и оригинальном научном творчестве В. В. Григорьева, упомянуть основные его работы и указать некоторые характеризующие его как исследователя моменты.

В. В. Григорьев родился в 1816 г. в Петербурге. Окончил филологический факультет Петербургского университета по отделению восточных языков, где учился у О. И. Сенковского.

Разлад с Сенковским помешал Григорьеву получить кафедру в Петербургском университете и с 1838 по 1844 г. он работал в качестве профессора восточных языков в Ришельевском лицее, в Одессе. В 1844 г. переехал в Петербург, служил в департаменте духовных дел, занимаясь одновременно научной и журналистско-публицистической деятельностью. В 1851 г. перешел на службу в Оренбургский край, где вскоре получил должность начальника Пограничной комиссии, в которой сосредоточивались «дела по сношению с ханствами и по управлению «киргизами» (т. е. казахами).

С 1863 г. В. В. Григорьев—профессор Петербургского университета по кафедре истории Востока. Основное внимание в своем курсе В. В. Григорьев уделял истории Средней Азии, которой он с увлечением занимался всю свою жизнь. В. В. Григорьев был весьма основательно знаком с жизнью и с бытом народов Средней Азии по своей службе в Оренбургском крае, связанной и с поездками вглубь казахских степей, и с многолетним личным контактом с приезжавшими в Оренбург из Бухары, Хивы и Коканда таджиками, узбеками и представителями других народов и племен Средней Азии.

Научное наследство, оставленное В. В. Григорьевым, очень велико. Он занимался историей, этнографией, географией, восточными языками (персидским и таджикским, арабским,

турецким, казахским и другими), археологией, нумизматикой. Обладая прекрасным знанием восточных языков, быта и особенностей жизни народов Востока, этот русский исследователь, кроме нескольких больших научных трудов, написал свыше 250 статей (научных — оригинальных и переводных,— а также публицистических, и более 50 рецензий[1].

Интересы Григорьева как историка-востоковеда были направлены прежде всего в сторону исследования вопросов, так или иначе связанных с прошлым русского народа, с историей России. Он оставил исследования о походах древних руссов на Восток, о хазарах и волжских булгарах, его внимание привлекала история монголов, татар, Золотой Орды.

Результатом занятий В. В. Григорьева историей Средней Азии явилась одна из его основных исследовательских монографий — «О скифском народе саках» (СПб., 1871 г.)[2].

Заслуги В. В. Григорьева перед наукой в обогащении ее новыми и свежими материалами очень велики. Следует подчеркнуть, что именно ему принадлежит честь опубликования первого источника XIX в. на таджикском языке, содержащего достаточный материал для характеристики основных отличий этого языка от персидского[3]. В. В. Григорьев перевел на русский язык и издал ряд ценных источников. Он показал себя достойным продолжателем Френа, плодотворно и творчески занимаясь нумизматикой, и умело использовал данные этой

---

[1] Подробный хронологический список научных и публицистических работ В. В. Григорьева помещен в книге Н. И. Веселовского «Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам». СПб., 1887, стр. 085—0105. Этот список, однако, все же не полон, хотя и занимает целых 20 страниц.

[2] По древней истории Средней Азии В. В. Григорьев опубликовал также статью «Грекобактрийское царство» (ЖМНП, 1867, ч. 136). К сожалению, большой труд о Караханидах, над которым ученый работал длительное время, не был доведен до конца и остался неопубликованным. Эта работа должна привлечь внимание советских историков Средней Азии. Есть сведения, что Григорьев успел все же выполнить, примерно, половину намеченного им замысла исследования, посвященного одному из самых малоизученных периодов средневековой истории Средней Азии. В печати работа В. В. Григорьева над историей Караханидов отражена изданием выполненного им перевода турецкого текста (с комментариями), опубликованного под названием: «Караханиды в Мавераннагре по тарихи Мунеджим-баши» — Труды Восточного Отд. археологического общества, 1874, т. XVII (имеется и отдельный оттиск). См. также дополнения В. В. Григорьева к книге К. Риттера. Землеведение стран Азии, сопредельных с Россией. Восточный или Китайский Туркестан. СПб., 1869.

[3] Памятник напечатан в трудах Казанского университета в 1861 г. (есть отдельный оттиск) под заглавием: «О некоторых событиях в Бухаре, Хоканде и Кашгаре. Записки Мирзы Шемса Бухари, изданные в тексте с переводом и примечаниями В. В. Григорьева».

вспомогательной дисциплины в своих исторических исследованиях. Он проявил свои силы и в области географии, внимательно следя за современными ему путешествиями, посвящая наиболее интересным из них свои статьи, а также написал несколько самостоятельных работ по географии Средней Азии.

Экономические и этнографические статьи В. В. Григорьева, касающиеся различных вопросов, связанных с изучением жизни и быта народа, показывают, что их автор проявлял интерес и к изучению социально-экономических проблем, в частности общины, помещичьего хозяйства в России, испольщины и т. п.

По своим общественно-политическим взглядам В.В.Григорьев был близок к правым славянофилам; выступления Григорьева в качестве публициста и деятельность его на государственной службе не дают нам оснований относить его к прогрессивному, демократическому крылу русских ученых прошлого века[1]. Однако, рассматривая научное творчество Григорьева, нельзя не видеть довольно существенной разницы между его подходом к материалу и подходом таких ученых, как например Дорн.

В. В. Григорьев не замыкался в рамках одного только описания исторических явлений, но анализировал и сравнивал, пытался понять и объяснить причины их, выражал свое отношение к ним. Он выступал в своих ученых трудах не только как эрудит и знаток, но и как живой, чувствующий и мыслящий человек, который не может быть только лишь регистратором событий, их бесстрастным летописцем.

Глубокая оценка некоторых, но весьма характерных сторон научного творчества В. В. Григорьева была дана В. Г. Белинским. Правда, великий критик рассматривает только лишь одну работу В. В. Григорьева — «Еврейские секты в России» (СПб., 1847). Об этой работе В. Г. Белинский писал:

«Вообще, сочинение г. Григорьева, несмотря на компилятивный характер и недостаток широкого, ясного взгляда на предмет во всей его обширности, в высшей степени занимательно. Некоторые сметки, в отдельности, изложены чрезвычайно полно, отчетливо. Все вообще сочинение написано живым, истинным языком и заключает в себе много светлых мыслей, в свою очередь, вызывающих читателя на размышление»[2]. Основанная на анализе этой работы, оценка Белинского может

---

[1] См. статью А. Ю. Якубовского. Из истории изучения монголов периода XI—XIV вв., в этом же сборнике, стр. 48.

[2] В. Г. Белинский. Избранные философские сочинения. ОГИЗ, 1948, т. II, стр. 352. Рецензия на книгу В. В. Григорьева «Еврейские секты в России» была напечатана впервые в «Современнике», 1847 (т. II, № 4, отд. III, стр. 123—125) и появилась без подписи.

быть в значительной своей части распространена и на остальные труды В. В. Григорьева. Конечно, указание на компилятивный характер может быть отнесено далеко не ко всем из них, а только к некоторым.

Суровый упрек Белинского в недостатке у Григорьева «широкого, ясного взгляда на предмет во всей его обширности» можно отнести и к некоторым другим произведениям этого русского востоковеда.

Надо только иметь в виду, что этот упрек в данном конкретном случае относится к отсутствию у Григорьева глубокого и полного философского понимания сущности таких явлений, как история религии в связи с историей общественного развития, о чем ведет речь в своей рецензии Белинский[1]. Григорьев не поднимался, конечно, до уровня великих русских революционных демократов в своих историко-философских взглядах, но в отдельных, частных вопросах он проявлял оригинальность и силу мысли, что и отметил Белинский в своей рецензии.

Не ставя задачи дать сколько-нибудь подробный анализ политических взглядов В. В. Григорьева в настоящей статье, следует отметить, что они отнюдь не оставались неизменными в течение всей жизни ученого. Есть основания полагать, что в молодости, в студенческие годы, В. В. Григорьев придерживался более левых, более прогрессивных взглядов, а с течением времени значительно поправел, подобно некоторым другим ученым дореволюционного прошлого, занимавшим профессорские кафедры и посты в царской России и порой с либеральных и даже демократических позиций переходивших на реакционные. В связи с этим изменялось и отношение В. В. Григорьева к людям, представителям передовых взглядов[2].

В качестве примера можно сослаться на два различных упоминания о Белинском в письмах Григорьева. В 1837 г. Григорьев впервые побывал в Москве. В одном из писем из Москвы к своему другу Я. М. Неверову (от 23 июля 1837 г.) Григорьев

---

[1] Ко времени написания рецензии на работу В. В. Григорьева «Еврейские секты в России» Белинский был, повидимому, знаком и с работой К. Маркса «Критика гегелевской философии права». См. примечания к этой рецензии в т. II Избранных философских сочинений В. Г. Белинского, ОГИЗ, 1948.

[2] В качестве союзника славянофилов Григорьев выступил в печати против Грановского, после смерти этого выдающегося ученого. Статья Григорьева рассматривалась многими передовыми людьми того времени как оскорбление памяти покойного и была ими сурово осуждена. Решительно осудил ее и Н. Г. Чернышевский. Однако Чернышевский, резко выступая против Григорьева по данному вопросу, не смешивал с ним вопрос об оценке научных заслуг Григорьева.

говорит о горячем желании встретиться с Белинским: «Очень хотелось бы мне увидеться с Белинским, но не знаю, где его найти. Думаю, что общество его облегчило бы хотя несколько тяжесть, которая свинцом лежит у меня на душе. Когда уехал Бутовский, уехал Грановский, уехал Ершов, уезжал ты, для меня все еще оставалось в Петербурге много родного, много людей, с которыми я мог поделиться всеми мыслями, чувствами и желаниями... теперь я в первый раз в жизни отделился от всего близкого ко мне по душе. Впечатления, которыми обогатит меня Москва, я думал передать в Москве же людям, которым понятна всякая мысль человеческая, которых сердце отзовется на каждое чувство, какое только может запасть в грудь разумного создания; я не нашел этих людей, а то, что я видел, что я слышал, давит меня, гнетет. Не в то общество попал я в Москве, которого искал»[1].

Через двадцать лет, в письме к Савельеву, от 24 января 1857 г., Григорьев уже совсем в другом духе, явно враждебно отзывается о Белинском и о журнале «Современник»[2].

При всех изменениях во взглядах В. В. Григорьева (и их противоречивости) в лучших его научных работах, в его научном творчестве отразились идейные искания русской общественной мысли. Они отразились уже в самом подходе В. В. Григорьева к материалу, в его живом интересе к социальным проблемам, в стремлении понять, осмыслить и истолковать экономические явления, исторические и этнографические факты.

Следует особо отметить одну черту, характеризующую В. В. Григорьева как человека и как ученого, сохраненную им в течение всей жизни и проявившуюся в его научном творчестве. В. В. Григорьев любил русскую востоковедную науку и гордился ею. Он любил и умел выявлять и пропагандировать заслуги русских ученых, путешественников, мореплавателей, дипломатов, коллекционеров, всех соотечественников, которые внесли свой вклад, большой или малый, в изучение Востока, древнего или нового. В. В. Григорьев высоко ценил русский язык, хорошо писал на нем, выражая мысли ясным и простым слогом, чуждым витиеватости, смело вводя в исследовательский текст живые народные, разговорные слова и обороты.

По рассказам Григорьева, он приобрел любовь к языку народа еще в детстве. Первым его чтением были лубочные издания русских сказок, а наибольшее воспитательное

---

[1] См. Н. И. Веселовский. Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам. СПб., 1887, стр. 25.

[2] Там же, стр. 153.

влияние оказали рассказы слепой старухи, которую приютили из милости в доме отца Григорьева (отец его был дворянином, петербургским чиновником)[1].

В. В. Григорьев не только сам писал свои научные работы на русском языке, но и делал все, что от него зависело, чтобы побудить к тому же других ученых, своих современников. В конце 1846 г., когда в Географическом обществе происходил пересмотр временного устава, был представлен проект новой редакции его, направленный в сторону увеличения исследований общего характера, в ущерб изучению России. В. В. Григорьев обратился в Совет общества с особым мнением как против сущности, так и против редакции нового устава. О параграфе 11 проекта нового устава В. В. Григорьев писал: «Затем, в таком же духе излишнего благоговения перед Западною Европою и уничижения себя перед нею, нахожу я изложенным и § 11 нового устава. По смыслу этого параграфа «Русское Г. О. (Географическое общество.— *В. Р.*) сколько бы ни издало на русском языке книг, расширяющих область науки, все это пропащий труд: оно не будет участвовать «в умственном движении ученой Европы». Для того, чтобы оно могло принимать участие в этом движении, надо ему, говорит параграф, издавать эти книги и на иностранных языках: мысль несправедливая. Не тем будет участвовать общество в общем движении науки, что станет заказывать французские, немецкие или английские переводы изданных им на русском языке сочинений, а тем, когда эти сочинения написаны будут в современных понятиях о науке, когда они прибавят что-нибудь к умственному запасу человечества. Кто написал превосходное сочинение на русском языке, тот двинул и европейскую науку: разве Россия не часть Европы?»[2].

---

[1] Эта старуха, родом москвичка, «...помнила коронацию императрицы Екатерины II, чуму московскую, казнь Пугачева, ходила не раз на поклонение святым местам в Киев, в Соловки, и, вообще, по-своему, по-бабьи, много видела и наслушалась на своем веку...» В возрасте от 6 до 9 лет Григорьев проводил, несмотря на запрещение матери, много времени в людской, где он слушал также описания поездки в Сибирь камердинера своего отца и всевозможные рассказы кучеров. По словам самого Григорьева, «публика эта» научила его «множеству поверьев» и близко познакомила «со взглядами народа на все его окружающее. Как ребенок, весь этот материал принял я в себя без всякой критики и вполне им пропитался. Короче, развитием своим в народном духе и живым сочувствием к русскому человеку обязан я людской» (Н. И. Веселовский, Ук. соч., стр. 9—10).

[2] Н. И. Веселовский. Ук. соч., стр. 97. Возражения Григорьева были полностью приняты Советом Географического общества и отражены в новом уставе.

Выступая за написание научных трудов на русском языке, В. В. Григорьев постоянно энергично боролся против рабского низкопоклонства перед Западом.

Из приведенных кратких сведений о научном творчестве В. В. Григорьева видно, каким большим запасом знаний и исследовательских навыков он обладал, насколько хорошо он был подготовлен, принимаясь в начале 1850-х годов за написание обширного труда «Кабулистан и Кафиристан», предпринятого им в связи с переводом соответствующего тома «Землеведения Азии» К. Риттера на русский язык[1]. В. В. Григорьеву не пришлось самому побывать в Афганистане, и его работа, посвященная Кабулистану и Кафиристану, составлялась только на основании критического изучения письменных источников.

Книга эта вышла под чужим именем: на титульном листе ее автором значится Карл Риттер, а имя Григорьева упомянуто только в качестве переводчика-комментатора и составителя дополнений[2]. Однако дополнения Григорьева к «Кабулистану и Кафиристану» являются первоклассным и совершенно самостоятельным научным трудом, далеко превосходящим по своей ценности работу самого Риттера, полную ошибок и безнадежно устарелую уже в 1850—1860-х годах, когда она переводилась на русский язык и издавалась.

В этой книге работа самого К. Риттера даже по объему занимает едва ли одну пятую часть[3].

В критических примечаниях, которыми дополнил книгу Григорьев, он убедительно показал несостоятельность многих утверждений Риттера, поверхностность его исторических аналогий и выявил большое количество фактических ошибок.

---

[1] В 1850 г. Российское географическое общество получило большую сумму от издателя Голубкова, интересовавшегося Востоком, для организации перевода и издания на русском языке частей «Землеведения Азии» (Erdkunde) немецкого ученого К. Риттера, касающихся сопредельных с Россией стран Азии. Для перевода, составления примечаний и дополнений были привлечены крупнейшие русские ученые.

[2] К. Риттер. «Землеведение. География стран Азии, находящихся в непосредственных сношениях с Россией. Кабулистан и Кафиристан. Перевел с присовокуплением критических замечаний и дополнил источниками, изданными в течение последних тридцати лет, В. В. Григорьев, ординарный профессор С.-Петербургского университета по кафедре истории Востока», СПб., 1867.

[3] Книга состоит из трех основных частей: 1) перевод немецкого текста Риттера (стр. 1—172), 2) примечания к тексту Риттера (стр. 173—314) и 3) дополнения (стр. 315—1010).

Для того чтобы выполнить критический перевод текста Риттера и составить к нему примечания, нужно было проделать очень большую и очень трудоемкую работу. Григорьеву приходилось повторить заново все, что сделал в свое время Риттер: с начала до конца проверить весь текст, строчка за строчкой, по тем же самым источникам, которыми пользовался немецкий ученый. В числе примечаний, составленных В. В. Григорьевым, а их около 300, есть мелкие и малозначительные поправки, касающиеся толкования второстепенного значения терминов и т. д., но весьма многие из примечаний представляют собою самостоятельные, небольшие исследования по отдельным, конкретным вопросам[1].

«Дополнения» В. В. Григорьева состоят из следующих разделов: Историографический; Кабулистан и Кафиристан в физико-географическом отношении; Кабулистан и Кафиристан в этнографическом и статистическом отношениях; Кабулистан и Кафиристан в историческом и археологическом отношениях; Бамианский путь к Кабулистану из долины Аму-Дарьи; Маршруты по Кабулистану.

В каждом из этих разделов содержится свод материала по источникам, появившимся за 30 лет, прошедших после издания V тома «Землеведения» К. Риттера (где помещен риттеровский «Кабулистан и Кафиристан»).

В историографическом разделе (стр. 315—337) собраны и систематически изложены полные библиографические данные об источниках и научных исследованиях по Кабулистану и Кафиристану, изданных с 1830-х гг. до 1860-х гг. В. В. Григорьев дает оценку источников и научных исследований—сжато, верно и метко. Несмотря на краткость и лаконичность замечаний, этот раздел книги В. В. Григорьева не просто библиографический список и даже не беглый обзор, а научное исследование, где каждое слово продумано и нет лишнего. Этот раздел сохраняет и теперь свою ценность и может служить надежным справочником для историков, изучающих историю Афганистана и соседних с ним стран в первой половине XIX в.

Раздел «Кабулистан и Кафиристан в физико-географическом отношении» для своего времени являлся первоклассным исследованием. Составление его стоило громадного труда и выполнено с величайшей тщательностью и уменьем критически разбираться в источниках. О рельефе Кабулистана и

---

[1] См., например, примечание 28 о долинах Свата и Бунера; примечание 63 — о кафирах и их землях; примечание 167 — о пути между Балхом и Кабулом и др.

Кафиристана во времена Григорьева у ученых были весьма смутные и неясные представления. Выдвигалось множество противоречащих друг другу фантастических гипотез.

Имея дело с крайне трудным и неблагодарным материалом, Григорьев сначала изложил подробно все гипотезы различных авторов о горных системах Кабулистана и Кафиристана, а затем дал свое исследование. В этом исследовании он приводит сводку фактических данных из источников, изданных после 1830-х годов. При этом он постарался отделить достоверные, согласующиеся друг с другом и более или менее точные сведения от предположений, основанных на расспросах или на мнениях гадательного характера. В результате ему удалось такое географическое описание Кабулистана и Кафиристана, какого не было в западной европейской литературе ни об одной из стран Азии (из числа неохваченных тригонометрической съемкой или значительной сетью астрономически определенных пунктов).

Русскому ученому удалось дать такую сводку материала, из которой стало, наконец, ясно,— что́ именно сделано уже по части географического изучения Кабулистана и Кафиристана, что́ уже достоверно известно, и что́ еще не сделано, что́ нужно исследовать. Иными словами, В. В. Григорьев, обобщил данные современной ему географической науки и определил, тем самым, дальнейшие ее задачи в исследовании данной страны.

К нашему времени физико-географический обзор Кабулистана и Кафиристана, составленный Григорьевым, устарел. Но он может и должен вызвать интерес у советских ученых, занимающихся историей географических исследований, историей географии.

В разделе «Дополнений», озаглавленном «Кабулистан и Кафиристан в этнографическом и статистическом отношениях», содержатся сведения об этническом составе населения, о «политическом и религиозном быте» и о хозяйстве. Больше всего внимания автор уделил этнографическим данным о кафирах и таджиках. Полно и подробно описаны горные области Сват, Бунер и Дир, населенные юсуфзаями (большая группа афганских племен).

Сведения источников воспринимались Григорьевым осторожно и критически, он стремился тщательно анализировать не только сообщения, основанные на расспросах, но и свидетельства очевидцев. Излагая оценку характера власти ахунда (почитаемого духовного лица) Абдул-Гафура над афганскими племенами Свата, которую дал таджикский путешественник

из Кандагара, побывавший в Свате в 1858 г., Григорьев писал: «По словам Кандагарца нашего, это почтенный и гостеприимный старец, совершенно безвредный, преданный единственно молитве и богомыслию»[1]. Далее русский ученый четко и ясно выражал причины, заставляющие его сомневаться в достоверности сведений кандагарца: «Святой человек, по словам его, не имел никакого состояния, не получал, повидимому, никаких доходов, не брал денег даже с богатых и знатных, а между тем в жилище его ежедневно получали пищу от 200 до 300 бедняков, и кормился даром даже скот тех из поклонников, которые приезжали верхом»[2]. Русский исследователь ясно видел лживость распространяемых самими же духовными лицами среди афганцев легенд о бескорыстии этих привилегированных «святых», прикидывавшихся аскетами и тщательно скрывавших источники своих доходов. Подобное критическое отношение к любым свидетельствам источников — восточных и западноевропейских, древних и новых — характерно для всей работы В. В. Григорьева.

В рассматриваемом разделе книги автор ее, не ограничиваясь только лишь описанием фактов и изложением сведений, в ряде случаев пытается объяснить явления, указать их причины, охарактеризовать их.

Конечно, В. В. Григорьев не мог приблизиться к правильному, подлинно-научному пониманию исторического процесса в целом и закономерностей общественного развития, ключ к которому дает только марксизм. Но в отдельных частных вопросах замечания его нередко заключают в себе долю истины, будят мысль, отражая реальные, земные (материальные) связи явлений, их характерные черты. В качестве примера можно привести верное наблюдение В. В. Григорьева о примечательности факта весьма значительной плотности населения на территориях юсуфзайской группы афганских племен[3].

Но в силу классовой ограниченности своего мировоззрения Григорьев не понимал и не мог понять сущности социальных

---

[1] В. В. Григорьев. Ук. соч., стр. 489.

[2] Там же.

[3] В. В. Григорьев. Ук. соч., стр. 654. Средняя плотность населения в середине XIX в. составляла у юсуфзаев около 20 чел. на 1 кв. км, что для горной страны (около 24 тыс. кв. км), населенной племенами, сохранявшими значительные остатки родоплеменных отношений (переделы земли, усадебных участков и жилищ по жребию и т. п.), в самом деле, очень немало. Однако В. В. Григорьев не видел, что действительной причиной наличия такой плотности населения был рост производительности сельского хозяйства, связанный с развитием феодальных отношений у юсуфзаев после перехода их к земледелию.

отношений, господствовавших у афганцев. Ему подчас была свойственна некоторая идеализация афганского патриархального быта. В качестве примера такой идеализации можно привести его характеристику жизни афганцев, в которой, как нам известно, еще в XIX в., наряду с развитием феодальных отношений, сохранялись существенные остатки и многочисленные пережитки родо-племенного строя. В этих условиях вражда и распри из-за земли и воды достигали значительного развития. Кровная месть вторглась в среду близких родственников, становясь социальным злом и окончательно теряя свои первоначальные функции, средства сохранения целостности рода — племенного коллектива и защиты родственников — членов этого коллектива. В. В. Григорьев пишет: «На Кабулистане подтверждается, таким образом, вывод, сделанный из наблюдений над многими другими странами — что, при известных условиях, кровавые распри и усобия между населением страны вовсе не истощают и не ослабляют ее в такой мере, как вообще принято думать; что в странах, где господствуют усобицы, привыкают к ним до такой степени, что подобное положение дел считается нормальным, и не препятствует обычному ходу их экономической деятельности, в нравственном же отношении служит к освежению народа, не давая ему погрязать в заботе единственно о материальном благосостоянии. Вообще можно сказать, что существование горца при том порядке вещей, о котором идет речь, полно жизни и несравненно богаче впечатлениями, обильнее человечностью, чем существование какого-нибудь бюргера в странах, пользующихся гражданским благоустройством»[1].

Конечно, английские буржуазные писатели, апологеты колониальных властей сознательно искажают истину, когда утверждают, будто до прихода англичан на северные границы Индии жизнь местных народов и племен, не создавших еще государственности, была каким-то адом, а колониальное рабство принесло будто бы этим народам неисчислимые благодеяния. Конечно, мещанин середины XIX в., которого имеет в виду Григорьев, жалкая и ничтожная фигура. Но приведенный отрывок показывает, что Григорьев явно идеализировал патриархальные отношения и даже усобицы и кровную месть, противопоставляя их буржуазным порядкам.

Сведения, изложенные в разделе «Кабулистан и Кафиристан в этнографическом и статистическом отношениях», для

---

[1] В. В. Григорьев. Ук. соч., стр. 653.

нашего времени в значительной мере устарели и нуждаются в исправлении их по более поздним источникам. Однако в целом этот раздел не потерял еще своего значения. То, что было в 1860-х гг. описанием современного положения в Кабулистане и Кафиристане, и теперь вызывает интерес, но уже только со стороны историка.

Раздел книги, посвященный описанию Кабулистана и Кафиристана в историческом и археологическом отношениях, начинается подробнейшим обзором памятников древности, расположенных Григорьевым под рубриками: гробницы, городища, топы или ступы, курганы и пещеры и т. д. Далее следует изложение древней истории рассматриваемых территорий, начиная от похода Александра Македонского до времен проникновения ислама. Изложение ранних периодов истории заканчивается сжатым, но ясно и интересно написанным критическим обзором гипотез о происхождении афганцев и сведениями об их собственных преданиях на этот счет.

Для своего времени все это исследование русского востоковеда по истории Кабулистана в целом, безусловно, являлось первоклассным трудом, лучшим и наиболее полным из всех, написанных по данному вопросу. Его нельзя обойти и сейчас любому автору, занимающемуся периодом древности и раннего средневековья рассматриваемых в книге Григорьева областей.

Средневековую историю афганцев Григорьев в свои дополнения к «Кабулистану и Кафиристану» не включил, указывая, что «...отдельное изложение дальнейших событий в среде тех колен афганского народа, которые водворились собственно в Кабулистане, было бы неудобно по связи этих событий с участью других, многочисленнейших отделов того же самого народа на пространстве целого Афганистана: история Кабулистана под афганским владычеством, по новым об этом документам, должна, в сообразности с расположением Риттерова труда, войти в состав дополнений к VIII-му тому его Erdkunde тем с большим основанием, что сам Риттер в статье о Кабулистане ничего почти не говорит о судьбах этой страны по занятии ее магометанами»[1].

Из новой истории Афганистана Григорьев дал ценный очерк ближайших к нему по времени событий, в том числе и первой англо-афганской войны (1838—1842 гг.), к которым проявляли живой интерес русские читатели 1860-х годов[2]. В этом разделе

[1] В. В. Григорьев. Ук. соч., стр. 859.

[2] Там же. О событиях в Кабулистане с начала 1830-х годов до присоединения Пишаверской области к англо-индийским владениям, стр. 869—949.

своего труда Григорьев ясно представил авантюристический характер английской попытки завоевания Афганистана. Исследование Григорьева принадлежит к числу лучших описаний первой англо-афганской войны и не потеряло своего значения и сейчас.

В целом труд В. В. Григорьева «Кабулистан и Кафиристан» для своего времени был серьезным шагом вперед в изучении Афганистана. К нашему времени этот труд во многих отношениях сильно устарел, но до сих пор остается не имеющим себе равных в литературе опытом систематизации всего накопленного наукой материала, опытом критического свода всех данных источников по одной из частей Афганистана.

Современниками В. В. Григорьева его «Кабулистан и Кафиристан» был оценен очень высоко. В. Вельяминов-Зернов в своей рецензии на этот труд писал: «...автор совокупил в одно целое и критически рассмотрел о каждом предмете особо важнейшие из сведений, имеющихся за последние тридцать лет. Знаменательно при этом отношение, в которое умел себя поставить автор к западно-европейской учености, нет и тени рабского преклонения пред именами и авторитетами. Наш ученый относится к ним совершенно свободно и не боится подвергать их критике строгой, но правдивой, в том случае, когда мнения их кажутся ему неосновательными или не вполне заслуживающими одобрения. У нас, к сожалению, это явление довольно редкое. Тем более утешительно видеть его в такой превосходной книге, как сочинение г. Григорьева. Конечно, чтобы стать на подобную точку зрения относительно западно-европейской учености, надобно самому обладать обширным запасом знаний, быть, одним словом, совершенно на высоте науки и того предмета, который исследуешь. Но именно таким и выказал себя г. Григорьев в своем произведении»[1].

Профессор К. Коссович о работе Григорьева писал так: «... Смело можем показать мы Европе эту работу,— в некоторых отношениях не имеющую образца, где русский ученый является не учеником, а судьею Запада, судьею в силу не только многосторонней и обширной, но, главное, необыкновенно здраво переваренной начитанности...»[2]

---

[1] В. Вельяминов-Зернов. Рецензия на книгу «Землеведение» К. Риттера. География стран Азии, находящихся в непосредственных сношениях с Россией, Кабулистан и Кафиристан (ЖМНП, май 1867, ч. CXXXIV, стр. 625).

[2] Проф. К. Коссович. Об ученых трудах профессора В. В. Григорьева. СПб., 1868, стр. 655 (отдельный оттиск из ЖМНП, ч. CX).

Подведя итог разбору «Кабулистана и Кафиристана» В. В. Григорьева, нужно подчеркнуть, во-первых, что эта работа глубоко самостоятельная, оригинальная; во-вторых, как уже было указано выше, отметить, что этот труд русского ученого является наиболее серьезной сводной исследовательской работой, посвященной Афганистану, в европейской, а не только в русской буржуазной науке XIX в.

Возможно, что Бартольд недостаточно глубоко ознакомился с этой работой Григорьева. Все же непонятно, почему Бартольд умолчал о ней в своей книге «История изучения Востока в Европе и в России». Это выглядит тем более странно, что Бартольд дает очень высокую (и вполне заслуженную) оценку другой работе В. В. Григорьева, появление которой также было связано с переводом «Землеведения Азии» К. Риттера, а именно труду Григорьева о Восточном Туркестане. Для этой работы у Бартольда не только нашлось место в его книге, но нашлись и нужные слова. Вот как Бартольд ее охарактеризовал: «При переводе на русский язык, по постановлению Географического общества «Землеведения» Риттера — отдел о Восточном Туркестане был поручен проф. Григорьеву, который в 1869 г. издал перевод текста Риттера со своими критическими примечаниями, в 1873 г.— особый дополнительный выпуск, заключающий в себе историко-географический обзор Восточного Туркестана с древнейших времен до 1882 г.

Многие из взглядов, высказанных в этой книге, уже не соответствуют современному состоянию науки, но, как свод исторических данных о Восточном Туркестане, труд проф. Григорьева сохраняет свое значение и теперь; до сих пор ни на одном из европейских языков нет труда о Восточном Туркестане, который по точности и полноте собранных в нем сведений мог бы сравниться с этой книгой»[1]. Приведенная характеристика В. В. Бартольда, безусловно, полностью приложима и к работе В. В. Григорьева «Кабулистан и Кафиристан».

В этой же серии географических работ К. Риттера, переведенных на русский язык, вышел «Иран» (1874 г.) в переводе, с критическими примечаниями и дополнениями другого талантливого русского востоковеда Н. В. Ханыкова. Ханыков в своем труде раскритиковал Риттера, а в качестве дополнения дал свою самостоятельную и ценную работу. Некоторые разделы исследования Н. В. Ханыкова относятся к Афганистану и к истории афганцев, тесно связанной в средние века с историей Ирана.

---

[1] В. В. Бартольд. История изучения Востока в Европе и в России. Л., 1925, стр. 273—274.

Особенного внимания заслуживают остроумные соображения и интересные данные о таджиках, основанные не только на глубоких изысканиях Н. В. Ханыкова по письменным источникам, но и на собственных его наблюдениях и исследованиях во время Хорасанской экспедиции (1858—1859 гг.). Изучающий народы Афганистана найдет в этой работе Н. В. Ханыкова, а также в некоторых его статьях, и небезинтересные сведения о хазарейцах и о других народах и племенах, населяющих земли современного центрального и северного Афганистана.

Н. В. Ханыков (1822—1878) — русский ученый и путешественник. Он получил образование в Царскосельском лицее. Восточные языки изучил самостоятельно и в 1841 г. был прикомандирован к посольству Бутенева в Бухару. Результаты работы Н. В. Ханыкова в составе этого посольства по изучению стран и народов Средней Азии были отражены в книге «Описание Бухарского ханства» (СПб., 1843 г.) и в его статьях.

С конца 1840-х годов по 1853 г. Н. В. Ханыков, находясь на дипломатической службе на Кавказе, плодотворно занимался изучением географии, истории и археологии Кавказа, исследованием языков и наречий населяющих его народов. В этот период он написал исследование «О перемежающихся изменениях уровня Каспийского моря», напечатанное в «Записках Кавказского отделения русского географического Общества», кн. III. В этой работе Н. В. Ханыков проявил себя не только глубоко эрудированным востоковедом, прекрасно знакомым с восточными источниками, но также обнаружил основательные по тому времени познания в физике и геологии.

С 1854 по 1857 гг. Н. В. Ханыков был русским консулом в Тавризе, где продолжал свои научные исследования. В 1858—1859 гг. возглавлял, как уже указывалось выше, Хорасанскую экспедицию, после чего в течение многих лет занимался обработкой ее результатов, издал ряд научных трудов, среди них большое количество статей, опубликованных в виде писем к русским и западноевропейским ученым своего времени. Н. В. Ханыков был близок к демократическим кругам, к Герцену[1].

В дополнениях к переводу «Ирана» К. Риттера, Н. В. Ханыков изложил результаты своих работ о средневековой истории афганцев, в которых пришел к выводу о сравнительно позднем складывании афганских племен, существующих в настоящее время. Период образования афганской народности, афганцев, как этнической группы, он относит к IX—XIII вв.[2]

---

[1] См. данные об этом в «Историческом архиве», т. V, М. — Л. 1950.

[2] По афганским генеалогиям, время жизни легендарного родоначальника этого народа Патана (он же Каис, Киш или Кеш) определяется

Это, основанное на изучении источников, положение Н. В. Ханыкова убедительно вскрывает всю нелепость домыслов некоторых современных афганских националистических авторов о руководящей роли, которую, якобы, играли афганцы в течение тысячелетий в истории и в развитии культуры народов Средней Азии, Ирана и Индии.

Вторым важным положением, выдвинутым Ханыковым в разделе его книги, где говорится о средневековой истории афганцев, является вывод, сделанный им на основании внимательного изучения очень большого количества восточных источников (арабоязычных географов, исторических хроник и других); вывод этот заключается в том, что в IX—X вв., когда были написаны классические произведения средневековых географов на арабском языке, афганцев, как народа, или не было или о них никто (кроме, можем добавить мы, их ближайших соседей) не знал.

Это положение Ханыкова вряд ли будет опровергнуто когда-либо в будущем. Вопреки измышлениям современных панафганистов, все известные до сих пор источники говорят о том, что до XIII в. афганцев мало знали даже соседние с ними народы и совсем плохо знали или совсем не знали авторы отдаленных от них народов[1]. Это объясняется тем, что в тот период афганцы представляли собою сравнительно незначительные племена горцев, не игравшие до XIII—XIV вв. сколько-нибудь заметной роли в исторических событиях.

Из сказанного ясно, что в работе Ханыкова «Иран» и по истории афганцев имеются существенные и обоснованные замечания, положения и выводы.

Конечно, в этой работе у Ханыкова есть ошибки. У него были свои недостатки, проявлявшиеся и в других работах.

При всей эрудиции, остром уме и добросовестности, которыми он обладал, Ханыков проявлял иногда небрежность в отдельных замечаниях, непродуманность в терминологических вопросах. В иных случаях он был склонен к несколько поспешным выводам, не обоснованным в достаточной мере фактическим материалом.

XI веком. См. генеалогию Афзаль-хана Хаттака в Тарих-и-Мурасса (в отрывке, опубликованном в «Kalid-i-Afghani», Lahore, 1893, стр. 221, 222), а также различные генеалогии в «Истории афганцев» Ни'матуллы (см. Б. А. Дорн. Ук. соч., т. II, стр. VII, 43, 50, 51); время жизни родоначальников больших групп афганских племен (дуррани, гильзаи, юсуфзаи и др.) по родословиям относится к XII—XIV вв.

[1] В частности, очень хорошо осведомленные авторы географических описаний, «подорожников» X в., как это установил Н. В. Ханыков, ни одним словом не упоминают об афганцах.

В работе «Иран» можно отметить, в качестве примера, два сомнительных места, касающихся афганцев. Ханыков утверждает, что у афганцев все названия, касающиеся важных сторон их жизни, родового быта, не свои, а заимствованные из языков других народов. Это не совсем верно. Неточность или ошибка Ханыкова вызвана, повидимому, тем, что он не знал афганского языка (пушту), а судил об этих названиях по текстам на арабском, таджикском и персидском языках. Второй ошибкой Ханыкова является неправильное толкование термина «веш», который означает у афганцев передел земли. Ханыков же производит этот термин от персидского слова «виша», обозначающего палочку, применяемую, якобы, для метания жребия при переделах. Такое утверждение необоснованно и, скорее всего, неправильно.

Вообще следует отметить, что в своем исследовании «Иран» Ханыков, как правило, не делает разницы между гипотезой и окончательно доказанной научной истиной, между бесспорным и предположительным. Поэтому и все свои выводы, касающиеся существенных или мелких вопросов, он преподносит в одинаково категорической форме.

Одним из самых полных исследований, посвященных важным событиям в истории народов Афганистана — второй англо-афганской войне, является книга русского военного писателя, генерал-майора генерального штаба, Л. Н. Соболева «Страница из истории восточного вопроса. Англо-афганская распря (очерк войны 1879—1880 гг.)», изданная в Петербурге в 1880—1882 гг.

В этой работе содержится не только подробное изложение военных действий, но рассматриваются также международная обстановка, политические события и внутреннее положение в Афганистане. К исследованию приложено множество прекрасно, для того времени, выполненных карт и схем тех мест, где происходили военные действия. В приложениях даны основные дипломатические документы, современные рассматриваемым событиям, и различные военные и военно-топографические материалы: Гандамакский мирный договор, описание пути из Пешавара в Кабул, карта долин рек Кабула и Куррама, карта движения англо-индийского отряда из Шутургардана на Кабул, документы о военном терроре англичан и т. п.

До сих пор не потеряли своего значения исследования об афганцах русского этнографа XIX—XX вв. Н. А. Аристова, известного своими работами о тюркоязычных племенах и народах России.

В книгах Н. А. Аристова «Об Авганистане и его населении» (СПб., 1898) и «Англо-индийский Кавказ» (СПб., 1900) затронуты вопросы, касающиеся истории и этнографии афганцев, но больше всего места уделено политическому положению в пограничных с Индией землях, населенных афганцами, а также английской захватнической политике в районах пограничных племен и борьбе афганцев против британских поработителей.

Вопросы современной Н. А. Аристову политической обстановки в области афганских пограничных племен были весьма подробно и полно освещены автором в его книге «Англо-индийский Кавказ»[1]. Некоторые разделы этой книги носят исследовательский характер. Н. А. Аристов привлекает очень большой фактический материал из англо-индийских официальных публикаций, из современной ему прессы, стремится критически осмыслить факты, преподносимые весьма тенденциозно, а часто и грубо фальсифицированно в англо-индийских документах. Работа Н. А. Аристова проникнута сочувствием к освободительной борьбе афганцев против английских агрессоров. На позицию Н. А. Аристова, с живой симпатией относившегося к борющемуся афганскому народу, явственно оказывал влияние ход событий у нас на родине, дыхание приближавшейся революции.

Основные разделы книги Н. А. Аристова «Англо-индийский Кавказ» содержат исторический обзор столкновений англичан с афганскими пограничными племенами и очерк английской пограничной политики[2]. Исходя из того положения, что «...восточные авганские племена являются лишь частью авганского народа и судьба их стоит в тесной связи с судьбами остальных авганских племен, находящихся под властью эмира Авганистана...», Н. А. Аристов счел необходимым предпослать основным разделам своего исследования «... краткий исторический очерк отношений Англии к Авганистану и сведения об авганских племенах вообще, их происхождении, особенностях народного характера и т. д....»[3]

Следует заметить, что русский исследователь сумел разобраться в ложности доказательств, приводимых английскими

[1] Н. А. Аристов. Англо-индийский Кавказ. Столкновения Англии с авганскими пограничными племенами (этнико-исторический и политический этюд). СПб., 1900, стр. 1—198.

[2] Н. А. Аристов. Ук. соч., гл. III. Обзор столкновений Англо-Индии с авганскими пограничными племенами, стр. 51—115; гл. IV. Политика Англии в отношении авганских пограничных племен, стр. 115—139.

[3] Н. А. Аристов. Ук. соч., стр. 1.

буржуазными учеными в целях оправдания насильственного разъединения афганского народа, осуществленного английскими же колонизаторами.

С помощью различных версий о происхождении афганцев многие английские буржуазные ученые пытались и пытаются доказывать, будто афганцы, отторгнутые колонизаторами от своей родины в XIX в., и афганцы, оставшиеся в пределах Афганистана, являются различными народами.

Для того чтобы оттенить якобы коренную разницу между афганцами пограничной полосы Индии (теперь Пакистана) и их собратьями, населяющими область к северу и западу от Сулеймановых гор, англичане в XIX в. постарались утвердить за афганцами, оказавшимися в составе их колониальной империи или под английским политическим контролем, название «патаны»[1]. При этом, распространенное в Индии этническое название «патаны» противопоставлялось названию «афганцы», которым этот народ с давних времен именовали его ираноязычные соседи — таджики и персы.

О том, что в литературе патанов стали резко отличать от афганцев именно англичане и только в XIX в., говорит, в частности, следующее место из исследования о поздних моголах английского же историка Ирвина: «Людей из области между Индом — на востоке и Кабулом и Кандагаром — на западе называли (в Индии. — *В. Р.*) афганцами. Афганцев же из ближайших гор, что юго-западнее Пешавара, иногда отличали эпитетом «рохела» или «горец». Однако индийские авторы XVIII в. не только никогда не употребляют слова патан, но в их сочинениях нет ничего, что указывало бы на взгляд, будто афганцы и патаны являются двумя различными народами»[2].

Таким образом, есть все основания утверждать, что русский исследователь Аристов в вопросе об этнической общности афганских племен, сложившейся исторически, стоял на правильной точке зрения.

В первом из вводных разделов книги «Англо-индийский Кавказ», озаглавленном «Краткий исторический очерк отно-

[1] Распространенное в Индии по отношению к афганцам этническое имя «патан» происходит от самоназвания афганцев — «пахтун» (или «паштун»), мн. ч. «пахтаны» (или «паштаны»).

[2] W. Irvine. The later Mughals. London, 1921, т. 1, стр. 273. Это утверждение Ирвина заслуживает серьезного внимания, прежде всего потому, что он весьма основательно знал источники Северной Индии, связанной больше всего с афганцами-патанами. В своем исследовании Ирвин проявил беспомощность в объяснении исторических явлений, но материал индийских источников излагается им с большой полнотой, в доброкачественных переводах и с научной добросовестностью.

шений Англии к Авганистану» (стр. 1—15), Н. А. Аристов дает сжатую, но содержательную сводку сведений по рассматриваемому вопросу, связывая изложение с англо-русскими и русско-афганскими отношениями.

Второй вводный раздел книги озаглавлен «Авганские племена, их происхождение и краткие исторические о них сведения, различные особенности народного характера и быта и данные о численности авган и народностей, им подвластных» (стр. 15—51). В этом разделе Н. А. Аристов приводит большой и тщательно собранный им из восточных источников, использованных в переводах, и из исследований материал об афганцах, их ранней истории, племенному делению и т. п. Н. А. Аристов считает «главным местом жительства авганского народа и первоначальным его гнездом «Сулеймановы горы»»[1].

Н. А. Аристов правильно оценил значение генеалогий афганских племен как источника для историка и использовал материал этих генеалогий для остроумных соображений об этногенезе афганцев, которые являются, конечно, предположительными и требуют проверки и подкрепления данными других источников.

Мнение Н. А. Аристова о характере этногенеза афганского народа сводится, в основном, к следующему: он считал основным ядром будущей афганской народности племена средней и северной части Сулеймановых гор, которые, смешиваясь в течение долгого времени с соседними индийскими, иранскими, тюркскими и др. племенами, создали афганскую народность. Эта народность, как писал Н. А. Аристов, составляет в настоящее время «...прочное этническое целое, несмотря на некоторые различия по племенам и на отличия в политическом положении некоторых групп последних»[2].

Н. А. Аристов присоединяется к сторонникам гипотезы Б. А. Дорна о связи между древними пактиями Геродота и афганцами Сулеймановых гор, называющих себя «пахтунами» или «паштунами». Слабым местом этой гипотезы является очень большой разрыв во времени между сообщениями Геродота о пактиях, страна которых находилась на северных границах Индии, с первыми упоминаниями средневековых письменных

---

[1] Н. А. Аристов. Ук. соч., стр. 19. Это положение, сторонниками которого были Дорн и Григорьев, подкрепляется свидетельствами средневековых источников, введенных в научный обиход в XX в. См. упоминания об афганцах в «Худуд-ал-Алем». Изд. АН СССР, 1930, л. 8-а; Тарихнама-йе-Харат. Калькутта, 1944, стр. 168—170, 195, 221—222 и др.

[2] Н. А. Аристов. Ук. соч., стр. 19.

источников об афганцах в области Сулеймановых гор. Геродот писал в VI в. до н. э., первые же упоминания об афганцах в средние века содержатся в географическом сочинении неизвестного автора на таджикском языке — «Худуд-аль-Алям» и относятся к 980-м годам н. э.

Для подтверждения гипотезы Дорна Н. А. Аристов указывает на вероятность преемственной связи между пактиями Геродота и пу-ду (или пу-ту) китайских источников[1].

Трактовка указанных вопросов во втором (вводном) разделе книги Н. А. Аристова показывает, что и здесь автор подходил к материалу творчески, обнаружив незаурядные исследовательские данные.

Н. А. Аристов пытался разобраться и в социально-экономических отношениях афганцев. Но он не мог их разрешить, так как подходил к этому вопросу с идеалистических позиций. Он относил все афганские племена к стадии родового строя. Основная ошибка Аристова заключалась в преувеличении роли родовых отношений у афганцев, что вероятнее всего явилось результатом влияния народнических утопических взглядов, распространенных в его время среди русской интеллигенции и связанных с реакционной идеализацией общины. Аристов занимался только политическими отношениями у афганцев и не пытался сколько-нибудь серьезно изучить сведения об их хозяйстве; он не видел существования классов и классовой борьбы в афганском обществе.

Для объяснения различий в политическом устройстве афганских племен, которые Аристов ясно видел (общинно-родовое самоуправление у одних племен и сравнительно устойчивая единоличная власть ханов — у других), ему приходилось прибегать к ссылкам на отличие в характере и «темпераменте» отдельных племен. Таким образом, в данном вопросе Аристов скатывался на совершенно антинаучные, не только идеалистические, но и явно расистские позиции. Слабой стороной его книги «Англо-Индийский Кавказ» является попытка провести

---

[1] Пу-ду упоминаются в китайских хрониках времен династии восточных Хань (25—221 гг. н. э.). См. И. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.—Л., 1950, т. II, стр. 227. По контексту перевода Бичурина действительно похоже на то, что пу-ду (народ или государство) находились где-то в районе подходов к Индии с северо-запада. В переводах западноевропейских китаистов, как это и отмечено Н. А. Аристовым, «термин пу-ду передается как «по-та» и «ц'у-та». См. Imbault-Huart. Recueil des documents sur l'Asie Centrale, Paris, 1881, стр. 211 (P'ou-ta); Specht Edouard. Etudes sur l'Asie Centrale d'après les historiens chinois. Première livraison. Indo-scythes et ephtalites. Paris, 1890, стр. 32 («Po-ta»).

аналогию между Кавказом и афганскими племенами, пограничными с Индией. При этом Н. А. Аристов идеализировал Шамиля, отмечая, впрочем, его деспотизм и тяжесть его власти для народов Дагестана.

К недостаткам работ Аристова об афганцах следует отнести и то, что они построены, в основном, на английских материалах и других европейских источниках; восточными источниками он пользовался только в переводах.

Заканчивая краткий обзор о работах Н. А. Аристова, посвященных афганцам и Афганистану, следует подчеркнуть, что этот русский исследователь не только прекрасно разбирался в сущности агрессивной политики англичан, но смело и остроумно изобличал английских захватчиков и фальсификаторов.

Из числа ученых, которые хотя и не оставили нам специальных исследований, посвященных изучению афганцев и Афганистана, но, занимаясь изучением соседних стран и народов, оставили отдельные ценные замечания, касающиеся афганцев, следует указать И. П. Минаева и В. В. Бартольда.

Индолог И. П. Минаев (1840—1890) был выдающимся русским ученым и путешественником. По справедливости, мы можем считать его одним из тех людей, которые являются гордостью русского востоковедения. Он оставил ряд работ, в которых касается афганцев Индии, а также немало публицистических статей по вопросам политической истории современного ему Афганистана. И. П. Минаев написал ценное исследование «Сведения о странах по верховьям Аму-Дарьи» (СПб., 1879). Эта работа построена на основании широкого круга источников и для своего времени являлась наиболее полной сводкой материалов по совершенно еще не изученной области Азии. Он занимался исследовательской работой по истории сношений русских с народами, населяющими территории нынешнего Афганистана[1].

Вопросы о сущности общины у афганцев Индии затрагиваются в статьях Минаева: «Очерки землевладения в современной Индии»[2] и «Родовой быт в современной Индии»[3].

И. П. Минаев прекрасно знал Индию, ее языки, жизнь и быт народа. Все это он изучал не только по книгам, но и во

[1] В октябре (ст. ст.) 1878 г. И. П. Минаев прочел на заседании Отделения этнографии Русского географического общества доклад о сношениях России с Афганистаном в XVII в. См. сообщение об этом докладе в газ. «Новости», от 16 октября 1878. г.

[2] ЖМНП, 1883, № 11, стр. 135—152.

[3] Там же, № 3, стр. 164—188.

время своих путешествий. Он очень хорошо разбирался в земельных отношениях в Индии, знал индийскую общину, как мало кто другой. Поэтому его сведения и соображения, касающиеся афганской общины, его мнение об отличии по своей сущности афганской общины (как «родовой») от общины у других народов Северной Индии, заслуживают серьезного внимания.

Академик В. В. Бартольд, хотя он и не занимался специально историей афганцев, но в процессе исследования истории соседних с ними народов и Среднего Востока, в целом, сделал несколько существенных замечаний и по вопросам истории афганцев, основанных на глубоком знании источников. Так он указал, что первое упоминание об афганцах в письменных источниках содержится в рукописи Худуд-аль-Алям[1].

В своей большой исторической работе «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» В. В. Бартольд привел очень важные упоминания об афганцах в период нашествия Чингис-хана.

В 1221 г., в битве при Парване, где был разбит Хутуху-нойон, один из лучших полководцев Чингис-хана, против монголов сражались в войсках Джелаль-ад-дина туркмены, гурцы, афганцы, карлуки и представители других племен и народов[2]. На следующий год после битвы при Парване, в которой было нанесено самое сильное поражение ордам Чингиса во время его похода на Среднюю Азию и Индию, в источниках отмечено участие афганцев и близких к ним халаджей уже на стороне монголов. Приведенный В. В. Бартольдом факт[3] свидетельствует о том, что уже во время похода Чингиса в Среднюю Азию и Индию монголам удалось привлечь на свою сторону какую-то часть афганских племен. Возможно, что уже с этого времени отряды некоторых афганских племен начали входить в состав монгольских войск, действуя, по всей вероятности, в качестве вспомогательных сил, но подчиняясь монгольским военачальникам[4].

---

[1] Худуд-ал-Алем. Изд. АН СССР, 1930. Предисловие В. В. Бартольда.

[2] В. В. Бартольд. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. СПб., 1898—1900, т. II, стр. 476. Со ссылкой ан-Несави.

[3] В. В. Бартольд. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, стр. 486. Афганцы и халаджи приняли участие в карательной экспедиции Хутуху-нойона для подавления антимонгольского восстания в Мерве, в 1222 г. Хутуху-нойон действовал с беспощадной свирепостью и уничтожил все, что оставалось от города.

[4] Рассказ, свидетельствующий о том, что во времена Шамс-ад-дина Курта (середина XIII в.) афганские отряды, в отличие от гурских и гератских сил Куртов, находились непосредственно в ведении и подчинении монгольских военачальников, приводится в летописи в Тарихнама-йе-Харат. Калькутта, 1944.

Следует остановиться на высказываниях В. В. Бартольда по вопросу о происхождении гильзаев (одного из крупнейших афганских племен), вызывавшему споры между востоковедами. В своей статье о халаджах, опубликованной в «Энциклопедии Ислама», Бартольд высказал верное мнение, поддерживая ученых, полагавших, что гильзаи происходят от халаджей, или, что, во всяком случае, в этногенезе афганцев, в частности в складывании гильзайской группы племен, халаджи принимали участие[1]; в подтверждение этого мнения можно привести интересное сообщение Мухаммеда ибн-Наджиб Бакрана, автора географического сочинения, написанного в начале XIII в. Мухаммед Ибн-Наджиб Бакран сообщает о халаджах следующее: «Халаджи — племя (группа племен) из тюрков, которое из пределов халахских попало в Забулистан. В области Газны есть степь, там они (и) обосновались. Затем от жары цвет (лица, кожи) у них изменился и стал чернеть. Язык (их) также претерпел изменения и превратился в (какое-то) другое наречие. (Одно) племя из этой группы перешло в пределы Баверда и там устроилось на жительство. (Название) «халах» люди читают «халадж» вследствие ошибки в написании»[2].

На основании этого сообщения и других, более ранних сведений о халаджах, связанных издавна с афганцами, можно, повидимому, полагать, что к началу XIII в. длительный процесс скрещивания языков халаджей (в прошлом тюрко-язычных) и афганцев уже закончился или заканчивался[3]. При этом, конечно, не получилось какого-то нового, третьего языка; халаджи стали говорить на пушту и постепенно забывали свой старый язык. Но в язык пушту вошло некоторое количество

---

[1] К этому мнению положительно отнесся советский востоковед М. Г. Асланов. Правда, он избегает категорических утверждений. См. его статью «Заимствования из тюркских языков в пушту» (Труды Моск. Ин-та востоковедения. Сб. № 4. М., 1947, стр. 56). Противником этого мнения в XIX в. выступал английский ученый Раверти, а после него некоторые другие английские ориенталисты.

[2] Перевод сообщения Бакрана о халаджах приводится по рукописи его сочинения, хранящейся в секторе восточных рукописей Института востоковедения АН СССР в Ленинграде (в одном переплете с рукописью Худуд-аль-Алям). Это сообщение было, несомненно, известно В. В. Бартольду. Перевод текста имеется в «Материалах по истории туркмен и Туркмении», т. I, Л. 1939, а также в комментариях к «Khudud-al-'Alam or Regions of the World». London, 1937, стр. 348, Минорского, который впервые отметил значение этих сведений для вопроса о происхождении гильзаев.

[3] О том, что халаджи уже в X в. являлись ближайшими соседями афганцев, что судьбы этих племен были издавна тесно связаны между собой, говорят сообщения Утби (XI в.) о походе Себук-тегина (правил в

тюркских слов. Обобщающее указание И. В. Сталина дает возможность понять сущность подобного рода процессов. В своей работе «Марксизм и вопросы языкознания» И. В. Сталин характеризует процесс скрещивания языков так: «Совершенно неправильно было бы думать, что в результате скрещивания, скажем, двух языков получается новый, третий язык, не похожий ни на один из скрещённых языков и качественно отличающийся от каждого из них. На самом деле при скрещивании один из языков обычно выходит победителем, сохраняет свой грамматический строй, сохраняет свой основной словарный фонд и продолжает развиваться по внутренним законам своего развития, а другой язык теряет постепенно свое качество и постепенно отмирает»[1].

Из приведенных выше замечаний Бартольда по отдельным вопросам истории афганцев видно, что они ценны и мимо них нельзя пройти ни одному исследователю истории этого народа. Заслуги же В. В. Бартольда в изучении истории народов Средней Азии и Ирана общеизвестны. Ясно, что при исследовании истории Южного Туркестана и других территорий, входящих в состав северных и восточных областей нынешнего Афганистана, без работ Бартольда никому не обойтись. В этом отношении защищать Бартольда от нападок самого Бартольда не приходится.

Но следует решительно возразить против его другой, более общей и явно ошибочной оценки результатов работы по изучению Ближнего и Среднего Востока русскими востоковедами, видным представителем которых был и сам Бартольд,— оценки, содержащейся в цитированном уже его труде «История изучения Востока в Европе и в России».

Переходя от Афганистана к Персии (Ирану), В. В. Бартольд писал: «Русская литература о Передней Азии далеко не отличается тем богатством, как можно было бы ожидать по географическому положению России и по составу ее населения. Что на русском языке мало работ об Индии и Афганистане, отчасти объясняется скудостью материала, находящегося

977—997 гг.) в области, подчинявшиеся индийским правителям Кабула. Утби говорит, что халаджи и афганцы этих областей подчинились Себуктегину. О том, что халаджи были тюрками (огузами), говорит Махмуд-ибн-Хусейн-ибн-Махмуд аль-Кашгари. (см. «Китаб диван лугат-ат-тюрк». Константинополь, 1335 хиджры т. III, стр. 307). Истахри сообщает о халаджах, что они: «скотоводы, тюрки по виду, по одежде и по языку» и т. д.

[1] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат, 1953, стр. 29—30.

в распоряжении русских исследователей по сравнению с западноевропейскими, особенно с английскими, но бедность русской литературы о Персии и других мусульманских странах может быть объяснена только отсталостью русской науки».

Это в корне ошибочное мнение В. В. Бартольда опровергается и всей историей той области русской науки, освещению которой посвящены «Очерки по истории русского востоковедения».

Думается, что изложенный в настоящей статье краткий обзор наследства, оставленного советской афганистике дореволюционным русским востоковедением, достаточно убедительно показывает, что научная ценность этого наследства значительна. Другое дело, что исследование Афганистана путем поездок в эту страну было делом малодоступным для русских ученых, чем и вызывается относительная малочисленность наших источников по ней. Но, несмотря на все трудности, как можно видеть из упомянутых в настоящем обзоре русских источников (еще далеко не достаточно использованных советскими учеными) и из обзора кратко рассмотренных в нем исследований, они представляют собою ценный вклад в дело изучения Афганистана и населяющих его народов, в частности, самих афганцев.

Следует также подчеркнуть, что, как показывает приведенный обзор, мы имеем достаточные основания, чтобы утверждать со всей определенностью приоритет отечественного востоковедения в ряде вопросов, относящихся к изучению истории и языков народов, населяющих Афганистан.

Б. М. ДАНЦИГ

ИЗ ИСТОРИИ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ И ИЗУЧЕНИЯ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ

В одной из своих работ, посвященных Турции и турецкому вопросу, К. Маркс пишет: «Турция была до греческого восстания terra incognita (неизвестная земля) во всех отношениях, и распространенные на ее счет представления покоились больше на сказках из «Тысячи одной ночи», чем на исторических фактах»[1]. Отметив недостаточность сведений о Турции в Западной Европе, К. Маркс подчеркнул тут же, что «в России... нашлось достаточно людей, правильно понимавших истинное положение и характер Турции»[2]. Это понимание могло возникнуть только лишь на основах долговременных исторических связей между Россией и Турцией. Для того чтобы лучше понять характер исторических отношений России и Турции, следует проследить возникновение и развитие отношений между русскими и Ближним Востоком. Между тем ни в дореволюционной исторической литературе, ни в советской нет ни одной работы, посвященной специально истории изучения стран Ближнего и Среднего Востока в России. Необходимость же подобного рода работы давно назрела. Данная статья является первой попыткой дать более или менее полный и систематизированный обзор истории изучения Ближнего Востока в допетровской Руси.

Русские издавна познакомились с Ближним Востоком и его обитателями. Они располагали сведениями не только о ближайших греческих колониях (Сурож, Херсонес), но и о более отдаленных областях и странах — Византии, побережье Малой Азии, Армении, Месопотамии, Сирии и, возможно, о Египте.

Знакомство русских с Ближним Востоком началось значительно ранее XII столетия, от которого дошел до нас первый

---

[1] См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. IX, стр. 387.
[2] Там же.

письменный источник о путешествии на Восток — описание путешествия игумена Даниила.

С определенностью можно сказать, что славяне знали дорогу на Ближний Восток еще в VI—VII вв. «Уличи и тиверцы находятся в постоянном общении с Византией, то служа в византийских войсках, то совместно с славянами нападая на империю»[1], — отмечает акад. Б. Греков, — относя эти данные к событиям VI в. «В этот же период анты — русь входят в непосредственное общение с Византией и народами Востока и завязывают с ними постоянное общение»[2].

В середине IX в., в 842 г. русские воины побывали на южном берегу Черного моря, в Амастриде (Амасре)[3]. В 60—70-х годах IX в. арабский географ Ибн-Хордадбех писал: «Русские из племени славян вывозят меха бобров и чернобурых лисиц из самых отдаленных краев Славянской земли и продают их на берегах Румского (Средиземного) моря; тут царь Румский (Византийский) берет с них десятину. Когда им вздумается, они отправляются на Славянскую реку (Волгу) и приезжают в залив города Хозар (Итиль, близ устья Волги.— *Б. Д.*); тут дают они десятину владетелю этой страны. Затем они едут в море Джурджанское (Каспийское) и там пристают к любому берегу... Иногда случается, что они везут свои товары из Джурджана через Итиль в Багдад»[4].

Многочисленные византийские, арабские и армянские источники свидетельствуют, что русские военные отряды сражались в рядах византийских войск в Македонии, Армении, Сирии в конце X и начале XI столетия[5]. Первые сведения письменных источников о торговле русских с Византией через Черное море

---

[1] Акад. Б. Д. Греков. Культура Киевской Руси. М., 1944, стр. 29.

[2] Там же, стр. 20.

[3] См. труды В. Г. Васильевского. Русско-византийские исследования, т. III, СПб., 1915; а также П. Погодин. О походе руссов на Сурож. «Зап. Одесского Общ-ва истории и древностей», т. I. Одесса, 1844, стр. 195—196. Эта последняя статья, как указывает В. Г. Васильевский, написана А. В. Горским (см. цит. работу В. Г. Васильевского, стр. IV).

[4] Цит. у И. И. Срезневского (в переводе А. К. Казембека): Следы древнего знакомства русских с Южной Азией, «Вестник русск. географ. общ-ва», 1854, ч. X, стр. 52—53.

[5] См. Труды В. Г. Васильевского, т. III, СПб., 1915, стр. CXXIII; т. II, стр. 63; т. I, стр. 91, 201—203; В. Р. Розен. Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхьи Антиохийского. СПб., 1883, стр. 40 и примечания на стр. 312—313, 317 и 331—333; также Н. М. Карамзин. История Государства Российского. СПб., т. 1, 1816, стр. 129 и 169.

и с мусульманскими странами через Каспийское море относятся к 40-м годам IX в. Однако, несомненно, что торговые связи существовали уже задолго до этого времени.

Это близкое непосредственное знакомство русских людей с Ближним Востоком нашло свое отражение в нашем древнейшем замечательном памятнике — «Повести временных лет», охватывающем события из истории нашей родины до 1110 г. и представляющем, по выражению академика Б. Д. Грекова, «одно из произведений человеческого гения, которому судьба предназначила интерес на протяжении веков»[1].

«Повесть временных лет» содержит многочисленные данные географического, а также этнографического[2] характера и является, таким образом, первой русской сводкой географических сведений. Русский летописец знает не только географию своей страны. Перечень упоминаемых им стран весьма велик и свидетельствует о том, что летописцу известны почти все страны Балканского полуострова, Ближнего Востока, океанские берега Западной Европы, побережье Средиземного моря, нижнее течение Нила, Малая Азия, Каспийское море[3].

Сведения о далеких странах изложены в библейской легенде о разделе мира после потопа между сыновьями Ноя — Симом, Хамом и Яфетом. В этой легенде встречаются названия ряда стран и отдельных провинций Византийской империи в Малой Азии.

Так, например, «жребий Симов» — т. е. наследство Сима, включает в себя «Сурию, Мидию по Ефрат реку, Вавилон, Месопотамию, Аравию, Финикию» и др. Хам получил Египет, Ливию и ряд малоазиатских провинций — Киликию, Фригию, Ликию, Карию и др., «реку Гиону, зовемую Нил»; Яфет же получил Мидию, Армению и часть малоазиатских провинций, и также реку Тигр, текущую «межю Миды и Вавилоном»[4].

Исследователями давно установлено, что источником сведений для летописца о восточных и западных странах служили хроники Георгия Амартола и Иоанна Малалы, Палея, Паннонские жизнеописания Кирилла и Мефодия, библия, официальные документы, договоры и др.[5] Не подлежит никакому сомнению

[1] Акад. Б. Д. Греков. Ук. соч., стр. 70.

[2] См. М. О. Косвен. Из истории ранней русской этнографии. «Советская этнография» № 4 за 1952 г.

[3] См. Полное собрание русских летописей (в дальнейшем: ПСРЛ) (Лаврентьевская летопись), т. I, стр. 1—2, «Повесть временных лет», т. I, изд. АН СССР, М.—Л., 1950, стр. 9—10.

[4] ПСРЛ, стр. 9—10.

[5] М. С. Боднарский. Очерки по истории русского землеведения. М., 1947, стр. 6.

знакомство летописца с перечисленными источниками, но важно отметить, что, черпая из них данные, он не просто перечисляет те или иные страны, а дополняет их сведениями, полученными из рассказов людей, в свое время побывавших в этих странах

Около ста лет тому назад академик И. И. Срезневский, приводя слова той же летописи, что из Руси можно дойти до «жребья Симова» и до «племени Хамова» водными путями, совершенно правильно отметил: «Так представлял наш древний летописец водные пути не только своего, но и более отдаленного времени, пути, сближавшие Русь с отдаленными землями запада и востока,— представлял их себе, конечно, не по картам, а по памяти, и, следовательно, наслышась о них от тех, кто изведывал их в самом деле. Что их точно изведывали на самом деле промышленники русские с незапамятного времени, это отмечено было многими из наблюдательных людей того времени, куда они заходили, между прочим, и многими из географов арабских»[1].

В подтверждение этой своей правильной мысли И. И. Срезневский и привел цитированную ранее выдержку из рассказа Ибн-Хордадбеха.

Академик Срезневский совершенно правильно указывал: «В числе древних и старинных памятников русских осталось много замечательных и важных воспоминаний о Цареграде, на которых большей частью лежит печать современности»[2].

«Повесть временных лет» не только повторяла греческие хронографы, но, несомненно, отражала и сведения, полученные от лиц, бывавших на Востоке. Летописец говорит о пути из варяг в греки, зная два пути -- из Балтики в Средиземное море и из Балтики в Черное, упоминает Рим, Константинополь, море «понетьское» «еще море словеть русское», относит первый поход легендарного Кия на Константинополь к 854 г., далее рассказывает о походе Аскольда и Дира «на греки» (866 г.), заимствуя сведения о нем из греческой летописи, о походе Олега в 907 г., о посольстве Олега в 911 г. Имя Олега связано с заключением договора Руси с греками в 911 г. Рассказ о походе Игоря 941 г. интересен упоминанием о военных действиях не только у Константинополя, но и в Вифинии и в Пафлагонии, т. е. на южном побережье Черного моря: «Иже пойдоша, и приплуша, и почаша воевати Вифаньскиа страны, и воеваху по

---

[1] Акад. И. И. Срезневский. Следы древнего знакомства русских с южной Азией. Вестник русск. геогр. о-ва, ч. X, 1854, стр. 52—53.

[2] Акад. И. И. Срезневский. Повесть о Цареграде. Чтение академика Срезневского. СПб., 1855, стр. 3.

Понту до Ираклия и до Фафлагоньски земли, и всю страну Никомидийскую попленивше»[1]. Далее следует рассказ о договоре 944 г. между греками и русскими, затем о крещении (957) Ольги в Константинополе, о приеме которой в царьградском дворце упоминает Константин Багрянородный, о прибытии посольства великого князя Владимира в Царьград для «испытания веры». Позже, в 1043 г., в летописи отмечается поход Владимира, сына Ярослава, когда несколько кораблей было выброшено бурей на берег и часть русских воинов во главе с воеводой Вышатой, после ожесточенной битвы, попала в плен и была ослеплена. Воевода Вышата вернулся на Русь лишь через три года[2].

Таковы сведения летописи о посещении русскими Константинополя и северного побережья Черного моря, относящиеся ко временам, предшествующим «Крещению Руси», т. е. до 988 г.

Летописи не отражают оживленных торговых сношений этого же периода между Русью и арабскими странами. Однако сведения о торговле с Русью, имеющиеся у арабских географов, подтверждаются находками многочисленных кладов восточных (арабских) монет, найденных в России и относящихся к VIII—IX вв. Из этого можно сделать вывод, что не только арабы и посредничавшие в торговле волжские булгары бывали на Руси, но что и русские бывали в арабских странах.

После принятия христианства связи Руси с востоком усиливаются. Кроме воинов и торговых людей, посещают эти страны и представители русской церкви. Установившийся порядок присылки киевского митрополита из Византии вызывал многочисленные поездки духовных лиц из Константинополя на Русь и с Руси в Константинополь; кроме того, издавна совершались паломничества по «святым местам» не только духовных лиц, но и простых мирян. Паломники, или «калики»[3], совершали поездки и путешествия, о которых до нас дошли письменные сведения; о некоторых путешествиях упоминается в летописях. Однако о большинстве поездок, кроме этих упоминаний, нет никаких других сведений, но совершенно ясно, что каждая из поездок, расширяя кругозор самого путешественника, давала определенный круг сведений о Ближнем Востоке

---

[1] «Повесть временных лет», т. I, стр. 33.

[2] См. ПСРЛ, т. I (Лаврентьевская летопись), стр. 66—67; «Повесть временных лет», т. I, стр. 103—104.

[3] Слово «паломник» произошло от названия приносимых ими с собой пальмовых веток, а слово «калики» — от названия носимой ими обуви — латинского — calig'a — сапог.

не только ему самому, но и значительному числу лиц, соприкасавшихся с ним по возвращении его на родину.

Первый дошедший до нас письменный памятник о путешествии на Восток (хождение Даниила) относится к началу XII столетия. Тем не менее, в русских летописях упоминается о нескольких путешествиях в Византию, Палестину и на Афон уже в XI столетии. К 1013 г. относится упоминание о приходе Антония со «святой горы» в Киев[1]. О путешествии Антония же (очевидно, вторичном) и пострижении его на Афоне рассказывается в летописи Нестора под годом 6559 (1051 г)[2]. В летописи также упоминается имя Варлаама, игумена Дмитровского, ходившего на поклонение «святым местам» в Палестину. Еще ранее, в 1022 г., Феодосий Печерский встречает в Курске странников, идущих из «святых мест», и намеревается сам посетить Палестину[3]. О поездке на Афон Антония Печерского и его возвращении в Киев под годами — 6525 (1017) и 6535 (1027) упоминается в прибавлении к Ипатьевской летописи: «преподобный Антоний Печерский, оставив Киев, пойде паки во Святую Гору»[4]; «В лето 6535 (1027) преподобный Антоний паки прийде в Киев от Святыя Горы»[5].

Согласно преданию, на Афоне был заложен русский монастырь, не то при Владимире, не то при Ярославе. Это предание подтверждается только в сравнительно позднем известии, содержащемся в летописи под 1447 г., где упоминается о монастыре св. Пантелеймона на Афоне, «понеже бо из старины тот монастырь св. Пантелеймона в св. горе строение бяше прежних Великих князей русских от Великого Володимера»[6]. Сын Ярослава Всеволод женился на дочери императора из рода Мономахов. В 1073 г. в Константинополь ездил митрополит Георгий, а во второй половине XI в. там жил Ефрем Каженик, бывший домоправитель киевского великого князя Изяслава, впоследствии епископ Переяславский[7].

---

[1] Прибавление к Ипатьевской летописи. ПСРЛ, т. II, стр. 261.

[2] Там же, ПСРЛ, т. I, стр. 67.

[3] «Житие преподобного Феодосия, описанное Нестором» (см «Ученые записки II отд. Академии Наук», 1856, вып. II, стр. 133), в переводе на современный русский язык Филарета, епископа Харьковского.

[4] ПСРЛ, т. II, стр. 263.

[5] Там же, стр. 266.

[6] «История Русской церкви. Макарий, епископ Винницкий», СПб., 1857, стр. 174; Н. М. Карамзин. Ук. соч., т. VI, 181, стр. 481.

[7] Памятники древней письменности — «Посмертные чудеса святителя Николая». Труд Ефрема, епископа Переяславского. Сообщ. архимандрит Леонид.

В былинах известного «Владимирова цикла» сохранились отголоски многочисленных русских паломничеств в Палестину, которые имели место и при Владимире, т. е. в последней четверти X и начале XI столетий. Былины свидетельствуют, что паломничество носило распространенный характер, что совершалось оно большими группами, дружинами, часто по несколько десятков человек («сорок калик»).

В былине новгородского происхождения о Василии Буслаеве рассказывается, как он с товарищами отправился «Ко христову гробу приложитися, во Ердань реку окупатися». Былина о «сорока каликах» описывала их путешествие во главе с атаманом «ко граду Иерусалиму, святой святыни помолитися, господню гробу приложитися, во Ердань реке искупатися, нетленной ризой утеретися».

Повидимому событие, отразившееся в этой новгородской былине, описывается также в одном летописном сборнике XVI—XVII вв., где под 1163 г. помещен рассказ о том, как «ходиша из Великого Новагорода от святей Софии 40 муж калици ко граду Иерусалиму, ко гробу господню».[1].

В былинах имеются также и сведения о торговле с арабскими странами, так как в них упоминаются: золото и медь аравитские (или яровицкие), белохрущатая камка, узор которой описан в следующих словах:

«Хитрости Царяграда,
Мудрости Иерусалима»[2].

Паломничество было широко распространено. Рассказы паломников, людей, лично побывавших в странах Ближнего Востока, отразились и в повествованиях древнейшей русской летописи и в Киево-Печерском патерике.

Однако паломников-писателей русская литература не знала до начала XII в., до хождения игумена Даниила. «Хождение» Даниила, как и последующие «хождения» на Восток, описания которых дошли до нас, являются замечательными документами, написанными самими путешественниками, и хорошо известны в истории русской литературы. Это не только литературные

---

[1] История русской литературы. Изд. АН СССР, т. I, М.—Л., 1941, стр 366.

«В лето 6671 Поставиша Ио(а)на архиепископом Новогороду. При сем ходиша во Иерусалим калиицы при князе рустем Ростиславе. Сходиша из Великого Новагорода от святей Софеи 40 моужь калиицы ко граду Иерусалиму ко гробоу Господню». Отчет Публичной библиотеки за 1894 г. СПб., 1897, стр. 113—114.

[2] Л. Майков. О былинах Владимирова цикла. СПб., 1863, стр. 80.

памятники, но и древнейшие источники по истории русской географической науки и этнографии[1], по истории изучения Ближнего Востока. Путешествие Даниила, наряду с другими странствованиями, оставило заметный след в истории географических знаний[2]. «...Древняя русская литература представляет превосходнейший сборник географических сведений о восточном крае Средиземного моря и о Палестине и Сирии, составленный русским игуменом Даниилом, путешествовавшим в Иерусалим в княжение Святополка Изяславича»[3].

Даниил, игумен какого-то южнорусского, возможно, черниговского монастыря, посетил Палестину в 1106—1108 г.; свое путешествие он описал не позже 1113 г., так как в 1114 г. он уже умер[4]. Посещение Даниилом Иерусалима произошло вскоре после занятия его крестоносцами; Даниил был там при короле Болдуине I. Многие из виденных Даниилом храмов, монастырей и других крупных зданий впоследствии были разрушены — и поэтому описание их Даниилом и произведенные им измерения расстояний имеют большое значение. «В новейшее время археологи Палестины... поставили его показания по их точности, обстоятельности и достоверности выше всех и западных и восточных «путников» того времени. Археологическая ценность труда Даниила побудила перевести его уже для научных целей на французский, немецкий и греческий языки»[5].

В «Хождении» Даниила[6], так же как и в других «хождениях» паломников, много места уделяется описанию различного рода «святынь», «чудес», библейских легенд. Но наряду с этими описаниями в нем отмечаются и посещенные им местности, а также расстояния между ними, и даются сведения о некоторых сторонах хозяйственной деятельности.

---

[1] См. А. И. Першиц. Этнографические сведения об арабах в русских «Хождениях» XII—XIII вв. «Советская этнография», № 4 за 1951 г.

[2] Л. С. Берг. Очерки по истории русских географических открытий. Изд. 2-е, М.—Л., 1949, стр. 52.

[3] И. Д. Беляев. О географических сведениях в древней России. «Зап. Русск. географич. общ-ва», 1852, кн. VI, стр. 22.

[4] История Российской иерархии. Собр. иеромонахом Амвросием, М., 1807, ч. I, стр. 223.

[5] История русской литературы. Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, т. I, стр. 368—369.

[6] И. Сахаров. Путешествия русских людей в чужие земли. Изд. 2-е, СПб., 1837; Житье и хождение Даниила, русской земли игумена, под ред. М. В. Веневитинова. «Православный палестинский сборник», т. I, вып. 3 и 9, СПб., 1883 и 1885 (страницы указаны в тексте по И. Сахарову).

Даниил начинает описание своего путешествия только от Константинополя (поэтому нам не известно, каким путем он до него дошел). Он последовательно называет посещенные им места, но не дает им сколько-нибудь подробной характеристики, хотя бы с внешней стороны, отмечая, однако, некоторые, привлекшие его внимание хозяйственные стороны жизни. Так, он говорит, что на о. Хиосе «рождается мастика, и вина добрая, и овощи всяки» (стр. 5). Посетив Эфес, он рассказывает, что город удален от моря на 4 версты — «обилен же есть всем» (стр. 6).

Морское путешествие Даниила закончилось у Яффы. «Яфа же есть на брезе близ Иерусалиму, а оттуду идти по суху к Иерусалиму верст 30, да по полю 10 верст по горам до церкви святого Георгия (стр. 9) и воды многи суть...»

Естественно, что особое внимание путешественник уделил Палестине, Иерусалиму и его христианским святыням. Интересно описание внешнего вида Иерусалима: «Иерусалим есть град велик и тверд стенами, весь мокачен[1] на 4 углы, крестным образом создан; дебри же суть мнози и горы каменны около его. Безводно ж есть место вельми: нит ни реки, ни источника, ни кладязя близ Иерусалима, но токмо една купель Силуамля; но дождевою водою живут весь людье и скот во граде том и окрест Иерусалима» (стр. 27).

Даниил говорит о хозяйстве страны: «И жита много и добра рождается граду тому окрест Иерусалиму без дождя... родится пшеница и ячмень изрядно... ту суть же и винограды мнози около Иерусалима и овощная древеса бесчисленная по всей той земли и около Иерусалима рожаются смоквие, и масличие, и рожцы[2], и яблоки и инная всякая овощная древеса» (стр. 27).

Подробно описывает Даниил путь, совершенный им от Иерусалима до р. Иордан, отмечая, что по дороге «погании ж мнози приходят, и избивают христиан в горах и дебрех страшных» (стр. 28). Рассказывает Даниил и о животном мире близ Иордана. «Звери мнози живут: ту есть свиния дивия, без числа много и пардуси (т. е. леопарды — *Б. Д.*) мнози ту суть. Львове ж есть обон пол Иордана в горах каменных...» (стр. 31).

В ярких красках дано описание Содомского (Мертвого. — *Б. Д.*) моря, хотя сам Даниил не посетил моря боязни ради «поганых» и дает его с чужих слов: «Море ж то Содомское мертво есть, и не имать ничтож в себе животна: ни рыбы, ни рака

[1] Вероятно описки в списке, так как в других списках «стенами же всеми тверд окачен: или «всем окачен», т. е. «весь стенами округлен, окружен».

[2] «Рожцы» — турецкие рожки (плод).

нисколько; но аще быстрина Иорданская внесет рыбу в море, то не может жива быть ни мала часа, но вскоре погибает. Исходит бо из дна моря смола черна и плавает та смола с верха воды а смрад же исходит из моря того несказан» (стр. 37).

Даниил путешествовал по Палестине в то время, когда там правил Болдуин, король Иерусалимский (1100—1118); он упоминает о военных действиях между фрязами (т. е. крестоносцами) и сарацинами (т. е. арабами). Русскому путешественнику пришлось побывать и у тех и у других, так как он сопровождал Болдуина в одном из походов этого короля на Дамаск. В обоих лагерях к Даниилу отнеслись дружественно, и он сам, хотя и называет сарацинов — «погаными», относится к ним без всякого пренебрежения и нетерпимости. Обратный путь к Царьграду и далее на Русь Даниил не описывает.

Даниил путешествовал не один — он упоминает и о своей дружине, и о русских, встреченных им в святой земле: «Мне же худому Бог послух... и вся дружина моя, Русские сынове, приключившаяся тогда, и Новгородци, и Кияне, Седеслев Иванкович, Городислав Михайлович, и Кашкичеч два и ини мнозие, иже то сведают о мне» (86).

Путешествие Даниила является замечательным свидетельством интереса к отдаленным странам в древней Руси. Этот памятник дает много сведений о восточной части Средиземного моря и Палестине. Особого упоминания заслуживает высокий патриотизм Даниила. В далеких землях он рассматривал себя как представителя всей русской земли и подчеркивал именно в этой связи особые знаки внимания, оказываемые ему и арабами и крестоносцами. Он приводит свои слова, обращенные к Болдуину:

«Молю ти ся Бога деля и Князей деля русских; хотел бых и аз поставить кандило свое на гробе Святем Господнем от всея Русския земли и за вся Князи наши, и за вся христиане Русския земли» (стр. 80). Болдуин также видел в нем не просто паломника и оказывал ему особое внимание как представителю русского государства, ясно показывая, что «Русь действительно знали во всех концах земли. И не только знали, но и признавали»[1].

С особой гордостью Даниил отмечает в конце своего «хождения»: «Бог тому послух и святый гроб Господен, яко во всех сих местех святых не забыл имен Князей Русских, и Княгинь их, и детей их, ни епискип, ни игуменов, ни боляр, ни детей моих духовных, ни всех христиан, ни коли же не забыл есмь, но везде поминал есть» (стр. 89).

---

[1] Акад. Б. Д. Греков. Киевская Русь. М.—Л., 1944, стр. 336—337.

После Даниила в течение XII в. нам не известно ни одного путешествия на Восток, описания которого дошли до нас; тем не менее, несомненно, подобные путешествия совершались не раз.

Так, летопись сообщает, что в Константинополь была выдана замуж дочь Володаря (6612—1104) — «Ведена дщи Володарева за царевичь за Олексиничь, Царюгороду»[1], и в том же году отмечает приход на Русь митрополита Никифора. Можно с уверенностью предположить, что в обоих случаях ездила и большая свита.

Под годом 6653 (1145) летопись отмечает поездку в Константинополь митрополита Михаила из Киева[2]. Не останавливаясь на многочисленных поставлениях митрополитов, всегда сопровождавшихся или приездом грека, поставленного на митрополичий престол из Константинополя в Киев, или, наоборот, поездкой русского кандидата из Киева в Константинополь и обратно, о которых неоднократно упоминает летопись,— отметим некоторые другие путешествия.

За время между 1145 и 1163 гг. в летописи сообщается о доставке в Киев двух икон из Константинополя, а также упоминается, что в Византию был отправлен архиепископ Новгородский Нифонт,— но, очевидно, поездка эта не состоялась[3]; под годом 6672 (1164) отмечается суд в Константинополе над Суздальским епископом Леоном по обвинению его в еретичестве. На суде присутствовали послы Киевский, Суздальский, Переяславский и Черниговский[4]. В следующем же году (6673) летопись отмечает, что Ярослав послал в Константинополь епископа Кузьму и «лучших мужей» своих. Отправлены они были вместе с прибежавшим оттуда «братаном царевым Андроником»[5]. К концу последней четверти XII в. относится легенда о путешествии в Византию и Палестину полоцкой княжны, дочери полоцкого князя Георгия Всеславича, Предиславы (в монашестве Ефросинии) с братом и родственницей.

---

[1] ПСРЛ, т. I, стр. 119 (Лаврентьевская летопись).

[2] ПСРЛ, т. I, стр. 136 (Лаврентьевская летопись).

[3] В Новгородской летописи. В лето 6664... Тои же весне преставися архепископ Нифонт, априля в 21 дня бяше Кыеву противу митрополита, инии же мнози глаголаху, яко полупив святую Софию пошел Царюграду. (ПСРЛ, т. III, стр. 12. Новгородская первая летопись).

[4] ПСРЛ, т. I, стр. 150 (Лаврентьевская летопись).

[5] ПСРЛ, т. II, стр. 93 (Ипатьевская летопись): «Прибеже из Царягорода братан царев кюр Андроник к Ярославу у Галичь, и прия и Ярослав с великою любовью... потом же присла царь два митрополита, забя и к собе, Ярослав же пусти к нему с великой честью, приставив к нему пискупа своего Кузму и мужа своя передния».

Легенда об ее странствовании, имеющаяся в «Минее Четье», «Прологе» и «Степенной книге», была опубликована Сахаровым[1].

Мы привели далеко не полный перечень, свидетельствующий о том, что не малое количество русских людей побывало в XII в. на Ближнем Востоке. Хотя до нас не дошло никаких сведений о том, что видели и где побывали многочисленные путешественники, но можно ли сомневаться, что, возвращаясь из своих дальних странствий, все они рассказывали своим современникам о виденном, расширяя тем самым круг их представлений о странах Ближнего Востока.

Весьма интересный рассказ о посещении Константинополя новгородцем Добрыней Ядрейковичем сохранился в нескольких русских летописях. Добрыня Ядрейкович, впоследствии архиепископ Новгородский Антоний, пробыл в Константинополе с 1200 по 1204 г. Свое путешествие он описал уже после принятия монашества и избрания архиепископом Новгородским в 1212 г.[2]

О своем пути в Константинополь он ничего не говорит, но его «книга паломник» содержит интересное описание этого города до разграбления его крестоносцами. Описание было настолько подробным и тщательным, что привлекло внимание археологов, переведших его на французский и латинский языки. Большую ценность имеют сведения автора-очевидца о Софийском храме и его сокровищах, впоследствии разграбленных крестоносцами. В Константинополе внимание путешественника привлекли также ипподром («подромия»), бани и водопровод. «И баня патриархова на полатах. Воды же по трубам возведены, а другая дождовая» (стр. 23). Упоминает Добрыня и о «Коневом торге» (стр. 23), т. е. о форуме Константина, называет несколько раз города Хрисополь и Калиполь, но трудно сказать, посетил он их лично или же описывает находящиеся там святыни с чужих слов. Путешествие Добрыни Ядрейковича интересно деталями, дополняющими более ранние сведения о сношениях между Русью и Византией. Он упоминает о том, что видел в Софийском соборе золотое блюдо, поднесенное княгиней Ольгой (стр. 3), что он встретил в 6708 г. в Кон-

---

[1] И. Сахаров. Сказания русского народа, т. II, кн. 8, СПб., 1849, стр. 91—94.

[2] Книга паломник. Сказание мест святых во Цареграде Антония архиепископа Новгородского в 1200 году. «Православный палестинский сборник», том XVII, вып. 3, под ред. Лопарева или «Путешествие новогородского архиепископа Антония в Царьград в конце XII столетия». С предисловием и примечаниями П. Савваитова. СПб., 1872 (ссылка на стр. в скобках по книге паломник).

стантинополе людей из русского посольства великого князя Романа (Галицкого). Об этом посольстве Романа Мстиславовича Галицкого, защищавшего греческую империю от половцев во Фракии в 1203 г. (стр. 15), ничего не говорят другие источники. Далее Добрыня Ядрейкович упоминает о могиле попа Русина, трижды ходившего в Иерусалим.

От первой четверти XIII столетия дошел до нас и другой письменный памятник — описание путешествия киево-печерского архимандрита Досифея на Афон[1].

Затем в письменных сведениях о русских путешествиях на Восток наступает перерыв в полтораста лет. Это было тяжелое время монголо-татарского нашествия на Русь и захвата Византии крестоносцами. Все же в летописях упоминаются некоторые факты, свидетельствующие о неоднократных поездках в Константинополь духовных лиц. В большинстве эти путешествия были связаны со сменой митрополитов.

Кроме поездок церковных иерархов совершались также и паломничества мирян. В описании столкновения между русскими и татарским баскаком где-то в Курской области, в 1283 г., летописец прямо называет русских паломниками[2].

К числу паломников конца XIII и начала XIV вв. принадлежит новгородский священник Григорий, впоследствии ставший известным новгородским архиепископом Василием. Этот архиепископ в послании о «земном рае» упоминает о своем путешествии в «святую землю»[3]. Он не оставил записи о своем путешествии. Другой новгородец, Стефан, с восемью товарищами посетивший Константинополь около 1350 г., описал свое пребывание там[4]. В отличие от более ранних паломников Стефан относительно меньше внимания уделяет святыням — его привлекают памятники искусства, архитектура, бани и торговые площади.

«В этих записках находим описание тогдашних Константинопольских замечательностей, с подробностями, превосходно характеризующими дух того времени, как в Константинополе, так и в Новгороде. Стефан упоминает и о встрече со своими земляками, проживавшими в Константинополе»[5].

---

[1] История Русской церкви Макария, арх. Харьковского, т. III, СПб., 1868, стр. 201—203.

[2] Л. Майков. Материалы и исследования по старинной русской литературе. СПб., 1890, стр. 41—42; Также ПСРЛ (Лаврентьевск. летопись), т. I, стр. 206.

[3] Л. Майков. Ук. соч., стр. 42.

[4] См. И. Сахаров. Ук. соч., т. II, кн. 8, «Странник Стефана Новгородца», СПб., 1849, стр. 50.

[5] И. Д. Беляев. Ук. соч., стр. 43.

Описание Константинополя Стефан начинает со столпа Юстиниана и храма Софии, отмечая при этом встречу и беседу с патриархом Исидором и указывая, что патриарх «вельми любит Русь» (стр. 51). Сильное впечатление на Стефана Новгородца произвела внутренняя гавань Константинополя, а также византийский флот... «ту стоят дивно врата градныя, железныя, решетчатыя, велики вельми; теми бо враты море введено внутрь града. И коли бывает рвение морю, и ту держат карабли катархи до трехсот; имеют же катархи весел 200, а иные 300 весел. В тех судах рать по морю ходить; а ож будет ветр, и они тогда не могут бежать, зане бо ветром ся гонят, а корабль стоит и погоды ждет» (стр. 53).

При посещении Студийского монастыря, в Константинополе, Стефан Новгородец отмечает весьма важный факт: «Из того бо монастыря в Русь посылали много книг» (стр. 53).

Рассказывая о встрече в монастыре со своими земляками, новгородцами Иваном и Добрилой, Стефан говорит, что они «ныне живут туто, списаючи в монастыре Студийском от книг святого писания, зане бо искусни зело книжному списанию» (стр. 54). Списывание книг, а, возможно, и перевод их на русский язык, в Константинополе производилось и раньше, как это отмечалось выше.

Ко второй половине XIV в. (повидимому к 70-м годам) относится хождение архимандрита Агрефения (или Грефения) из Смоленска[1]. Агрефений отправился из Москвы через Тверь.

Он добрался до Аккермана (Белгород), а оттуда в Константинополь. Агрефений также посетил Александрию, Каир, Дамаск, Иерусалим, Антиохию. Описаний городов он не дает, но приводит сведения по сельскому хозяйству; рассказывает, что на острове Стихиа «ражается мастикая» (стр. 1), на Кипре — много сахара (стр. 2). «Рамле село велико, торьг в нем силень» (стр. 2), в Галилее «орють, сеють пшеницю и ячмен промежоу масличья и мигдалов» (стр. 2), т. е. миндальных деревьев. Рассказывая об Иордане, автор также отмечает: «Тоу ражаются мьнога овощья, яблока райская, дыни, нараньзи и сахар» (стр. 16). Он говорит также, что вблизи Хеврона (в Палестине) арабы делают много стекла.

К 1376—1389 г. относится несколько поездок на Восток, связанных с вопросом о замещении митрополичьей кафедры

---

[1] См. «Хождение архимандрита Агрефения, около 1370 г. «Православный палестинский сборник», 48, вып. (т. XVI, вып. 3) под ред. архимандрита Леонида. СПб., 1896 (ссылка на стр. в скобках); см. также: «Русский филологический вестник», 1884, № 4; 1885, № 1, статья Я. И. Горожанского «Хождение архимандрита Грефения в св. Землю».

после смерти митрополита Алексея, о чем упоминается в летописях. Именно в это время, уже не в первый раз, имели место серьезные разногласия между Москвой и Константинопольским патриархом по вопросу о кандидате в московские митрополиты. Великий князь Дмитрий Иванович (Донской) настойчиво стремился поставить в митрополиты своего русского кандидата. Эти споры между Москвой и Константинополем находили отражение и в среде духовенства в России. В связи с этим вопросом было совершено несколько поездок в Константинополь, например, в 1379 г.— Митяя[1], умершего на пути между Кафой и столицей Византии и похороненного в Галате. Вместе с ним ездил и Пимен, поставленный в митрополиты (1383). Пимен ездил в Константинополь еще два раза — в 1385 и 1389 гг.[2] В последнюю поездку он умер в Константинополе.

С последней поездкой Пимена и связано, получившее широкую известность в литературе, так называемое «Пименово хождение», автором которого является находившийся в посольстве Пимена Игнатий, по прозвищу Смольнянин, описавший все путешествие в Византию и свое паломничество в Иерусалим. В. В. Бартольд, упоминая об этом хождении, ошибочно указывает, что Пимен трижды ходил в «святую землю»[3]. В действительности Пимен в Палестине не был вовсе, а ездил три раза только в Константинополь.

Пимен дал Игнатию такое указание: «Писати сего путешествование все, како поидоша и где что случися или кто возвратится или не возвратится вспять» (стр. 97). Это очень ценная и любопытная деталь. Даниил и Добрыня Ядрейкович, Стефан Новгородец и др. описывали все, что видели, что привлекало их внимание. Вряд ли они заранее ставили перед собой задачу — описать путешествие, когда они выезжали с Руси. Иное дело — Игнатий Смольнянин. Перед ним была поставлена определенная цель, и он с успехом справился с порученным ему делом.

Записки Игнатия Смольнянина[4] состоят из нескольких разделов — путевых записей от Москвы до Константинополя,

---

[1] ПСРЛ, т. VIII, стр. 30—32 (Воскресенская летопись). С Митяем, кандидатура которого поддерживалась великим князем, ехала огромная свита из нескольких архимандритов, игуменов и др., а также весь клир Владимирской соборной церкви и много слуг, «и бысть их полк велик зело».

[2] ПСРЛ, т. IV, стр. 91 и 96 (Новгородская четвертая летопись).

[3] В. В. Бартольд. История изучения Востока. Л., 1925, стр. 170.

[4] И. Сахаров. Сказания русского народа, кн. 8. «Путешествие диакона Игнатия в Царьград и Иерусалим», СПб., 1849, стр. 92 и далее

рассказа об Амурате (включенного не во все издания и, очевидно, Игнатию не принадлежащего, а присоединенного позже), описания церемонии коронования императора Мануила и сведений о путешествии «по святой земле».

Посольство выехало из Москвы 13 апреля 1389 г. и прибыло в Константинополь 29 июня. Его путь лежал через Азов и Черное море. Во время плавания по Черному морю кораблю пришлось зайти в Синоп, укрываясь от встречных штормовых ветров. «Таже в пятый день в четверток возвея ветер супротивен зело, и поведе нас по морю в левую страну к Синопу граду и впадохом в Лимен близ града Синопа. И нецыи из града Синопа излезше, посетиша нас и пищею и вином угостивши добре, и тамо пребыхом два дни» (стр. 98). Это первое, отмечаемое нашими путешественниками, посещение малоазиатского побережья.

Далее русские путешественники плыли вдоль побережья, имея по левую сторону от себя, на юге, горы Понтийского Тавра, о которых Пимен сообщает: «бяхуж тамо горы высоки зело, и половину убо тех гор закрывахусь облацы, преходяще по воздуху» (стр. 99). На пути из Синопа из-за бурь путешественники принуждены были пятнадцать дней провести в Пандераклее (Эрегли), затем остановились у устья реки Сакарья и после этого оказались в Астравии, вблизи устья Босфора. Здесь-то они и услыхали о столкновении турецкого царя с сербским царем Лазарем (речь идет о битве на Коссовом поле). «...Приидохом во град Астравию и тамо пребыхом и пытающе вестей о Амурате царе: бяше бо царь Амурат Турский пошел ратью на сербского царя Лазаря»[1] (стр. 99). Об «Амурате царе» они слышали раньше, так как специально «пытали» вести о нем. Из Астравии, минуя Риву и Филию, вошли в устье Босфора. Описывая пребывание в Константинополе, Игнатий прежде всего рассказывает о встрече в день приезда с проживавшими там русскими:«... «приидоша к нам Русь, живущая тамо. И бысть обоим радость велия» (стр. 100). Об этой встрече проф. Тихомиров пишет: «Русская колония в XIV веке, видимо, находилась в северной части Константинополя, в непосредственной близости к Золотому Рогу... Отсутствие указания на духовенство среди там «живущей Руси» показывает, что встречу московским гостям организовали не духовные, а светские лица.

(ссылка на стр. в скобках). См. также «Православный палестинский сборник», 12 вып. (т. IV, вып. 3). «Хождение Игнатия Смольнянина» под ред. Арсеньева. СПб., 1887.

[1] Пимен был в Астравии в конце июня, примерно через две недели после битвы (15 июня 1389 г.).

Вероятно, это были купцы, осевшие в Византии и не порвавшие еще связей со своей родиной»[1].

Игнатий не ограничился только описанием города, но дал также и некоторые сведения о происходивших в то время в Константинополе событиях, а именно о столкновении двух враждовавших между собой групп — императора Иоанна и Мануила. От его внимания не ускользнуло, что Иоанн (он его называет Колоан, Андроников сын) «нача искати в Царьграде царства с турской помощью». Это весьма ценное свидетельство характеризует обстановку в Византии.

Игнатий подробно описал торжественную церемонию коронации Мануила в Софийском храме, отметив при этом некоторые бытовые особенности. Он сообщает, что женщины находились в храме отдельно от мужчин, подробно рассказывает об одеждах византийцев и присутствовавших на церемонии коронации иностранцев, о царском шествии, продолжавшемся три часа и т. д.

Игнатий не сообщает подробностей о своем путешествии в Иерусалим, и глава, ему посвященная, содержит лишь описания религиозных достопримечательностей, составленные в манере обычного паломнического хождения.

Почти в одно время с Игнатием в Константинополе побывал дьяк Александр, приезжавший по торговым делам[2] «Аз диак Александр приходихом куплею в Царьград». «Сказания» дьяка Александра о святынях Константинополя отмечаются летописью[3]. Совершил ли дьяк Александр путешествие в Константинополь самостоятельно, или он находился в числе лиц, сопровождавших Пимена,— вопрос невыясненный. Во всяком случае, упоминания о некоторых фактах, сообщаемых Александром, имеются и у Игнатия. Дьяк Александр описывает только Константинополь. Как бы дополняя сообщение Игнатия о турецкой помощи Иоанну, он отмечает: «Приходил царь Калачан Андроников сын с туркы ко Царюграду; и выехал царь Мануил с Греци и с Фрязы, и прогонил Туркы» (стр. 72).

В XIV в. на Руси многое было известно о положении в восточных странах, не только по слухам, но и со слов очевидцев. Это видно из летописных рассказов о различных событиях, в частности, из сообщений о завоеваниях Тимура: «...О сем убо Темир Оксаце поведаша... Темир бо зовется железо, а Аксак хромець». Среди покоренных им стран и городов называются

---

[1] М. Н. Тихомиров. Византия и Московская Русь. «Исторический журнал», № 1—2, 1945, стр. 9.

[2] И. Сахаров. Ук. соч., т. II, кн. 8, стр. 71—72.

[3] ПСРЛ, т. IV, стр. 101, 357—358 (Прибавления).

(под 6903 г.) «...Савас, Арзунум..., Тевризий..., Багдат..., Асирия, Вавилоньское царство..., Севастия, Армения»[1].

Московские князья давно уже знали о тяжелом положении византийских императоров, призрачная власть которых к концу XIV в. ограничивалась по существу, одним Константинополем. В Москве было известно об осаде Византии Баязидом, о чем в летописи (под 6905 г.) говорится так: «Царь Турский Бааз, Амуратов сын, пришед оступи Царьград со многими силами, и по морю и по суху, и стоя 7 лет, но не взя его; а прочая грады Греческие поплени»[2] и «Злочестивый царь Турскый, сын Амуратов, брат Чалибеев, именем Баазыть, събра воя многы, и пришед город оступи с все стороны, и пути переа по морю и по суху, и стоя под городом 7 лет, надеяся взяти его, а прочиа окрестныа многы грады и страны Греческиа взяша и поплениша»[3].

В это тяжелое для Византии время русские князья, в том числе великий князь Дмитрий Иванович, в 1398 г. послали к императору и патриарху много серебра с чернецом Родином Ослебятею, отправил деньги также и тверской князь Михаил Александрович с протопопом Даниилом[4].

К концу XIV или началу XV в. относится сказание Епифания о пути в Иерусалим. Очевидно, Епифаний совершил путешествие лично[5].

От побывавших на Востоке лиц дошли до летописца слухи о разгроме Тимуром турок под Анкарой в 1402 г.: «Того же лета (6909 г.) царь Темир Аксак посла сына боронити Царяграда; он же бив турки возвратися»[6].

Сражение под Анкарой на 50 лет отсрочило падение Византии, положение которой продолжало однако все это время оставаться весьма тяжелым. В этих условиях укрепление связей с Русью было для византийских императоров важной задачей. Одной из форм укрепления этой связи явился брак дочери великого князя Василия Дмитриевича Анны с царевичем Иваном Мануиловичем, о котором сообщает летописец под 6919 г. «И князь великий Василей Дмитриевич да свою дочерь Анну

---

[1] ПСРЛ, т. VI, стр. 124—125 (Софийская вторая летопись) и т. VIII, стр. 65 (Воскресенская летопись).

[2] ПСРЛ, т. VI, стр. 130 (Софийская вторая летопись).

[3] Там же, т. VIII, стр. 71 (Воскресенская летопись).

[4] ПСРЛ, т. VIII, стр. 71; ПСРЛ, т. VI, стр. 130 (Софийская летопись).

[5] Об этом сказании упоминает в своей статье С. Пономарев. «Сборник Отделения русского языка и словесности». Изд. Академии Наук, т. 17, № 2, СПб., 1877, под № 32, стр. 5.

[6] ПСРЛ, т. VI, стр. 131 (Софийская вторая летопись).

в Царьград за царевича Ивана Мануиловича»[1]. Карамзин на основании византийских известий относит этот брак в 1414 г.[2]

В свите Анны, сопровождавшей ее в Константинополь, находился инок Троице-Сергиевского монастыря Зосима. Это было его первое путешествие на Восток. Второе путешествие он совершил в 1419—1420 г., описание этого путешествия сохранилось[3].

Путь Зосимы пролегал из Москвы через Киев, далее на Белгород (Аккерман), затем морем до Константинополя. После Константинополя, подробно им описанного, он отправился на Афон, затем через Хиос в Иерусалим, куда прибыл в апреле 1420 г., и через год снова вернулся в Константинополь, где прожил несколько месяцев. Зосима был последним русским путешественником, оставившим описание Константинополя при византийских императорах. Через тридцать лет после его пребывания там город был захвачен турками. Описание Зосимы отличается исключительной полнотой.

Зосима останавливается не только на «святых местах» Константинополя. Он рассказывает о многих достопримечательностях города: о конной статуе Юстиниана, об ипподроме, о медном витом столпе со змеиными головами. Он сообщает о своем посещении могилы царицы Анны, сопровождая которую он побывал в Константинополе за несколько лет до своего второго путешествия. Зосима отметил, что «Царьград стоит на 3 углы, 2 стены от моря и 3-я от Западу, приступ ратных» (стр. 9). На противоположной стороне, которая «зовесь Скутарь место», находилось, по словам русского путешественника,— торговище, где «съежжаюсь Турчане, а с сея страны Греки и Фрязове и торгуют между собою» (стр. 10). Это сообщение, свидетельствующее о торговых отношениях между турками и жителями Византии, указывает на то, что византийцы избегали впускать турок в Константинополь для торговли.

По пути к Афону Зосима описывает острова Мармара: «в сем острове цариградци колют мармар и мостят церкви и полаты во Царе-граде» (стр. 11).

[1] ПСРЛ, т. IV, стр. 113 (Новгородская летопись).

[2] Н. М. Карамзин. История Государства Российского. СПб., 1817, т. V, стр. 493 (примеч. 231), стр. 217.

[3] «Хожение инока Зосимы». Под ред. Лопарева. «Православный палестинский сборник», 24 вып. (т. VIII, вып. 3), СПб., 1889 (ссылка на стр. в скобках). См. также «Книга глаголемая Ксенос сиречь странник, Зосимы дьякона о пути Иерусалимском до Царяграда и до Иерусалима в сборнике И. Сахарова «Сказания русского народа».

Среди перечисленных им названий двадцати двух монастырей на Афоне имеется и русский монастырь святого Пантелеймона (стр. 11). После Афона Зосима посетил Салоники. Из Салоник, на пути в Иерусалим, он остановился на о. Хиосе. Зосима указывает, что на Хиосе правит венецианский капитан («сиречь князь от Зены великия») (стр. 13).

Высадившись на палестинском берегу, путешественник с большими трудностями дошел до Иерусалима. Он объясняет эти трудности «злых ради арапль». Нападениям со стороны арабов он подвергался не один раз. Около Мертвого моря напавшие на него арабы нанесли ему увечья: «Наидоша на ны злыи Араполевы и возложиша на мя раны доволны и оставиша мя в полы мертва, отъидоша во своязи» (стр. 20). Из Палестины, через Яффу, Зосима отплыл на Кипр, отметив, что столицей его является «град великий стольный Левкусия». Островом правил католический (фряжский) «рига, сиречь князь». На острове, сообщает Зосима, «родится сахар и рожки» (стр. 23—24).

Заслуживает упоминания приведенный Зосимой список подчиненных Египетскому султану округов и имена владетелей в Египте и в Дамаске. Акад. И. Ю. Крачковский указывает, что «приведенные у Зосимы имена египетских и дамасских правителей, равно как список подчиненных Египту округов говорят о большой точности сведений. «А во Египте султан, сиречь царь, имя ему Тотар, а в Дамасце Цембак»; не трудно догадаться, что в первом надо видеть мамлюкского султана аз-Захира Сейф ад-дина Татара, а во втором — одновременного ему правителя Дамаска Чакмака[1].

На пути от Родоса к острову Лесбос корабль, на котором плыл Зосима, подвергся нападению пиратов. Зосиму ограбили «во едином сукманце оставиша». От Лесбоса Зосима отплыл в Константинополь и оттуда — на родину. О последнем этапе своего путешествия Зосима ничего не сообщает.

«Ксенос» Зосимы отражает разнообразие интересов русского путешественника. Он говорит о сборе путевых пошлин на границах, рассказывает о крепостных стенах Константинополя, приводит некоторые сведения исторического характера, останавливается на обрядовой стороне христианских вероисповеданий. Зосима сообщает о виденном им в путешествии: «и видехом землю и горы, их же есмы и в писании не слышах, и ходихом по Лукоморью». Из этих слов можно сделать вывод, что путь в Палестину в XV в. нашим предкам был уже знаком

---

[1] Акад. И. Ю. Крачковский. Очерки по истории русской арабистики. М.—Л., 1950, стр. 18.

по книгам: что они изучали маршрут еще дома, а во время самого путешествия преимущественно старались посещать места, уже известные по описаниям, прочитанным в книгах; их занимала география, по крайней мере, тех мест, с которыми были связаны легенды о земной жизни Христа[1]. Конечно, интересы путешественников на самом деле были гораздо более широкими. Ведь Зосима сам рассказывает, что с ним вместе из Киева отправились купцы, шедшие на Буг, Днестр и даже к Черному морю; да и сам Зосима интересовался далеко не только «святыми местами» и легендами. После путешествия Зосимы многочисленные поездки по делам митрополии в Константинополь не прекращались до самого взятия его турками.

В 1448 г., за пять лет до захвата Константинополя турками, собор русских епископов поставил в митрополиты Иону, епископа рязанского, все же получившего утверждение в Константинополе. После 1448 г. в Москве не было больше греческих митрополитов, и «поставление» их происходило без участия Константинополя. Этот факт отмечает летописец: «Сего же Иону митрополита поставиша на Москве архиепископы и епископы, по благословению патриарха Цареградского: ходил бо сей Иона в Царьград и взя благословение у патриарха, и от сих мест начаша ставити митрополитов на Москве, к Царюграду не ходя; обладал бо бяше Царемьградом Турский царь, и царя уби, и пути не дасть, и поча царствовати в нем»[2]. Запись летописи относится к 6969 (1461 г.), т. е. спустя 8 лет после захвата Константинополя турками. Самый захват города турками — огромное исторической важности событие — конечно, был отмечен летописцами много раньше.

Взятие Царьграда нашло свое отражение в замечательном документе, так называемой летописи Нестора Искандера «Повесть о взятии Царьграда» — несомненно, написанном очевидцем. Рассказ ведется от имени участника осады Константинополя, служившего в турецких войсках. Не подлежит никакому сомнению, что автор был христианином, который попал в плен к туркам «и отурчился». Происхождение его с точностью не установлено, неизвестно, был ли он русским или греком[3].

---

[1] См. И. Д. Беляев. Ук. соч., стр. 200, 201.

[2] ПСРЛ, т. VIII, стр. 149 (Воскресенская летопись).

[3] ПСРЛ, т. VIII (Воскресенская летопись), стр. 128—144; Памятники древней письменности и искусства — «Повесть о Царьграде (о его основании и взятии Турками в 1453 г.) Нестора Искандера XV века». Сообщил арх. Леонид. СПб., 1886; рецензия Г. Дестуниса. «Новоизданный список повести о Царьграде» (ЖМНП, февраль 1887, ч. 249, стр. 366—387); История русской литературы, т. II, ч. 1, Изд. АН СССР, М.—Л., 1946, стр. 222—223.

Взятие Константинополя не ослабило, а скорее усилило интерес к Востоку в Москве, где отчетливо поняли опасность, которую представляла для Руси агрессия турецкой державы, особенно с момента подчинения ею своему влиянию в 1475 г. разбойничьего гнезда крымских ханов.

Интерес на Руси к событиям и обстоятельствам, связанным с утверждением власти турок на Балканском полуострове, существовавший еще и до падения Константинополя, нашел свое «литературное отражение как в общерусских сводах, так и в специальном обзоре мировой истории, в Хронографе, основа которого была составлена на Руси сербом, по русскому заказу, вероятно, в 1442 году»[1]. Интерес к Востоку после взятия Константинополя турками проявлялся не только со стороны официальной Москвы, но также и со стороны духовенства и торговых людей. Еще до посылки в Турцию первого русского посольства было совершено туда несколько путешествий. До нас дошло описание путешествия гостя Василия, свидетельствующее об оживленной торговле с пунктами, находящимися в глуби Малой Азии. Гость Василий[2], посетивший Малую Азию, Сирию и Палестину в 1465—1466 гг., начинает рассказ о своем путешествии с Бруссы (повидимому, он уже побывал и в Константинополе, так как сравнивает с ним Бруссу), откуда он добрался до Каира, пройдя через ряд малоазиатских и сирийских городов[3].

В Каир он прибыл 18 декабря 1465 г., через сто дней после выхода из Бруссы. Пробыв в Каире до 14 января 1466 г., он направился в Иерусалим и вернулся в Бруссу в конце апреля — начале мая 1466 г. Его путь от Бруссы шел сперва на Восток, почти параллельно берегу Черного моря, и затем уклонился к югу. Обратно из Иерусалима, от Алеппо он проследовал через Адану, Конью, Акшеир, Карахиссар. Таким образом, в течение своего восьмимесячного путешествия Василий побывал почти во всех малоазиатских городах. Он описал их местоположение, реки, протекающие через них, оросительные системы, бани, торговые площади, караван-сараи, своеобразное устройство городов. Его внимание привлекали и городские укрепления: стены, железные ворота, стрельницы, рвы и т. п. Для примера приведем его описание города Айнтаба: «А той град стоит на ровном месте, гора высоко сыпана, да каменем обму-

---

[1] История русской литературы, т. II, ч. 1, Изд. АН СССР, стр. 170.

[2] «Хожение гостя Василия 1465 г.—1466 г.». Под ред. арх. Леонида. «Православный палестинский сборник», 6 вып. (т. II, вып. 3). СПб., 1884 (ссылки на стр. «Хожение» даны в скобках).

[3] Этим путем русские путешественники шли впервые.

рована, да три врата железнаа, да бой из неа и с тощиа стены велик, а пасад велик, а палаты и бани велми хороши, а торгов много, а хороши велми; да из рва того ис тощова стрельницы великиа» (стр. 3—4).

Описывая Шаму (Дамаск) и ошибочно называя реку, протекающую через город, не Барадой, а Ефратом, он указывает: «Река великы Ефронт сквозе его идет, да разведена подо все дворы и торги, и по улицам и по кермансараем, да таже река въведе по селам и пашням, торгов много и бань вельми» (стр. 6).

О Каире Василий пишет: «Египет (т. е. Каир.— *Б. Д.*) град вельми велик, а в нем 14 тысящь улиц, да по всякой улице по двоа врата и по две стрельницы, да по два стража, которыа зажигают масла на свещнице: да в иных улицах домов 15 тысячь, а в иных улицах до 18 тысяч дворов, дана всякой улице по торгу великому, а улица с улицей не знается...» (стр. 8). Характерно отметить, что гость Василий, оставивший живые, яркие и достоверные описания городов и их жизни, допустил некоторые неточности в сообщениях о «святых местах», посещенных им в Иерусалиме и в некоторых других местах Палестины. Это свидетельствует, что русским путешественником руководили интересы «мирского характера».

В средине же XV в. дважды совершил путешествие на Восток инок Варсанофий (в 1456 г. и в 1461—1462 гг.). Он посетил не только Константинополь, Палестину, Египет, но побывал и на Синайской горе[1].

Варсанофий уделял внимание, главным образом, тем местам, с которыми связаны христианские легенды. С этой же точки зрения его интересовала и топография Иерусалима. Однако иногда он рассказывает и о природе, о животном мире. Так, например, он сообщает кратко о виденных им финиковых пальмах: «виде же древеса, на них же растет мед дивий, и иных древес много виде, их же имена, свем» (стр. XXX)[2]. Есть у него и упоминание о «лютом звере», которого он также сам видел (вероятно этот «лютый зверь» был крокодилом).

Варсанофий, первый из русских путешественников, побывавших на Синае. Путь из Каира к Синаю он описывает так: «И поидохом на гору Синайскую. Бе бо мног корован собрався:

---

[1] Н. С. Тихонравов. Хождение в святую землю инока Варсонофия в 1456 г. Оттиск из «Археолог. изв. и зам.», № 11, М., 1893.

[2] «Хожение священноинока Варсонофия ко святому граду Иерусалиму в 1456 и 1461—1462 гг.». Под ред. С. О. Долтова. «Православный палестинский сборник», вып. 45, т. XV, вып. 3. М., 1896 (ссылки в тексте даны в скобках).

десять тысящь velеблюдов и людей много; идохом 15 дней, путшествуя от Египта до Синайския горы и до горы Хоривския, великия и высокия» (стр. XXXV).

В северо-восточном углу Малой Азии побывал тверитянин Афанасий Никитин, совершивший свое знаменитое путешествие, известное под названием «Хожение за три моря». Афанасий Никитин прибыл в Малую Азию на обратном пути из Индии[1]. Он прибыл в Тавриз, этот древний узел караванных путей, бывший крупнейшим перевалочным пунктом грузов караванной торговли переднего Востока. Тавризом в то время владел Узун Хасан, глава туркменских племен Ак Коюнлу (Белобаранный) или Хасан-бек. Афанасий Никитин упоминает, что из Тавриза он пошел в орду Хасан-бека, «так как пути никуда не было» (стр. 73), ибо «на турецкого султана послал Хасан-бек рати своей 40 тысяч, и взяли они Сивас, да и Токат взяли и пожгли, Амасию взяли и пограбили там много сел». Из этой орды, через Эрзинджан, Афанасий Никитин направился в Трапезунд[2]. Трапезунд находился во власти турок-османов, враждовавших с туркменами Ак Коюнлу, и когда Афанасий Никитин прибыл в этот город, турки его там обыскали, надеясь найти «грамоты». Из Трапезунда А. Никитин морем отправился в Кафу. После пятидневного плавания он достиг мыса Ванада, откуда из-за сильной бури вернулся в Платану, где простоял 15 дней.

Итак, уже к концу XV в. русские посетили многие страны Ближнего Востока и накопили о них значительные сведения. Не только Константинополь, «святая земля» — Палестина, но и Малая Азия, часть Египта и Сирия были им довольно хорошо знакомы. В. В. Бартольд был неправ, когда писал: «Как в Византии и западной Европе того времени, так и в России единственной страной Востока, представлявшей интерес для образованного общества, сделалась Святая Земля... Путешествия совершались морским путем через Константинополь[3]. На самом же деле, как мы видели, не только «святая земля» была

---

[1] Мы пользуемся изданием «Хожение за три моря Афанасия Никитина 1466—1472 гг.» под ред. акад. Б. Д. Грекова и чл.-корр, АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. Изд. АН СССР, М.—Л.. 1948.

[2] Афанасий Никитин пишет, что он из орды пошел к Арцицину. (Эрзинджан) и затем в Трапезунд. Составители комментария не отмечают, что древнейший путь к Трапезунду, так сказать проторенная дорога, «генуэзская», ведет не из Эрзинджана, а из Эрзерума в Трапезунд. Никитин, таким образом, выбрал иной путь, или, быть может, ошибочно называет Эрзерум—Арцинцын?

[3] В. В. Бартольд.] Ук. соч., стр. 169.

посещена русскими людьми, и ездили они не только морским путем через Константинополь. Уже Зосима шел через Молдавию и Валахию, а гость Василий во время своего путешествия пересек всю Малую Азию.

Во многих землях Ближнего и Среднего Востока побывали русские люди, и нет ничего удивительного в том, что в некоторых литературных памятниках обнаруживаются подлинные знания географического положения отдельных стран Востока. К таким памятникам принадлежат, в частности, заметки «О землях за Араратом», сохранившиеся в литературном сборнике XVI в., но относящиеся к XV в.

В конце XV в., в 1493 г., в Египте побывал казначей великого князя Михаил Григорьев, впоследствии первый великокняжеский дьяк в Пскове (1510—1528), один из образованнейших людей московской Руси[1].

В период с конца XV до конца XVII в., наряду с путешествиями отдельных духовных и светских лиц, происходили и неоднократные поездки официальных дипломатических посольств и отдельных гонцов в страны Ближнего Востока. С этого времени одним из важнейших источников изучения Османской империи становятся многочисленные официальные документы Московской Руси, опубликованные до сих пор лишь частично. Из них наиболее интересными являются «статейные списки», знакомящие нас не только с внешнеполитической стороной взаимоотношений России с Турцией, но и с событиями внутренней ее жизни и турецким бытом. В статейных списках содержатся также некоторые сведения по вопросам экономики и географии Турции[2].

---

[1] Акад. И. Ю. Крачковский. Ук. соч., стр. 18.

[2] В государственном архиве древних актов СССР хранятся документы Посольского приказа по дипломатическим отношениям между Россией и Османской Империей. Опись 89/1 включает «Турецкого двора делам, грамотам и ратификациям реестры, вновь учиненные Николаем Бантыш Каменским» (1805). В этих делах из так называемого «старого архива» дана выписка всем происходившим между Россией и Турцией отношениям с 1512 по 1700 г., в которой отмечены отправления в Турцию послов и гонцов. Выписка из реестра Турецкого двора старых лет отмечает посольства с 1426 по 1512 г. Посольские книги и статейные списки — турецкие, крымские и донские дела — не раз были использованы дореволюционными историками и исследователями — Н. М. Карамзиным, С. М. Соловьевым и др. Из советских историков они были широко использованы проф. Н. А. Смирновым, в его работе «Россия и Турция в XVI—XVII вв., т. I и II, М., 1946. Однако надо отметить, что если с достаточной полнотой изучены и освещены внешнеполитические события, описанные в этих документах, то сведения внутриполитического, экономического и географического характера еще ждут своего исследователя.

Помимо ведения официальных государственных дел, послы были обязаны собирать самые разнообразные сведения, согласно полученному в Москве «наказу»[1].

Ни один исследователь Турции, русско-турецких отношений, а также истории путешествий и изучения Турции в России не может пройти мимо материалов, характеризующих деятельность дипломатии московской Руси в XVI и XVII вв. В течение этих двухсот лет было отправлено в Турцию по разным поводам всего 39 посольств. Приведенная цифра дана по сведениям, охватывающим посольские материалы, начиная с первого посольства Плещеева и кончая посольством думного советника Емельяна Игнатьевича Украинцева в Турцию[2].

Сообщения послов были одним из важнейших источников ознакомления с положением дел в Турции, но отнюдь не единственным, так как немалую роль в этом ознакомлении играли также и сведения русских путешественников и приезды из Османской Турции многочисленных духовных лиц и, наконец, рассказы людей, возвращавшихся из турецкого плена.

Первое русское посольство в Крым и в Турцию (стольника Михаила Андреевича Плещеева) относится к 1496—1498 гг. Вот что сообщает об этом важном факте летопись: «В лето 7005, сентября, послал князь великый послов своих в Крым к царю Мингирею, князя Ивана Звенца... а в Царьград к Турьскому Баазит салтану, Магамет салтанову сыну, Михаила Андреевичя Плещеева, а с ними многих гостей с Москвы отпустил и пойдоша Полем: а преже Михаила от великого князя к Турьскому салтану посол не бывал, а Михайло послан о дружбе и о любви»[3].

Первое посольство М. А. Плещеева[4] произвело огромное впечатление в Европе и Турции. Следует рассмотреть подробнее его историю. Посольство это выехало в феврале 1497 г. Ему пришлось следовать южным путем по Дону и Азовскому морю в Кафу, так как путь через Литву был закрыт: литовский

---

[1] Н. А. Смирнов. Россия и Турция в XVI—XVII вв., т. I, М., 1946, стр. 30.

[2] См. В. Теплов. Русские представители в Царьграде (1496—1891). СПб., 1891, стр. 70—71; См. также опись 89—1, в Госуд. архиве древних актов. См. выше.

[3] ПСРЛ, т. VI, стр. 42 (Софийская летопись).

[4] См. Н. М. Карамзин. Ук. соч., 1817, т. VI, стр. 220—221; также: «Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными» («Сборник русского историч. об-ва», т. 41, СПб., 1884, стр. 231—236, 241—249); А. Неклюдов. Начало сношений России с Турцией. Посол Иоанна III — Плещеев. (Сб. Моск. главн. архива, МИД, вып. III, М., 1883); И. Беляев. Ук. соч., стр. 213.

князь Александр незадолго до этого задержал первое турецкое посольство, направлявшееся в Москву. Плещеев вез грамоту, адресованную султану, в которой говорилось о желании Русского правительства установить дружбу и наладить постоянный обмен посольствами. В наказе, данном Плещееву, предусматривалось и поведение посла при дворе султана. Ему предписывалось: «поклон править стоя, а на колени не садиться», говорить посольские речи только султану, а не его пашам: «... и нечто турьский не возвелит себе речи говорити, а велит своим башам речь говорити, и Михайлу башам речи не говорити, а говорити Михайлу: «меня государь мой послал к салтану, и яз салтану хочю государя своего речь говорити»». В точности выполняя наказ, Плещеев вел себя независимо и с достоинством, стараясь ничем не унизить чести великого князя Московского. Он отказался от предварительного посещения пашей, от принятия подарков,— с твердостью ответив на их предложения: «Мне с пашами речи нет, я пашино платье не надену и денег их не хочу, с султаном мне подобает говорить и между нами царев человек не надобен». Отказался он и от выполнения унизительного требования — стать на колени перед султаном. Поведение Плещеева было по тем временам делом поистине необычайным. Послы других держав выполняли все унизительные требования турок. Именно о посольстве Плещеева писал К. Маркс в «Секретной дипломатии»: «Сам султан Баязид, перед которым трепетала Европа, впервые услышал высокомерные речи московита»[1].

Вторая половина XVI в. для истории изучения путешествий на Ближний Восток представляет большой интерес благодаря разнообразию полученных на Руси географических сведений. Москва в эти годы вступает в более близкие дипломатические отношения со многими европейскими и азиатскими государствами.

Мы не будем останавливаться на политических и экономических взаимоотношениях Московской России и Турции в течение XVI и XVII вв. Утверждение турецкого владычества в Крыму, в Азове, приближение турок к Северному Кавказу делало Турцию соседом Московской Руси, соседом агрессивным и опасным. Это соседство уже сталкивало Московскую Русь с Османской империей; к тому же приводили и торговые отношения,—деятельность русских купцов в Кафе и Азове, в Бруссе и Константинополе, о пребывании которых в этих местах видно хотя бы из хождения купца Василия.

[1] Цит. по «Дипломатическому словарю», т. II, стлб. 416, М., 1950.

В истории сношений России с Востоком время XVI—XVII вв. можно охарактеризовать как период турецкого нашествия на русскую землю[1], как период, в течение которого имели место три войны (1569, 1637—1642, 1677—1678). В этих войнах активными союзниками Турции выступали крымские ханы. В рамки нашей работы не входит изучение дипломатии Московской России за этот период, ставившей задачи поддержания дружеских отношений с Турцией и умевшей в то же время «твердо и решительно защищаться от турецкого нашествия, какую бы форму оно ни принимало и с какой бы стороны они не угрожали его владениям»[2].

В 1499 г. в Турцию было отправлено посольство Александра Голохвастова. Вместе с послом выехали купцы с товарами. Среди этих товаров была конская упряжь и седла, меха и холсты. Задачей посольства являлось урегулирование вопросов торговли. В 1515 году было отправлено посольство Бориса Голохвастова. Интересно отметить, что послу был дан наказ, в котором ему предписывалось по окончании всех государевых дел — посетить патриарха и сообщить ему, что его посланцы в Москву скоро к нему вернутся, а также просить его молиться за здоровье князя и православного христианства. В отличие от многих последующих наказов послу не давалось указаний советоваться с патриархом о делах[3].

Мы не будем останавливаться на сведениях обо всех других посольствах, отметим лишь некоторые интересные детали. Так, послу Василию Андреевичу Коробову (1515—1516) был дан наказ собрать сведения о политическом положении Турции: «Да пытати Василью в Азове, кого будет пригож, про турецкого салтана, где ныне, и что его дело с Кизылбашем и досуг ли ему ныне в своей земле или недосуг, и в котором ныне в своем городе...[4] Да что Василей уведает там про тамошнее дело, и ему о том о всем отписывати к великому князю именно»[5].

Подобные наказы давались и другим послам, например, Борису Голохвастову (1519—1521), который доносил: «А суды, государь, сказывают, делали на Белом море многия, а посылать было ему на Фрясскую землю... И турской государь, сказывают,

---

[1] См. Н. А. Смирнов. Ук. соч., т. I, стр. 1—2.

[2] Там же, стр. 159.

[3] Турецкие статейные списки. Цит. по Н. Каптереву. Характер отношений России к православному востоку (в XVI—XVII столетиях). М., 1885, стр. 277.

[4] Памятники дипломатических сношений. Сборник Русского Исторического общества. СПб., 1895, т. 95, стр. 109.

[5] Там же, стр. 112.

посылает всех людей против Кизылбаша... А крымской, государь, сказывают, в Перекопи...»[1] В наказе послу Брюхову (Морозову, 1523 г.— *Б. Д.*) было велено узнать о положении на острове Родосе. Понятно, что Москву особенно интересовал вопрос о военной силе турок, об их военных успехах.

Многочисленные посольства «расширяли географический горизонт русских той эпохи и являлись свидетельством пристального интереса ко многим пограничным или близко лежащим от Московии территориям»[2]. Они расширяли круг сведений о посещенных ими странах, дополняли известия. полученные от разных лиц, ездивших на Восток. Посольские материалы тщательно записывались и хранились в Посольском приказе, в Москве. Сведения о восточных странах, интересовавших Москву, поступали также от духовных лиц, приезжавших в Россию за сбором «милостыни» для монастырей Афона, Иерусалима и Константинополя. Представители православного духовенства бывали в Москве и по другим причинам. В 1518 г. в Москву прибыл из Османской империи ученый монах Максим Грек, приглашенный Василием III. Он остался в России до конца своих дней (1556). Но вследствие разногласий с великим князем и верхами русской церкви он находился некоторое время в заточении. Среди обвинений, ему предъявленных, было и обвинение в сношениях с турецким послом Скиндером. Несомненно, Максим Грек мог сообщить немало сведений о Турции, в частности об Афонских монастырях. Однако опубликованные материалы отражают в основном лишь его полемику с исламом[3].

Приезжали с Востока и купцы. Из России ездили на Восток как духовные, так и светские лица. Так, например, в 1557 г. Иван IV, посылая суздальского архимандрита Феодорита с большими дарами к вселенскому патриарху, дал ему наказ тайно разведать: «с кем Турецкий Султан в миру, и с кем не в миру?», как бы нечаянно поговорить с патриархом о том, «какие есть намерения у Турков, и все это сохранить у себя в величайшей тайне»[4].

Русское правительство скоро убедилось, что константинопольские патриархи как живущие в столице султана и

[1] Там же, стр. 667, 668.

[2] Д. М. Лебедев. География в России XVII века. М.— Л., 1949, стр. 175.

[3] О Максиме Греке. См. ПСРЛ, т. VI, стр. 261; Н. М. Карамзин. Ук. соч., т. VII, 1817, стр. 173—175 и примеч., 339—345; Акад. И. Ю. Крачковский. Ук. соч., стр. 22—23.

[4] А. Н. Муравьев. Сношения России с Востоком по делам церковным. СПб., 1858, стр. 86; Н. Каптерев. Ук. соч., стр. 2

имеющие связи и знакомства среди высших правительственных лиц Турции «могут, при случае, оказать содействие нашим послам своими знаниями и советами; могут, благодаря своим связям, так или иначе влиять в интересах России на турецких пашей, могут, при случае, сообщать русскому правительству нужные и драгоценные для него сведения о положении дел Турции»[1]. Эти прямые связи и были установлены позже, в конце XVI столетия, при Борисе Годунове. Духовным лицам, выезжавшим на Восток, давались, как и прежде, указания о сборе различных сведений.

В летописи рассказывается, что в «лето 7066 (1558) месяца июля 24, в неделю, после обедни, поехал к Москве архидиякон владычен Генадей, доеждати ему, с Москвы, с гостем Мустохой, Андреем и Яковым к Царюграду, и от Царяграда ему ехати со архимандритом Святогорским во Иерусалим, и во Святую Гору и во Египет, по монастырем давати милостыню царскую и обычеи во странах тех писати ему»[2]. В свите Геннадия находился Василий Позняков с сыном, купец родом из Смоленска, торговавший с Москвой, оставивший описание своего путешествия[3]. Путь посольства Геннадия шел через Смоленск, Литву и «Волынскую землю» на Константинополь, где посол умер.

Дальнейшее путешествие Позняков совершил самостоятельно. Из Константинополя он направился в Александрию, а в октябре 1559 г. в Каир; посетил Синай и после возвращения в Александрию в декабре 1559 г. отплыл в Палестину, где провел три месяца. Затем через Константинополь вернулся в Москву в апреле 1561 г. и представил записку о своем путешествии, которая до нас не дошла. Очевидно, эта записка была составлена в связи с поручением Ивана IV — «обычаи тех стран писати».

В хождении Познякова привлекает внимание его рассказ о пути из Каира на Синайскую гору и описание пустыни: «И идохом от Египта до Синайския горы пустынею. Не наши же там пустыни. В их пустынях нету ни лесу, ни травы, ни людей, ни воды[4]. И идохом пустынею три дня и не видехом ничтоже,

---

[1] Н. Каптерев. Ук. соч., стр. 277—278.

[2] ПСРЛ, т. III (Новгородская вторая летопись), стр. 159.

[3] «Хождение купца Василия Познякова по святым местам Востока». «Православный палестинский сборник», 18 вып. (т. VI, вып. 3). СПб., 1887, под ред. Лопарева; «Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском университете», 1884, кн. I (январь — март), под ред. И. Забелина, отд. II, стр. 1—32 и предисловие, стр. I—XII.

[4] Позняков имеет в виду, что в России, в XVI в. пустынями назывались уединенные обители, монастыри.

точию песок един да камение»[1]. Интересно описание способа путешествия через аравийские пустыни: «и наяхом верблюды до Синайския горы... И по два человека седоша на верблюды по сторонам и корм свой и воду в месех кожаных на верблюды положихом, яко боле десяти пуд тягости: а хлеба сухово по контарю на человека; а контарь наших три пуда тянет... арапы же верблюды кормяху сухим бобом, а воды им не даяху три дни»[2].

Позняков — внимательный путешественник, сообщающий в своих записках разнообразные сведения не только о пройденном пути, но также и о многих сторонах жизни посещенных им стран. Так, увидев в порту Раифа пришедшие из Индии суда, он сообщает, что «корабли же в Раифе на Чермном море деланы без железного гвоздья, шиты веревками финиковыми, а осмаливаны серою горючею, а не смолою»[3]. В Иерусалиме его заинтересовало снабжение города питьевой водой, о чем он пишет довольно подробно: «А дождь во Иерусалиме приходит с Семена дня и до Рождества Христова, а весной и летом дождь не бывает. Егда падет дождь на храминах их, а храмины у них, учинены плоские, верхи скатистые, и со всех храмин в коемждо дому приведены застрехи в кладези; а кладези изкопаны в земли; а земля аки камень. И в тех кладезех стоит вода во весь год, а не портится; а вода у них дождевая бела, а не жолта»[4].

Значительный интерес имеют сведения посольства Новосильцова, отправленного Иваном IV к султану Селиму, в связи с походом турок и крымских татар на Астрахань в 1569 г.[5]

Посольство Новосильцова, выехавшее 24 января 1570 г., официально было отправлено для поздравления султана Селима II с восшествием на престол, неофициально же посол должен был хорошо ознакомиться со сложившейся в Турции обстановкой. Готовясь к войне с Польшей и Литвой за доступ к Балтийскому морю, Иван IV употреблял все усилия к тому, чтобы склонить к миру крымского хана и турецкого султана,

---

[1] См. «Православный палестинский сборник», 18 вып. (т. VI, вып. 3), стр. 17.

[2] Там же, стр. 17—18.

[3] Там же, стр. 29—30. Кстати сказать, это свидетельство является весьма ценным подтверждением того, что в 50—60-х годах XVI в. между Индией и арабскими портами на Красном море поддерживались двусторонние торговые связи и что, следовательно, не только арабским, но и индийским кораблям удавалось нарушать португальскую морскую гегемонию в Аравийском море.

[4] Там же, стр. 57.

[5] См. Н. М. Карамзин. Ук. соч., т. IX, 1821, стр. 178.

при этом он считал важным убедить их, что мусульмане не терпят в России никакого угнетения. Миссия Новосильцова имела также еще одну цель — отвлечь султана от его намерений захватить Астрахань и Казань. Однако, султан Селим от своих планов не отказался. Интересно сообщение Новосильцова по поводу провала попытки турок захватить Астрахань. «Да про астраханской поход во фрянские города весть пришла, что Астрахани не взяли, и людем учинился великий урон. И фрянки деи о том возрадовались и меж себя учали говорить: государь деи Московский великой и кому деи против его стояти. А от неверных его бог обороняет»[1]. Таков был отклик на поражение турок, на первые победы русских над ними.

Наряду с посольствами дипломатического порядка при Иване IV имели место и поездки в Турцию купцов — Семена Барзунова и Трифона Коробейникова. О поездке Коробейникова упоминает Новгородская летопись, отмечая, что купец этот был послан Иваном IV в Константинополь, Антиохию, Александрию, Иерусалим и на Синайскую гору, вместе с Юрием Греком и «крестечным» мастером для раздачи «милостыни по сыне своем»[2] (речь идет об убитом Иваном IV царевиче Иване). С поездкой Трифона Коробейникова связан хорошо известный в русской литературе плагиат[3], — под именем хождения Трифона Коробейникова[4] более 300 лет имело широкое распространение слегка переделанное хождение Василия Познякова. Как бы то ни было, но Коробейников, очевидно, выполнял какие-то другие, особые поручения. Он посетил не только Константинополь, но и другие пункты. Видно, что выполнением поручения в Москве остались довольны, ибо после своего возвращения Трифон Коробейников с 1588—1589 гг. находился в числе дворцовых дьяков[5]. Позже он вторично ездил на Восток.

Кроме Коробейникова на Афон был отправлен Иван Мешенин с деньгами на «поминовение о сыне», а в 1584 г. в Константинополь и на Афон — торговый человек Марк Самсонов, с которым были переданы «тридцать рублей для учеников в Царьграде, велено им учиться и не выходить из воли царской»[6].

[1] См. Н. А. Смирнов. Ук. соч., т. I, стр. 117.

[2] ПСРЛ, т. III, стр. 263 (Новгородская третья летопись).

[3] См. подробно И. Забелин. Хождение Познякова. Предисловие, стр. III—X; см. также акад. И. Ю. Крачковский. Ук. соч., стр. 17.

[4] Хождение Трифона Коробейникова. „Православный палестинский сборник“, вып. 27, т. IX. вып. III, СПб., 1883; „Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском университете“, 1884, кн. I (январь—март), отд. II.

[5] См. И. Забелин. Хождение Познякова; «Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы». М., 1884, ч. I, стр. 1218, 1221.

[6] А. Н. Муравьев. Ук. соч., стр. 135.

Речь идет об учениках, посланных Иваном IV к патриарху для обучения греческому языку.

Своеобразной данью знакомству с Османской империей, вернее с ее вассальными владениями, является публицистическая деятельность литовского уроженца Ивашки Пересветова, в молодые годы служившего при дворах венгерского короля и волошского воеводы; служил он и у чешского короля. Переехав в средине 30-х годов XVI в. в Россию, на службу к Ивану IV, он выступал в своих публицистических произведениях как идеолог служилого дворянства, враг феодального боярства, сторонник усиления самодержавной царской власти. Идеалом царской самодержавной власти является для него турецкий султан Мухаммед II (Махмет). Он сознательно идеализирует султана, обычаи и нравы турок, их законодательство, политический строй и войско, проявляя при этом порою незнание фактической обстановки и извращая ее, пользуясь легендарными сведениями[1].

В конце XVI в. при Борисе Годунове было постановлено, чтобы путивльские воеводы допрашивали каждого прибывшего из-за границы, откуда и когда он выехал, через какие земли проезжал, нет ли где какого поветрия. В Москве вновь прибывший должен был явиться в Посольский Приказ и обстоятельно доложить все, что ему известно о странах, из которых он явился и через которые проходил. Сведения эти, доставляемые главным образом монахами, приходившими за богатой милостынью для монастырей в Турции, Палестине, на Сионе, Афоне, в Молдавии и Валахии,— давали Посольскому Приказу возможность внимательно наблюдать за всем происходившим в этих странах, получая и впредь, от греков главным обазом, интересующие сведения уже и в письменном виде[2].

С этого же времени в наказах послам предписывалось советоваться о делах с Константинопольскими патриархами и получать от них необходимые сведения. Соответствующие связи

---

[1] Об Ивашке Пересветове см.: В. Ф. Ржига. И. С. Пересветов. М., 1908 (с приложением сборника его сочинений); В. Ф. Ржига. И. С. Пересветов и Западная культурно-историческая среда. СПб., 1912; Д. Н. Егоров. Идея турецкой реформации в XVI в. (Журн. «Русская мысль», июль 1907); «История русской литературы», изд. АН СССР, т. II, ч. 1, стр. 488—492; акад. И. Ю. Крачковский. Очерки по истории русской арабистики. М.-Л., 1950. И. Ю. Крачковский пишет о Пересветове: «Мухаммед Завоеватель для него только идеал правителя, около которого концентрируются его собственные государственные теории. Всё же знания ислама у него отрицать нельзя; при всей идеализации он вернее отражает действительность, чем ярый полемист Максим Грек» (стр. 24).

[2] См. Н. Каптерев. Ук. соч., гл. VII, стр. 275—347.

были установлены и с тырновским митрополитом Дионисием и другими иерархами. Послы были хорошо осведомлены о внутриполитическом положении в стране.

Так, например, Нащокин, выехавший из Москвы в 1592 г., нарисовал яркую картину положения в Турции. В своем сообщении он писал: «В Турции ныне все изменилось: Султан и паши мыслят единственно о корысти: первый умножает казну, а для чего неизвестно; прячет золото в сундуках и не дает жалования войску, которое в ужасном мятеже недавно приступало ко дворцу, требуя головы Дефтердаря или казначея. Нет ни устройства, ни правды в Государстве. Султан обирает чиновников, чиновники обирают народ; везде грабеж и смертоубийства; нет безопасности для путешественников на дорогах, ни для купцев в торговле. Земля опустела от войны Персидской и насилия, особенно Молдавская и Волошская, где непрестанно сменяют господарей от мздоимства. Греки в страшном утеснении; бедствуют, не имея надежды на будущее»[1].

Нащокин дал описание и бунта в Константинополе, свидетелем которого он был, и весьма подробно осветил внутреннее и внешнее политическое положение Турции, указав, что там «нестроение и рознь великая и неправда многая», что купцы из-за насилий военщины не могут торговать[2]. О крупном народном восстании конца XVI в., Кара Языджи — Дели Хасана, в Москве были осведомлены из сообщений приехавших за милостыней духовных лиц.

В 1593 г. в Царьград и на Афонскую гору были отправлены второй раз дьяк Трифон Коробейников вместе с Михаилом Огарковым с «заздравной милостыней». Об этом втором путешествии известно из статейного списка и росписи милостыни, розданной во время путешествия[3]. В отличие от других хождений, этот документ дает географическое, точнее военно-топографическое, описание пройденного до Константинополя пути, в котором сообщает о расстояниях между городами, о внешнем их виде (бой, стены каменные или деревянные, реки, мосты). Автор совершенно не дает описания «святых мест». Вот, например, его описание города Правод. «А стоит тот посад в долу, меж двух великих гор, а горы высоки, каменные, что береги камен утес, а в долину из тех гор от того посаду до ровного места версты

---

[1] Цит. по Н. М. Карамзину. Ук. соч., 1824 г., т. X, стр. 175—176.

[2] Н. А. Смирнов. Ук. соч., т. I, стр. 146.

[3] «Древняя Российская Вивлиофика». Изд. 2-е, т. XII, М., 1791, стр. 425—449; см. также: «Православный палестинский сборник», т. IX, вып. III, СПб., 1889.

с 4 — больше». «А во Ясах города нет: потому царь Турской города ставить не велит...» «Городок Хотен каменной невелик, поменши перестрела, стоит на горе каменной...»

Подводя итог сведениям о многочисленных путешествиях русских людей в страны Востока за период с XII по XVI вв., следует отметить, что русские путешественники проявляли большой интерес к посещенным ими городам, их местоположению, благоустройству, водоснабжению; внимание русских людей привлекали также и вопросы военно-топографического характера.

«...Новый период русской истории», начавшийся, как это отметил В. И. Ленин, «примерно с 17 века»[1], характеризуется подъемом русской культуры. Подъем сказался также и на росте географических знаний. «Русские вели разнообразную и плодотворную практическую работу по географическому изучению России и некоторых соседних с нею восточных стран»[2]. Это положение можно целиком отнести к познанию Ближнего Востока.

Прерванные в начале XVII столетия дипломатические связи между Турцией и Россией возобновились в 1613 г., когда было отправлено посольство Соловьева — Протасьева с извещением о вступлении на престол Михаила Романова. За этим посольством последовал ряд других. В 1615—1617 гг. было послано новое посольство Петра Мансурова и дьяка Самсонова, продолжавшее переговоры, начатые Соловьевым-Протасьевым. В 1622 г. отправилось посольство боярина Кондырева и подьячего Тормосова. Оно попало в Константинополь во время янычарских бунтов и дворцовых переворотов. Султан Осман II был убит янычарами в 1622 г., и на престол возведен его дядя Мустафа. В 1623 г. султаном стал Мурад IV.

Об интересе, проявляемом русскими к Турции, свидетельствует рассказ московского купца Федора Афанасьевича Котова, ездившего на Восток в 1623 г., «О ходу в Персидское царство и из Персиды в Турскую землю и в Индию и в Урмуз, где корабли приходят»[3]. Он указывает, что «от Ардевиля в Турскую землю ходят же через Тевриз» (стр. 6), «а от Казбина ход же есть в Турскую землю на Богдат» (стр. 8). Далее описывает он «ход из Шамахи в Турскую землю» через «Геньжи, Раван» (Ереван).

---

[1] В. И. Ленин. Соч., т. 1, стр. 137.

[2] Д. М. Лебедев. География в России в XVII в. М.—Л., 1949, стр. 6.

[3] «Временник Московского общества истории и древностей Российских», кн. 15, М., 1852. Материалы с предисловием И. Д. Беляева.

«Да над тем же над городом Раванию на полдень стоит гора добре высока и велика, а верх взошел что колпак..., а на ту гору восходу нет никому, а на той горе стоит Ноев ковчег.. а у нас тое гору зовут Арарат» (стр. 20).

Много любопытных и интересных наблюдений было сделано казанским купцом Василием Яковлевичем Гагарой[1], который вел торговые дела с Востоком. Он выехал из России в 1634 г. и вернулся обратно в марте 1637 г., привезя важные вести о положении восточных дел, за что был пожалован званием московского гостя. По словам Гагары, он предпринял путешествие в Иерусалим для того, чтобы замолить грехи. Но, очевидно, свое путешествие к святой земле он использовал и для торговых дел, ибо до Иерусалима путешествовал год, не раз отклоняясь от прямого пути. Путь Гагары проходил по знакомым ему из-за торговых дел восточным землям, чем, видно, и был вызван избранный маршрут.

Он прошел через Малую Азию, попав туда со стороны Кавказа, через Сирию и Палестину. Из Иерусалима он направился в Египет, посетил Каир и Александрию, Синай, откуда вернулся в Иерусалим. Обратный путь его лежал через Самарию, Дамаск, Урфу, Биреджик, Диарбекир, Анкару, Кастамону и Синоп. Оттуда он повернул на запад и, следуя морем, дошел до Галлиполи «для ради царского величества... где бы что проведати, какие вести...» (стр. 38), а затем через Валахию, Молдавию, Польшу и Киев вернулся в Москву. Такой территории до него не охватил ни один русский путешественник по Ближнему Востоку.

Рассказ о своем путешествии Гагара начинает с Тифлиса и дает интересное и совершенно реалистическое описание Грузии, что не мешает ему, однако, привести легендарные сведения о заключенных в горе, вблизи Тифлиса, Гоге и Магоге. Из Тифлиса Василий Гагара пошел в Ереван, откуда в двух днях пути расположены Араратские горы, «а на них Ноев ковчег» (стр. 5). Эти горы, отмечает Гагара, стоят «в порубежи Турския земли и Кизилбашския земли, Арарацкие же горы только две; одна гора повыше, а другая — пониже; а около тех гор иные горы, те и в половину тех гор нет» (стр. 5).

Через Ардаган, Карс и Эрзерум Василий Гагара направился в Севастию (Сивас): «Севастия же стоит близ горы, велми

[1] «Житие и хождение в Иерусалим и Египет казанца Василия Яковлева Гагары 1634—1637 гг.» под ред. С. О. Долгова. «Православный палестинский сборник», вып. 33, т. XI, вып. 3, СПб., 1891 (ссылки на стр. даны в скобках). О нем см. История русской литературы, т. II, ч. вторая. Изд. АН СССР. М.—Л., 1948, стр. 124—126.

страшны и велики, а на ней снег не сходит ни летом, ни зимой» (стр. 5). Дойдя до Амидонии (Хамы), он пишет: «И сквозь него идет река велика; а плотина зделана каменная, а на той плотине стоит мельница; а от мельницы вода возведена колесом вышиной от воды сажен 12, а и с того колеса вода идет в желоп каменный; а из того желоба приведена вода трубами во весь град и посад. А тот град стоит на горе высоце, велми красен, а около его ров веден каменной, и воды в него напущено, а глубины 16 сажен» (стр. 6). Далее следует описание Дамаска: «А Дамаск же град велик велми есть, на 30 поприщах и боле, да в нем же есть сады велми учреждены красны и овощия велми много всякого, что ни есть на сем свете, нигде такового града не обрел и таких садов...» (ст. 6).

Прийдя в Иерусалим, он в первый раз пробыл здесь всего три дня. Митрополит и греки, узнав, что Василий прибыл из Московской земли, «возрадовались... потому что опричь Трифана Коробейникова до меня многогрешного раба из такова из далнаго государства из христианские веры нехто не бывал» (стр. 9).

Из Иерусалима в Египет Гагара отправился сухим путем, красочно описывая трудности этого пути: «А путь к Египту (т. е. Каиру) велми труден, близ моря идти, а на лошадях ехати немочно, но только что пешему человеку; ездят на верблюдах, тот путь уподобился морю песчаному; отколе ветер потянет, оттоле и волны песчаные, аки вода, ходят, а воды нет на том пути, а возят воду с собой на верблюдах и кожаных мехах ради своея потребы» (стр. 13, прим.). При приближении к Каиру Гагару поразило обилие минаретов: «И как поедешь под Египет и покажется, как есть лес темный, и то колокольни бусурманские возле их мечетей стоят. А во Египте никакова овощу не родится, опричь сахару и фиников, и садов никаких нет, потому что жар немерный» (стр. 15—16).

При описании Каира Гагара отмечает, что город огорожен каменной стеной и что внутри города на горе имеется другая стена, за которой «живет паша турской» (стр. 16).

Внимание Гагары привлекли примитивные инкубаторы: «Да во Египте де по деревням зделаны земляны полаты, а них поделаны печи... А на всякой печи поделаны ящики, и в те ящики на всякую печь сыплют по 6000 яиц,.. а печи нагревают... коневым калом... И от того рожаются цыплята без матери...» (стр. 27—28).

Отмечая плодородье долины Нила, он пишет: «Пшеница и ячмень, и пшено вельми родится, потому что та река Геон как разольется и по лугам, и по пашням, многое время стоит и

напояет землю». Рассказывает Гагара о посадке сахарного тростника: «в том же Египте родится камыш, а из него делают сахар; садят его с коренем и... посыпают под него голубиный назем» (стр. 29). Сведений о животном мире у него имеется мало, он говорит только, что видел в Ниле «водяного зверя... имя тому зверю — крокодил».

О нравах и быте Гагара ничего почти не пишет; тем интереснее данное им описание приезда и встречи нового турецкого паши. При встрече его расстилаются златотканные дорожки, более трехсот, от ворот до дома паши, и паша и его свита идут по этим дорожкам, которые вслед затем подбираются. «И всего его стояния живет в том сам — 3 дни и 3 нощи; и в те 3 дни на своих служивых людей и на холопей поделают шубы собольи и рысьи; покупает паша у греков, а емлет в долг безденежно, докуд насытятца» (стр. 30).

Из Египта Гагара вернулся в Палестину, описание которой выдержано в стиле обычного паломнического хождения.

В связи с турецко-персидской войной, Гагара на обратном пути не решился возвращаться через Персию и, дойдя до Анкары, направился к Черному морю. Около Анкары он обратил внимание на изделия из ангорской шерсти «уподобися шелку та шерсть». В пути он разузнавал многое — о взаимоотношениях между Крымом и Портой, об отношениях Турции к Москве, а также о положении в княжествах на Дунае.

Источниками сведений о положении в Турции служили также рассказы вырывавшихся из турецкого плена русских людей. Так любопытный документ повествует о восстании в Средиземном море в 1643 г. 280 русских, находившихся на турецкой каторге[1]. Будучи гребцами в боях под Азовом, они похитили сорок фунтов пороху и использовали его при восстании. В своей челобитной они рассказывают: «И те, государь, турские люди доставали Озоев и его не достали и много войска истеряли и пошли из Озоева опять во Царь-город, и турской царь на них ополчился и многих пашей четвертовал и вешал, что они города Азоева не достали. И наш турчанин... у которого мы, холопи твои, живот свой мучали на каторге, убоялся и побежал в ночи из Царяграда на Белое море...» (стр. 21). Тут-то под руководством пленного калужского стрельца Мошкина и произошло восстание, в результате которого было перебито 210 турок. Восставшие вернулись в Россию через Мес-

[1] См. «Чтения в Обществе Истории и древностей Российских», 1894 г., кн 2 (169), раздел «Смесь», стр. 20—28.

сину, Рим, Венецию и Варшаву. Им предлагали остаться за большое жалованье, на службе в Европе, но русские патриоты иностранцам «служить не захотели и христианской веры не покинули» (стр. 23).

Через 12 лет после взятия Азова донскими казаками, на Восток, в 1649 г. выехал строитель Богоявленского монастыря Арсений Суханов. Он имел официальное поручение изучить на месте духовные чины и обряды, но наряду с этим и ряд поручений политического характера, связанных с посольско-казацкими и с украинско-русскими делами. Он вел переговоры в Чигирине с гетманом Богданом Хмельницким, в связи с чем Суханову пришлось трижды возвращаться в Москву, и только через два года, в мае 1651 г., через Константинополь и Египет он направился в Иерусалим. Здесь Суханов прожил до апреля 1652 г., а затем выехал через Сирию, Восточную Анатолию, Грузию и Кавказ — в Москву, куда вернулся 7 июля 1653 г.[1] В 1654 г. он снова был отправлен на Восток — посетил Яссы, Афон и Константинополь,— откуда привез до 500 ценных рукописей и книг. Позже он ведал московским печатным двором.

Арсений сообщал в Москву известия о политических делах и настроениях на юге. Он писал, например, «Ныне турского сила изнемогает, потому что виницеяне одолевают; говорят все христиане, что бы им то видети, чтобы Царем-Градом овладети царю Алексею». Позже, из Розетты в Египте он посылает с оказией «отписки» в Москву (стр. 34) и даже посылает «листы чертежные разных земель и тетради всякие», которые потерялись в дороге. В его «Проскинитарии» (Путник; Дорожник) мы, наряду с обычными замечаниями паломника, встречаем и описания природы, описание городов, преимущественно в военном отношении, писание хозяйства, образа жизни населения, нравов, обычаев, управления. Суханов был умный, наблюдательный, образованный путешественник, а его «Проскинитарий»— один из замечательнейших памятников путешествий на Восток в XVII в.

Много места в «Проскинитарии» занимает описание обрядовой стороны, отношений между восточным духовенством и между греками и славянами. К греческому духовенству

---

[1] См. «Проскинитарий Арсения Суханова», под ред. Н. И. Ивановского. «Православный палестинский сборник», вып. 21-й, т. VII, вып. 3, СПб (ссылки на стр. даны по этому изданию), 1889; С. Болдырев. Исследование «Арсений Суханов». «Чтения в Обществе истории и древностей Российских», 1894, кн. 2, стр. 169; С. Белокуров. Арсений Суханов. «Чтения в Обществе истории и древностей Российских», 1891 г., кн. I (156), и 1894 г., кн. 2 (169).

Суханов относится отрицательно, строго бичуя бесчинства, которые происходят в греческих храмах и не встречают осуждения со стороны духовенства. Суханов дает описание посещенных им городов, часто весьма подробное, не забывая упомянуть о местоположении, отмечая наличие или отсутствие крепостных стен, пушек, рвов.

К Константинополю Суханов плыл сперва по Дунаю, затем морем: «издали виднелись горы анатольски».

Суханову принадлежит едва ли не первое в нашей литературе описание Босфора. «От Черного моря проток в Белое море, якоже река великая: мню, яко из самопала добраго перестрелить» (стр. 10). Суханов указывает на наличие «Турской стражи» у места, именуемого им «Фонарь»: «А от устья того протока ехать десятин с пять, на самом берегу протока стоят башни каменные, на правой стороне меньше, а на левой больше... А сказывают, что те башни полны пушек и стража де тут крепкая...» (стр. 10).

Подробно описывает он Константинополь: «Царьград стоит на самом берегу моря; с трех сторон вода морская облила, а с одной стороны пришло поле. И от Черного моря и Белого[1] затон великой, якобы версты на две и больше длиной, а поперег из пищали перестрелить»... (стр. 11). При описании города, рассказывая о многочисленных «городках и башнях», отмечает Суханов такие детали: «По всему городу и по башням поземного бою нет, не только у верхних зубцов» (стр. 12). «Внутрь Царяграда и Галаты по самую стену все здания и проходы подле стен нет для обороны во время войны» (стр. 13). На Золотом роге («затон») «по обе стороны по берегу стоят галионы и корабли и малые кораблики, и струги, и всякия мелкия суда, не сыщет человек порожняго места, где стать; на берегу все загущено вдвое, а инде втрое от самого Белого моря и от Черного по затону даже до самого верху затона» (стр. 12).

Однако не только военная сторона привлекла внимание Арсения Суханова: он описывает и мечети, и улицы, и здания. «Мечети велики и высоки, и широки добре и украшены зданием, драгоценным мрамором всякими и резьми видными превидными, несказанной мудростью и ценой великой... покрыты все свинцом...» (стр. 16).

«Улицы низки, телеги николи нигде не ходят, все пеши да редко кто верхом проедет...» Проявляя большую наблюдательность, русский путешественник отмечает, что «В Царьграде хотя и все каменное мнится, а наверху и внутрь все деревянное. Как загорится и отняти никакими мерами нельзя» (стр. 17).

[1] Белое море — так турки и арабы называли Средиземное море.

По пути из Константинополя в Египет Суханов описывает места, которые он видел, проезжая, с палубы корабля, или посещенные им. Он дает подробное описание выхода из Дарданельского пролива в Эгейское море, рассказывает об островах Хиос, Самос, Родос. Очень интересно описание греческого монастырского быта на Хиосе (стр. 20—24), где многие «старцы» владеют обширными садами и виноградниками, торгуют продуктами садоводства, чтобы «содержать себя» (но хлеб получают из монастыря), отписывают по завещанию свои сады родственникам и т. п. Суханов рисует картину развитых товарно-денежных отношений на этом острове, с его греческим и «франкским» населением, среди которого, как с удивлением отмечает Суханов, религиозные и бытовые преграды в значительной мере утеряли силу (браки между греками и франками, отсутствие разницы в одежде и т. п.)

Интересует Суханова и турецкий флот, как это видно из следующего описания, сделанного им на о. Родосе: «было войска турского 110 кораблей и катарх (стр. 27) в день приезда, 17 июля, а 21 июля пришло войско паши — 42 катархи,— на катархах, сообщает Суханов, весел на стороне по 25, а на другой стороне столько же, а гребцов на весле по 4, а инде по 5, по 6, и на иной катархе и больше есть, якоже у самого паши... а у всякой катархи напереди по две пушки великих, а инде по четыре великих и две малых, а со сторон и назади не видать: по сторонам стрельницы» (стр. 27).

В Египте Арсений Суханов побывал в Абукире, Розетте, Александрии, Каире, плавал по Нилу. Суханов подробно описал Каир, называя его, как и другие путешественники XVI—XVII вв., «Египет».

Не останавливаясь на описании Сухановым других посещенных им городов, в том числе и Иерусалима, которому посвящена специальная глава, отметим лишь описание Эрзерума: «Около Эрзерума все горы снежные, снег во все лета..., понеже место хладно от снегу с горы, и студено, без шубы ехать нельзя и летом, и дождь бывает часто от гор от снегу, облака растворяются и дают дождь и того ради все зелено» (стр. 100).

Скупо описывает Суханов виденные им горы, редко называя их собственными именами, чаще прибегая к библейским наименованиям (в Палестине), но Арарат он называет и по-турецки — Ахрыдаг (Агрыдаг), и по-армянски — Масисом. Из рек, кроме Дуная и Нила, он называет Евфрат, Мурадсу, Аракс и Арпачай.

Если добавить, что у Суханова имеются многочисленные замечания о климате посещенных им мест — то можно сделать вывод, что в его лице мы имеем человека, давшего многое

в области физико-географического описания. Замечания Суханова характеризуют природу и хозяйство посещенных им стран. Он говорит о масличных садах, финиковых пальмах, виноградниках, цитрусовых и т. д., уделяет внимание системе орошения. Его внимание привлекли невиданные им прежде «строфокамил», т. е. страус, крокодил, попугаи, обезьяны. Рассказу о них уделено больше места, чем, например, описанию Эрзерума.

Арсений Суханов отмечает важную для феодального периода истории Османской империи деталь — многочисленные внутренние таможни. Неоднократно упоминая и о многочисленных национальностях, населяющих Османскую империю, Суханов не останавливает своего внимания на отношении турок к христианским народам. Однако он отметил, что на заставе вблизи Эгина турчин, взимавший пошлину, «бил многих армян... чеканом» (стр. 97). Об армянах пишет: «чтут книги армянския и говорят языком армянским же да турским... а книги у них все на армянском языке...»

Светская часть «Проскинитария», собственно, представляющая собой статейный список, как видно из приведенных выдержек, дает ясное представление о посещенных Сухановым местах. Большое внимание, часто уделяемое Сухановым военной стороне, вполне понятно. В Москве внимательно следили за Турцией. Восточные иерархи не раз обращались к русскому царю с увещеваниями о заключении союза с гетманом Богданом Хмельницким и дунайскими воеводами для совместных действий против агрессивной султанской Турции.

Менее интересное описание дал один из спутников Суханова Иона Маленький[1]. Он выехал из Москвы вместе с Сухановым, но в Яссах они расстались. В Иерусалим Иона прибыл раньше Суханова, а выехал оттуда через год после него. Он уделяет место описанию хозяйственной жизни посещенных им мест и черноморских проливов, но, в основном, это типичное описание, сделанное паломником, больше всего уделяющим внимание святыням и церковным легендам.

Кроме сведений, доставлявшихся путешественниками и послами, в XVII в. широко использовались сообщения различных духовных лиц, приезжавших с Востока. Так, в 1649 г. именно этим путем в Москве стало известно о низложении и

---

[1] «Повесть и сказание о похождении в Иерусалим и во Царьград... черного диакона Ионы — по реклому маленького 1649—1652». Под ред. С. О. Долгова. «Православный палестинский сборник», 42 вып. (т. XIV, вып. 3), СПб., 1895. Иона Маленький — последний из известных нам паломников допетровской Руси, оставивший свои записи.

убийстве султана Ибрагима («задавили его за многую его неправду»)[1]. Еще ранее в Москве стало известно, что «турской Ибрагим салтан малоумен, немощен и кривошееват... а во всем... владеет визирь Мустафа паша... что Ибрагим салтан пьет, а допьяна не упивается, только прост во всем... что салтан ни о чем не радеет, только дался на блуд женской и на иные великие блуды и ни о чем не помышляет...»[2], что его «ненавидят во Цареграде, но во Анатольской стране восстал единой изменник и отложился именем Кара-Хасан»[3].

Не имея своих постоянных представителей в Константинополе, московское правительство было тем не менее хорошо осведомлено обо всем, что делалось и предпринималось в Турции, Молдавии, Валахии и в Крыму.

Турция в отношении России вела агрессивную политику в Крыму и на Кавказе, поэтому следить за ее действиями было совершенно необходимо. В дальнейшем немалую роль в этой осведомленности на протяжении почти сорока лет с 1677 до 1707 г. играл митрополит, а впоследствии иерусалимский патриарх Досифей, смотревший на Россию, как на будущую освободительницу всех православных народов от турецкого ига. Симпатии к России народов Балканского полуострова, нещадно угнетавшихся турками, создавали возможность ознакомиться с их тяжелым положением и с внутренними условиями Османской империи в целом.

Интереснейшим и замечательным памятником второй половины XVII в. является «Описание Турецкой империи», составленное русским, бывшим в плену у турок[4]. Автор описания неизвестен. Возможно, что это был сын боярский Федор Дорохин, родом из Ельца, «рейтарь», попавший в плен к крымским татарам, затем проданный в плен в Турцию, служивший в турецких войсках и вернувшийся в Россию в 1674 г.

Неизвестный автор сообщает, что он обошел Турцию в 62 месяца и 20 дней (т. е. за 5 лет, 2 месяца и 20 дней) — срок, очевидно, относящийся к его путешествиям по стране, а не вообще, ко всему времени пребывания в ней. В своем пешеходном странствовании он побывал в самых отдаленных частях империи[5].

---

[1] См. Н. Каптерев. Ук. соч., стр. 333.

[2] Там же, стр. 334.

[3] Там же, стр. 335.

[4] «Православный палестинский сборник», 30-й вып., т. X, вып. 3, под ред. Н. А. Сырку, СПб., 1890. О нем см. Д. М. Лебедев. Ук. соч., стр. 203—206; И. Ю. Крачковский. Ук. соч., стр. 19. Подлинное название: «Книга о тайном и сокровенном сокрытии мной пленником в неволе описанная» (ссылки на стр. даны в скобках).

[5] Перечислим важнейшие пункты, в которых побывал автор: свое описание он начинает с Иерусалима, затем следуют: Вифлеем, Хеврон,

Отличительной чертой описания, резко выделяющей его из ранее рассмотренных материалов, является отсутствие упоминаний о церковных делах и святынях (кроме Иерусалима). Автора эта сторона дела не интересует. «О всей той Турской земле ясна изъявляю, яково есть оно царства велика во одержание своего пространьства шерины своей от края до края, и граница до границы, и места от места, и много ль дней езду семо и овамо да всех мест, и грады их как завутся, и крепости их как есть» (стр. 1). Его описания содержат военно-географические и отчасти этнографические сведения о посещенных им пунктах; всюду отмечается их местоположение в отношении гор, реки или моря. Весьма подробно описываются автором стены городские и крепостные с общим, а иногда подробным указанием их длины, укрепления городов, рвы, ворота, наличие или отсутствие пушек и т. д.

Наиболее подробно описан Константинополь, причем автор отмечает наличие там пушечного производства «Топана»; «места то пушашная; пушки тут выливают» (стр. 42). По берегу Босфора отмечается наличие «малых городков». «А из тех малых горадков вверьх по пратоку таму, в устье дверях Черного моря, стоят тут подле воды протока таго, по обеим странам, другие два малые горадка: а крепостию оне тверды, а пушек в них великих и малых зело многа» (стр. 24).

Автор подчеркивает отсутствие в Константинополе и в Салониках запасов хлеба. Это его интересовало, как военного; вообще же хозяйству он уделял мало внимания. Отмечая малочисленность населения в ряде областей, он не забывал упомянуть, кто населяет тот или иной район, перечисляя при этом почти все национальности огромной многонациональной империи. Он рассказывает, что в Османской империи находилось очень много проданных в рабство русских полонянников: «есть русских людей невольных в неволе на земле их и на море, на каторгах, зело много множеством без числа» (стр. 23).

Каир, Дамиетта, Розетта, Александрия, Абукир, Триполи, Тунис, Бон, снова Каир и Палестина, Дамаск, Бейрут, Триполи, Алеппо, Александрия, Диарбекир, Мардин, Мосул, Керкук, Багдад, опять Дамаск и далее ряд малоазиатских городов — Токат, Амасья, Анкара, Измаил, Константинополь, Муданья, Брусса, Измир, острова архипелага, Адрианополь, Филиппополь, София, Белград (в Сербии), Будапешт...

Автор обошел почти все европейские, азиатские и африканские владения Османской империи. «Никто из европейцев этого времени не исходил столько территорий Турецкой империи, не видел столько уголков ея и не отмечал столько особенностей их, как наш автор»,— пишет в своем предисловии Сырку (стр. XXVII).

Его весьма интересуют военные качества различных националь-ностей, способы ведения ими войны, пригодность солдат для военного дела. О военных качествах самих турок он был невысокого мнения. Оценивая военные качества янычар, он считал их плохо обученными. Он отмечал, что арабы боятся огнестрельного оружия, но подчеркивал их искусство в конном бою. Наиболее высоко он оценивал боевые качества босняков и албанцев (арнаутов).

«Таково это удивительное сочинение неизвестного русского человека, более пяти лет тщательно отмечавшего во время тяжелых странствий на положении пленника по обширным территориям турецкой империи все считавшееся им полезным в дальнейшем для защиты его родины от врага»[1].

Академик И. Ю. Крачковский пишет об этом авторе: «Во время тяжкой десятилетней неволи он побывал в самых разнообразных областях Турции, находившихся тогда в апогее территориального распространения, и мог видеть много подвластных ей арабских стран... Он упоминает такое количество арабских городов, как едва ли какой-нибудь паломник... По своей военной специальности он мог обратить внимание на такие стороны жизни, которые оставались вне горизонта паломников»[2].

Другим пленником, вырвавшимся из турецкой неволи, явился Василий Полозов, кратко описавший свой путь по турецкой земле в челобитной на имя царя Федора Алексеевича[3].

После заключения перемирия в Крыму, в 1681 г. в Турцию было направлено посольство Чирикова и Возницына. Чириков умер по дороге на Дону. Возницын, ставший послом, был бурей занесен из Кафы в Амасру, где простоял 8 дней. Выйдя в море, он снова попал в бурю и был вынужден вернуться. Дальнейшее путешествие он совершил необычным для русских послов путем — из Амасры сухим путем по Анатолии: «Ехали из Амастры через горы зело высокие, тесными юдолиями, самым трудным путем». В дороге по деревням посла принимали с честью, на станах давали корм, где что можно было добыть, «избы» устилали коврами, а кругом стен подушками. Посольство останавливалось в Болу, Скутари. Впервые русский посол въехал в столицу Османской империи со стороны

---

[1] Д. М. Лебедев. Ук. соч., стр. 206.

[2] Акад. И. Ю. Крачковский. Ук. соч., стр. 19.

[3] Опубликовано в приложении к «Описанию Турецкой империи», стр. 46—50.

азиатского берега»[1]. В инструкции, данной послам перед отъездом из Москвы, им предписывалось советоваться с иерусалимским патриархом Досифеем — «И приходити им к патриарху для благословения, усмотря время, как прилутчица, чтобы на него и на себя не навести от султана и визиря нелюбья»[2]. Возницын доносил в Москву: «и святейший патриарх... приказывал ко мне, ... что де турки зело желают, чтобы с вами, великим государем, иметь в миру утверждение, а хотят воевать сей весны венгерскую землю...»[3] и далее: «московское государство стало им страшно: как де салтан посылал везиря с турским войском под Чигирин, и того де войска пошло из Царяграда многое число, а из под Чигирина возвратилось в Царьград самое малое число — все во время той войны побиты, а иные, идучи до Царягорода, от ран и с голоду в дороге померли»[4].

Война держав против Турции, в которой принимала участие и Россия, а также два похода Петра I на Азов — прервали обмен посольствами на некоторое время. В 1699 г. было отправлено посольство во главе с думным советником Емельяном Украинцевым, оставившее большой след в истории русской дипломатии. Но материалы этого посольства принадлежат уже к новому периоду — к эпохе Петра.

За шесть веков русские путешественники побывали во многих странах Ближнего Востока, изведали различные пути, ведущие в эти страны. Они посещали Константинополь, заплывали на острова архипелага, бывали в Сирии, Палестине, Египте и на Синае, иногда доходили до Месопотамии, прошли Малую Азию с севера на юг и с запада на восток. Им были ведомы пути на Ближний Восток: сухопутные — через Польшу, Молдавию, р. Дунай и через Кавказ и Иран, и морские — от Азова, Кафы до Константинополя.

Эти путешествия дали немалый географический информационный материал, и в сочетании с другими источниками, пополнявшими сведения о странах Ближнего Востока, в России допетровского периода накопилась серьезная для своего времени сумма основательных знаний по географии, быту, политическому положению, взаимоотношениям и национальностям стран Ближнего Востока. Все эти сведения, являясь сви-

---

[1] См. И. Забелин. Посольские путешествия в Турцию в XVII столетии. «Русская старина», сентябрь 1877, стр. 18.

[2] Н. Каптерев. Ук. соч., стр. 285.

[3] См. Н. Каптерев. «Чтения в обществе любителей духовного просвещения», 1890, стр. 364.

[4] Там же, стр. 367.

детельством интереса ко многим пограничным или близко лежащим от Московии государствам, расширяли географический горизонт русских людей той эпохи[1].

Это ознакомление со странами Ближнего Востока соответствовало широкому развитию географических знаний в России в XVII в. и нашло свое отражение в составленной в 1662 г. «Поверстной книге», в которой даны сведения о 54-х крупнейших городах иностранных государств, с указанием расстояний от них до Москвы и путем следования к ним. Так, например, указано, что от Москвы до Александрии 4 000 верст, если итти на Азов, а оттуда морем, что если итти по Волге и через Астрахань, то «оттуду же все персидскую землю сухим путем 3800», или «Богдат град, иже и Вавилон нарицается, — в расстоянии от Москвы на Астрахань 3400» и т. д.[2]

В другой, известной книге XVII в., книге «Большому чертежу» (составлена в 1627 г.) также имеются сведения об отдельных территориях и пунктах Ближнего Востока[3].

На основании всех перечисленных материалов можно смело утверждать о самостоятельности развития географических знаний в России, о несомненно высоком уровне географических сведений в допетровской Руси, о хорошей изученности не только своей территории, но также и многих стран Ближнего Востока.

В России допетровской эпохи в течение всего XVII в. (и не только XVII в.) шла самостоятельная, упорная, разносторонняя и плодотворная работа по географическому изучению как нашей родины, так и сопредельных с ней стран.

Русские путешественники своими точными, правдивыми и обстоятельными сведениями о странах Ближнего Востока, в частности, о странах Малой Азии, внесли ценный вклад в его изучение.

---

[1] См. «Исторический архив», т. V, АН СССР. М.—Л., 1950, стр. 74—93. Статья В. П. Петрова. Географические справочники XVII века.

[2] Там же, стр. 149—150, 154. Разумеется, нельзя говорить о точности вычисленных расстояний во всех приведенных случаях.

[3] Книга «Большому чертежу». Изд. АН СССР. М.—Л., 1950, стр. 96.

СОДЕРЖАНИЕ

Утверждено к печати Институтом востоковедения АН СССР

Редактор издательства *В. А. Ромодин*. Технический редактор *Г. Н. Шевченко*
Обложка художника *Д. С. Бисти*

РИСО АН СССР № 54—57В. Т-07211. Издат. № 69. Тип. заказ № 1244. Подп. к печ. 29/VIII 1953 г. Формат бум. 60×92 1/16. Бум. л. 7,25. Печ. л. 14,5. Уч.-издат. 14,6. Тираж 3500. Цена по прейскуранту 1952 г. 8 руб. 75 коп.

2-я тип. Издательства Академии Наук СССР. Москва, Шубинский пер., д. 10

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
3	21 сн.	культуры	культуру
4	16—15 сн.	„Вклад русских путешественников в изучениэ истории Кореи“,	„Труды русских исследователей как источник по новой истории Кореи“,
60	16 св.	Алтан-Топчи	Алтан-Тобчи
80	6—5 сн.	Монголия Урянхайский край	Монголия и Урянхайский край
90	4—5 св.	исследований	исследования
122	21 сн.	Эта статья	Наша статья
161	5 сн.	XI—XIV вв., в этом же сборнике, стр. 48	XI—XIII вв., в этом же сборнике, стр. 49
181	11 сн.	ан-Несави.	на ан-Несави.
181	2—1 сн.	в Тарихнама-йе-Харат	Тарихнама-йе-Хэрат
203	2 св.	в 1414 г.	к 1414 г.

Очерки по истории русского востоковедения

Цена 8 р. 75 к.